

167

ГРАНИ

GRANI

И
Н
А
Г
Р

1993

167

Verlagsort Frankfurt/M January—March

1993

"ГРАНИ"

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; почти полвека журнал способствовал публикации произведений, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в "Граних" были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского, Н. Заболоцкого,
Б. Зайцева, Е. Замятина, Н. Коржавина,
В. Корнилова, А. Куприна, С. Левицкого,
Н. Лосского, В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского, А. Платонова,
Г. Подъяпольского, Р. Редлиха, А. Ремизова,
Ф. Светова, А. Солженицына, В. Солоухина,
В. Тарсиса, М. Цветаевой, И. Шмелева,
В. Шульгина и многих других отечественных и
эмигрантских авторов.

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь способствуя публикации произведений, помогающих освобождению от остатков тоталитаризма в душах людей и восстановлению прерванных им традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 - 1952 Е. Р. Романов

1952 - 1955 Л. Д. Ржевский

1955 - 1961 Е. Р. Романов

1962 - 1982 Н. Б. Тарасова

1982 - 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 - 1986 Г. Н. Владимов

Главный редактор
Е. А. Самсонова-Брейтбарт

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLVIII

№ 167

1993

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий МАРКОВ Хроника № 7 (Рассказ)	5
Ирина МУРАВЬЕВА На краю (Рассказ)	12
Анатолий МАЛМЫГИН Ничего не могу позабыть... (Стихи)	24
Виталий ЕГОРОВ Подарок правнукам (Три рассказа)	32
Аркадий СЕЛЕЗНЕВ В. В. (Повесть. Два рассказа)	63
Ольга БУРАКОВА "Всё громче звуки неземные..." (Стихи)	95

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Мария ШНЕЕРСОН Сила Мастера и бессилие властелина (Булгаков и Сталин)	99
Валерий СЕНДЕРОВ Конец Петербурга	146

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Ростислав ЕВДОКИМОВ Письмо из ВС-389/36	152
Л. Г. РЕДЛИХ Он ушел в Россию. (Письма отца)	169

ПУБЛИЦИСТИКА

Иван ЕСАУЛОВ

**Тоталитарность и соборность: два
лика русской культуры**

183

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Прот. В. ПОТАПОВ

"...молчанием предается Бог". (Окончание)

211

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Алексей СМЕРНОВ

Переезд

242

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В. С.

Дмитрий Галковский и Владимир Соловьев
(Ж. "Логос", М., 1991, вып. I)

277

Евгений КРОХМАЛЬ

Реальность вымысла

(А. Лаврин. Люди, звери и ангелы. М., 1992)

283

"Правда" и искренность

(Е. Попов. Прекрасность жизни. М., 1990)

290

Виктор КУЛЛЭ

"Бродский глазами современников"

**(V. Polukhtna. Brodsky through the Eyes of
his Contemporaries. London, 1992)**

297

Юрий ЦУРГАНОВ

**Новые исследования об освободительном движении
генерала А. А. Власова**

(Й. Хоффманн. История власовской армии. 1990.

Е. Андреева. Генерал Власов и Русское

Освободительное Движение. 1990)

302

НЕКРОЛОГ Михаил Александрович НАРИЦА

316

ОБЪЯВЛЕНИЯ

318

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Анатолий МАРКОВ

Хроника № 7

Детям-беженцам планеты Земля посвящается

В этот день после непогоды на небе появилось солнце. Начинаясь весна, и солнце светило очень ярко. Оно добиралось до того места, где он стоял на полу и поджаривал на ржавой поверхности буржуйки кружочки картофелины, которую он заранее приберег. Подрумяненные с двух сторон, они складывались им в тряпочку – он держал ее в левой руке. Он знал, что в их баньке вот уже вторую неделю живут беженцы – мать и трое детей. Беженцев было много в этой части планеты Земля. Он сам ходил в беженцах – тоже мать и трое детей, – и знал, как это тяжело зимой, когда все в тебе замерзло то ли от мороза, то ли от голода, а приюта все не было, и приходилось снова и снова идти, утопая в снегу, и вся надежда была на маму, которая вела их к очередной избе.

Необычным для него было то, что в баньке жили другие люди – евреи. Мальчишка впервые услышал это слово давно, в их еще несгоревшем доме, когда женщины тревожно обсуждали события в городе. Одна из них рассказывала, что все евреи там были поставлены в большую яму и живыми закопаны в землю. Его поразило тогда не сам факт убийства людей, о чем он часто слышал, а то, что земля в том месте дышала много дней. И вот такие люди живут с ними. Издали он видел их, когда выходил во двор. Он знал, что взрослые на день уходят собирать еду, а в баньке остается девочка его возраста.

Одетый, с горячей картофелиной в кармане, он спустился к баньке и постучал в дверь.

– Девочка... Это я... Из этого дома... Открой мне.

За дверью было молчание. Тогда он подошел к маленькому окошечку и постучал тихонько по стеклу.

– Не бойся! Чужих нет. Я тебе принес горячую картофелину.

В окошке показалось испуганное лицо девочки. Она узнала его – видела, когда выходила из баньки к пруду за водой.

– Немцев в деревне нет уже давно. Выходи погреться на солнце.

Девочка открыла дверь баньки и вышла наружу. Она была очень голодной и неотрывно смотрела на руку мальчишки, которая держала тряпочку с картофелиной.

– Иди сюда. Здесь не видно нас с деревни, а земля теплая.

Они зашли за угол и сели на чурбак у стены. Солнце приятно согревало их лица, а небо было высоким и синим.

– На... Ешь.

Девочка взяла тряпочку, развернула ее и сунула в рот еще горячий кружочек картошки. Ее лицо буквально свело судорогой от этой теплой еды.

– Очень вкусно, – были ее первые слова.

– Да, это самая вкусная еда, – сказал он, жадно наблюдая за тем, как ела девочка.

Третий кружочек она задержала в руке.

– А ты как же?

– Я съел целую картофелину перед приходом к тебе, – соврал он.

Девочка помрачнела и жевала уже не так быстро. Перед ними блестел на солнце уходящий вверх и вправо склон балки, идущей к кладбищу, верхушки сосен которого выглядывали из-за гори-

зонта. После пребывания в темноте глазам все казалось ярким, блески льдинок играли на солнце, словно радовались весне. На фоне склона выделялось лишь коричневое пятно мертвой лошади, лежащей на боку уже много дней.

- Как тебя зовут? - спросил он.

- Лилия, - тихо сказала девочка и посмотрела ему в глаза.

Мальчишка был поражен таким именем. Он знал цветок лилию. Их было много в этом заросшем пруду летом. Сейчас же пруд спал подо льдом и только голые ветки кустов одиноко тянулись к солнцу. Он всмотрелся в лицо девочки. Оно было бледным, только забор длинных черных ресниц окружал ее глубокие глаза. Девочка была очень красивой, и он решил, что назвали ее правильно.

- Я не понимаю, за что вас живыми в землю закапывают? - тихо произнес мальчишка.

Девочка потупилась и молчала. Она боялась смерти, которая по пятам постоянно шла за ее семьей. Этот страх не оставлял места для каких-то размышлений. И только в редкие минуты, как это было сейчас, можно было уйти от этого страха.

- Нас убивают не так страшно, - продолжал он. - На том кладбище недавно убили две семьи партизан. В них сперва стреляли, а потом бросили в яму и закопали... Они уже были мертвые...

- Смотри! Волк, - девочка показала рукой в сторону склона.

Там по снегу к мертвой лошади крадучись подходил огромный пес. Дети хорошо видели его. Вот он разбежался и бросился в живот лошади, который уже давно был вспорот. Что-то вырвав изнутри, пес отошел в сторонку и стал есть. Затем вцепился в оставшуюся часть внутренностей еще и еще раз.

- Это не волк. Это одичавшая собака, - успо-

коил он девочку. – Мой дед говорит, что их много развелось в лесу.

Солнце светило ярко, от земли под ногами шел заметный пар. В этом уголке за банькой было уютно.

– Потрогай, какая теплая стена, – сказала она и стала гладить бревно своей маленькой ручонкой.

– Да, теплая, – он тоже оперся рукой о стенку. – Только трещины холодные, в них еще осталась зима.

– Трещины – это дорожки. Их много... Давай станем такими маленькими, чтобы пойти по ним.

– Давай! Я пойду по этой, а ты по той.

– Ой, моя подошла к большому сучку и закончилась, – сказала девочка.

– А моя зашла прямо в угол.

– Это хорошо. У тебя там будет теплый дом, тебя там никто не увидит, ты всегда успеешь спрятаться в щелку.

– Жаль, что твоя дорога не идет сюда же.

После небольшого молчания девочка спросила:

– А ты помнишь, когда не было войны?

– Нет, не помню. Война была всегда.

– Почему тебя не убили?

– В меня плохо целились. Когда по дороге ходили поезда, – он показал рукой за баньку, – я смотрел на них. В меня выстрелили с поезда. Пуля ударилась в стенку рядом с моей головой. Я больше не смотрел на поезда... А теперь меня никогда не убьют.

– Так не бывает... Ведь убить могут в любой день, если не спрячешься.

– Меня не убьют! Я знаю волшебную молитву. Меня научила ей моя бабушка, она живет в землянке на другом конце деревни.

– А ты что, проверил ее волшебство?

– Да! И не один раз! Вот когда самолет сбросил

бомбу, она упала вот здесь, – он показал за сарай, что стоял у избушки. – Дед говорил, что если бы бомба взорвалась, от нас ничего не осталось бы. Когда партизаны вытаскивали эту бомбу на больших жердях, она, такая огромная, в желтом мыле, чавкала. Теперь веришь?

– Да, верю.

– Молитва волшебная, передается только добрым людям. Ты такая, я вижу.

– А что, меня не убьют тогда?

– Да! Слушай и запоминай:

– Господи Иисусе! Да светится имя Твое. Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле живет. Ты знаешь, как тяжело человеку, когда его убивают. Пронеси мимо меня эту чашу горькую. А я всегда буду верен Тебе. Да будет вечным Царствие Твое.

Кто эту молитву знает, тот в огне и не сгорит и пулю убит не будет, – закончил он и перекрестился.

– А можно добавить, что и в землю живым закопан не будет? – спросила она.

Он задумался. Надо было бы спросить у бабушки, которая в его глазах была немножко волшебницей. Но это далеко, да и не отпустят сейчас. Посмотрев ей в глаза, он сказал:

– Да, можно... Я тоже добавлю эти слова. Вечером будем молиться вместе... Ты здесь, а я там, – он показал на избушку. – Только знай, что молитву надо произнести три раза. А теперь повторяй за мной...

Они стали вместе произносить молитву. Девочка запомнила ее и делала все правильно.

Вдруг разговор оборвался. Дети вздрогнули. Они увидели, что с левого ответвления балки вышли трое и направились к баньке. Пес перестал есть и убежал в сторону кладбища. Пелена страха накрыла детей. Мальчишка схватил девочку за руку

и потащил к избушке. Девочка оглядывалась на идущих и уже у самой избушки крикнула:

— Да это же наши!

Мальчишка остановился и отпустил руку девочки. Она же, наполненная радостью, взяла его за руку и потащила к баньке.

— Что ж ты вышла, не дождавшись нас, — спросила мама.

— Да мы с мальчиком грелись на солнце. Он дал мне горячую картофелину, очень вкусно.

— Спасибо, мальчик, заходи к нам.

Он вошел в открытую дверь. Банька была знакома мальчишке до деталей. Он любил помогать деду топить ее по-черному, когда под большой каменный свод укладывались вперемешку поленья и камни. Поленья трещали, а в дверь выходил дым. Потом, когда камни раскалялись докрасна, дед захватывал их деревянными прихватками и опускал в бочки с водой. Камни клокотали и трещали в воде. Тогда в баньке было тепло и приятно пахло дымом и вениками. Сегодня же здесь был полумрак и холод. Банька была пустой, лишь на полке выделялись какие-то вещи. Наверное, девочка укрывалась ими в ожидании прихода семьи.

Старшая из детей, девушка лет двенадцати, опускала в закопченную кастрюльку что-то из полупустого мешка, который она сняла со спины. Мальчик десяти лет разводил из заранее заготовленных сучьев и щепочек огонек под каменным сводом. Мать стояла, опустив усталые руки. Их дневная добыча была столь скудна, что мальчишка испугался, как бы его не пригласили кушать. Он тихо вышел из баньки и вернулся в избушку.

А на следующий день люди ушли в другое место. Банька сиротливо стояла у еще замерзшего пруда.

да, и только ветер раскачивал голые ветки кустов на его берегу.

* * *

Проходили годы. В памяти мальчишки лицо девочки как бы растворялось во времени. Он уже не мог вспомнить его. Но лица ее родных – матери, сестры, брата – впечатались в память прочно и никогда не забывались. Что это? Ведь он видел их несколько минут.

И однажды он понял причину. Его поразило тогда мученическое выражение лиц этих людей, которые целый день в смертельно опасных условиях пытались достать еду на этой разоренной войной Земле и не смогли получить отсрочку от этой работы хотя бы на одни сутки. Завтра снова нужно было отправляться на поиски, заходить в деревни, где каждый дом мог стать для них последним.

И он думал. В этой части планеты Земля погибли сотни тысяч таких семей... Но ведь должен был хоть кто-то остаться после этого ада. А вдруг они остались живы? А вдруг... А вдруг...

Ирина МУРАВЬЕВА

На краю

На земле было зелено, звонко, знойно. Грязные темнолицые люди шли по ее пыльным дорогам. Останавливались близ больших деревень, разводили костры, варили ужин. Утром их растрепанные, пестро одетые женщины торопились на базары, приставали к прохожим, тянули им вслед коричневые ладони.

Ей было шестнадцать, когда она получила свой первый срок. Воровала она не хуже других, легко и ловко, но ей как-то странно не везло. Говорили, что у нее дурной глаз и она чувствует беду. Ведь про ту голубоглазую, рассыпчатую, с душистыми губами, которая, смеясь золотыми коронками, протянула ей полную руку: "Погадай, миленькая!", она сразу поняла... Что? Да час ей всего оставался, всего-то час, голубоглазой и смеющейся, с душистыми губами, с золотыми коронками... Она ведь и увидела это все: насыпь, а на ней выброшенное из промчавшегося поезда тело с закинутой голубоглазой, мертвоглазой головой, с полуоткрытыми губами... Она ей ничего такого не сказала, наплела, как водится, про любовь и дорогу, про казенный дом с трефовым королем, заждавшимся, а к утру вся округа знала, что с вечерней загорской электрички выбросили на полном ходу женщину сорока пяти лет — Алферову, Надежду Васильевну, мать двоих детей, незамужнюю...

Первый срок был короткий. Всего три года. В табор она уже не вернулась, жила в Архангельске, иногда работала. Замужем была два раза не расписываясь. Воровала не часто, только когда уж что-то очень нравилось, а денег не было. Слабость питала к меховым вещам, шубам да шапкам. Больше всего на свете любила книги про любовь и индийские фильмы, которыми засматривалась до слез. Сама пела, плясала, играла на гитаре. Звали ее Любовь Рахметова.

* * *

"...а еще, дорогая Люба, хочу сказать вам, что в моей судьбе вы самая красивая женщина, и если бы мы встретились с вами не здесь, а в городе, вроде Симферополя или Ялты, то я, закрывши глаза, все бы бросил и пошел бы за вами, как собака. Чаечка ты моя черноглазая, Любочка! Так вот думаю иногда: и чего мы сидим с тобой в вонючей каменюге, и не знаем даже, что еще с нами, невезучими, будет! И ведь не погулять, не полюбиться, не поглядеть даже друг на друга, как следует... Но ты мне пиши, Любовь, жду от тебя ответа...

Твой Василий".

Письмо было карандашом на желтоватом, пропахшем дымом, нутре табачной пачки...

"Я, Вася, совсем ни в чем не провинилась, мать с отцом меня бросили, злые люди воровать заставили, погубили всю мою жизнь. Вот, говорят, я цыганка, а кто это теперь знает, когда меня взяли в табор прямо с улицы, где я стояла, всеми брошенная и никому не нужная... А что у меня волосы черные, так ведь они, Вася, не только у цыган черные. А вы

мне очень нравиться, я вас, можно сказать, полюбила, потому что по всему видно, что человек вы хороший, и лицо у вас такое, что хоть в кино снимать, в самом прекрасном фильме. Передаю вам свой подарок, курите на здоровье и меня не забывайте.

Любящая вас Любовь Рахметова”.

Старуха с бурыми наростами на пальцах сказала ей, расчесывая свои седые свалявшиеся космы:

”Дура ты, Любка, ой и дура, как я погляжу! С тобой в одной камере жить – чистое наказание! И ворочаешься, и стонешь, и зубами скрипишь! Ай уж так влюбилась! А башка на что?”

Отворачивалась она от старухи, седой, косматой, с бурыми наростами на пальцах, усмехалась печально, сияла черными глазами, жадными, невыспавшимися...

* * *

”...но я прошу тебя, Люба, чтобы ты о моем сроке не выпытывала, нету у меня срока...”

(из письма Василия Лебедева)

”Дорогой Вася! Я вам слово даю, что не держу от вас никаких секретов, и поэтому я совсем не понимаю, почему же вы от меня/на сердце секрет держите, будто я чужая? И если вы правду говорите, что полюбили меня, так зачем нам с вами друг от дружки прятаться? И какое такое вы могли преступление совершить, что о нем сказать трудно? Я ведь вам, Вася, все равно все на свете прощаю...”

(ответ Любове Рахметовой)

* * *

Старуха с наростами на пальцах, старая ведьма с морщинистыми веками, лезла к ней в душу сквозь влажный и кислый кашель, разрывающий ее скрипучее горло:

"Он тебе про это ни в жисть не скажет. Кха, кха! А ты меня слушай, я тебе, чертовке, добра желаю! Знаю, что вашему отродью верить нельзя, да так уж... Нравишься ты мне, баба, я тебя жалею... Васю твоего, говорят, совсем скоро... Жену он, что ли, решил или вроде того... Только дело, говорят, очень зверское, каких мало. Ну, чего ты побелела-то вся? Белей не белей, легче не будет, в нашей жизни – мужик хуже петли. Блажь одна. А в любовь эту вашу я ни в жисть не поверю, ее нигде и в помине нету! Сами вы себе, дуры, врете!"

* * *

Какое тоскливое время жизни ночь! Да чем же мы заслужили его – это глухое, душное, черное, когда лежишь с открытыми глазами на узкой койке, и лязгают неподалеку двери, и кто-то кашляет, и кто-то стонет, и кто-то умирает...

Ночью она вдруг поняла, к кому ей следует обратиться.

"Господи, добрый мой! – сказала она сухими губами, неуверенно, то, что не произносила никогда, что смутно где-то, случайно, подслушала среди множества земных звуков. И откуда-то оно вынырнуло сейчас и заклокотало в ней и добилось произнесения. – Господи, добрый мой! – повторила она и заторопилась, не поспевая мыслью за своими сухими, оторвавшимися от нее губами. – Господи! Помоги мне! Пусть не убивают его, Господи!"

Ведь главное: что он сделал-то? Она не знала. Ночь повторялась глухая, черная, жизнь в ней, похоже, сама таяла...

* * *

"Нет, Рахметова, больше его не выведут, зря ты пялишься! Какие ему теперь прогулки, когда его вчера еле откачали! Вскрылся, падла! Так что теперь тебе его, как своих ушей... Да не суй ты мне деньги, голова! Откуда я его раздобуду! На закорках, что ли, принесу! Он вон в крови весь лежит, никак не очухается!"

* * *

Спал ли он, грезил ли?

"Вася! Вася! Подойди! Встань с полу-то! Это я! Я на минуточку упростила, Вася! Просунь голову-то в кормушку! Видишь меня? Как же ты такое наделал, Вася? Одну меня захотел бросить?"

Он вжимал лицо в дверную кормушку, и ее пальцы испуганно дотрагивались до его лба, глаз и щек...

"Что ж они не обмыли-то тебя, миленький?"

Что ж ты весь в крови? Ой, сердце мое, сердечко мое! Зарезаться решил, одну меня оставить!"

Пальцы ее дотрагивались, цеплялись, гладили...

"Поцеловать-то мне бы тебя как, Вася?"

"Иди, иди, Рахметова! Совесть иметь надо! Побалакала и будет! Иди, давай, двигай, а то мне еще за тебя строгаца влепят!"

* * *

Старуха с бурыми наростами на пальцах, ведьма с кислым влажным кашлем в горле, лезла ей в душу!

"Ну, девка, ты в уме тронулась! Его не сегодня-завтра к стенке поставят, а ты здесь в подушку воешь! На воле-то, поди, такого не было? Нет, правду говорят: в тюрьме бабы умом мутятся! Подавай им любовь, как в кино, и все тут! Хоть кривую, хоть безрукую, хоть какую, лишь бы душу рвала! Дуры вы, дурищи! Ты чего завтра будешь делать? Второй-то раз тебя к нему кто поведет?"

"Завтра" серой паутиной заволокло ее голову с открытыми неспящими глазами, с губами, что-то шепчущими. Она поднялась, нащарила в стенной щели бритвенный осколок, зажмурилась и изо всей силы полоснула по левой руке. На ее крик прибежал конвойный. Она сидела на полу, залитом кровью, в черных зрачках прыгало что-то странное..."

* * *

"Вася, Васенька! Ты жив там? Это я! Я опять мимо иду! В лазарет меня ведут! Вскрылась я, Вася! Словечко тебе хотела крикнуть!"

* * *

"Баба эта ненормальная, ты за ней того, в оба глаза... Жилы себе разрежала, чтобы на хахалю поглядеть! Ее еще надо, знаешь, как? За членовредительство-то... Ты, главное, в глазок посматривай, спуску не давай, а то как бы еще чего не выдурила..."

Тот, что постарше, затынулся "Дымком", покрутил головой значительно. Тот, что помоложе, насупился.

"Ну, это само собой. Я им, бабам, так на так, ни одной не верю. Стервы они и всё. На свободе куда ни шло, там они хоть страх имеют, опять же – муж, детишки... А здесь ворюги эти – совсем зверье. Им и руки на себя наложить – плевое дело. Я уж это давно понял. Два года здесь проработал и усек. А врать здоровы! Такое тебе наплетут про папу-маму – слушать тошно! Артистки оперы и балета, как есть!"

* * *

Ей снился хлеб. Большая, влажная, черная буханка, которую она разрывала обеими руками и жадно запихивала в рот. Хлеб был непропеченным, соленым на вкус, черное нутро его пахло кровью. Он не утолял ее голода, а только разжигал его. Старуха рядом храпела во сне, перекачивала седые свалившиеся космы по плоскому изголовью... Эта приснившаяся корка была колючей на ощупь, как его небритое лицо под ее руками. Она гладила щетинистую, пахнущую кровью хлебную кожу, впибалась в нее дрожащими ладонями. Хлеб не утолял голода, только разжигал его.

"Я тебе, Люба, не письмо пишу, я с тобой так разговариваю. Потому что смерть у меня за плечами стоит. Думал, никогда тебе не откроюсь. И руки себе поэтому порезал, чтобы правду тебе не сказать, испугался, что ты зверя такого любить не будешь. А теперь решил: раз уж так получилось, что у меня ближе тебя никого на свете нету, да и, честно говоря, совсем никого на свете нету. Я тебе все открою, может, мне так легче будет. А разлюбишь, так это даже и лучше, все равно мне скоро на тот свет от-

правляться, а ты еще, может, свою жизнь без меня устроишь. Нелегко мне это писать, Люба, потому что я бы на тебе женился и счастливой бы тебя сделал. И ты этому верь. Никогда никому ничего такого не говорил и обещать не обещал, а тебе скажу, как у попа на исповеди: женился бы и счастливой сделал. Это так. А теперь главное слушай. Вечером было дело. Грязь и ливень, всю дорогу разворотило, машина еле проезжала. Я домой возвратился не вовремя, потому что сменщик мой вдруг из больницы вышел да в рейс попросился. Из-за этого все и вышло. А мы с Тасей тогда только-только вместе жить начали. Я вернулся с поселения, поначалу пил в мертвую, совсем пропадал, но тут вдруг мой братишка приключился. Он у меня глухонемой от рождения, больной совсем, то одно, то другое, родители-то наши давно поумирали, ну, его, конечно, в детдом, а я его там навестил, посмотрел на него. И затосковал, Люба, не продохнуть, такая тоска началась. Он же, думаю, там погибает совсем, прозрачный весь, кому он нужен? Мычит только, кормят его — не поймешь как, понукают, жаль стало, не-возмогу. Решил его к себе забрать. А куда его забере-решь? У меня дом, как нора волчья. Одна раскла-душка, два стула, бутылка водки. Нет, получается, что без бабы не обойтись. Бабу нужно. А тут как раз Таська подвернулась. Я, Люба, врать не хочу, красивая она была, рыжая, как лисица. Но никакой такой любви особой между нами не было. Жили и жили. Она, как у меня первый раз осталась, так я дома не узнал, когда с рейса через сутки вернулся. Хорошо, чисто. Половики постелила, на столе пас-тила, букет в баночке. Совсем другое дело. Я тогда и решил сразу: пусть живет. Баба же все-таки. И покормит, и попоит, и спать уложит, как говорится. А главное: о братишке подумал. Есть, куда братиш-ку забрать. И забрал немедленно. Стали жить как

люди. Я и пил поменьше, и зарабатывать начал прилично. Домой, бывало, еду, и на душе тепло. Таська там, думаю, парень мой родной, еда теплая. Все как у людей. Ну, и подъезжаю я раз вечером к дому. Слушаешь меня, Люба?"

Какое это тоскливое время – ночь! Кто-то стонет рядом, кто-то хрипит, кто-то умирает... Какое тоскливое! И ты лежишь на проклятой железной койке с открытыми неспящими глазами, и нечем тебе дышать, и нечем тебе жить, нечем, нечем... Старуха перекачивает свою косматую голову по плоскому изголовью.

* * *

"...Мы комнату снимали на втором этаже, а на первом сам хозяин жил. Мужик – зверь, из наших, из уголовников. Пахан настоящий. Он тогда ничего особенного не делал, примеривался, выжидал, так сказать. Слышу: возня какая-то за моей дверью, не спят там, шепот какой-то. Я своим ключом открыл, и глазам не поверил, Люба..."

* * *

Смерть стояла за его плечами. В эту ночь они совсем близко подошли. И лицо у нее было, как у той соседки – серое, с отвислой кожей, сердитое, желтоглазое. Она требовала, чтобы он все рассказал, без утайки. Но рассказывалось через силу, хотелось приукрасить, хотелось выйти совсем невиноватым, и жаль было самого себя – аж до слез. Смерть ведь стояла за плечами, чего уж там...

"...я на своей постели мужика увидел. Незнако-

мого, не из нашего поселка. Хлипкий какой-то весь, жидкий, усишки подстрижены. Ну, вино на столе, печенье, все, как полагается. На Таську я поначалу и не взглянул. Братишка, гляжу, не спит. Смотрит на меня, как кролик не удава. Белый, хуже ска-терти. И икает во всю мочь. Со страха, должно быть. Тут мужик этот как вскочит, в чем мать родила, схватил пустую бутылку и замахнулся на меня, а сам, как сейчас помню, дрожит весь. Должно, и замахнулся-то с перепугу. Я его за горло схватил, вмазал ему пару раз, но убивать не убил, это ты мне поверь, Люба. Я ему руку вроде сломал, потому что она повисла, как неживая, и вытолкал его на лестницу, какой он был, без всего. Закрыв за ним дверь и чувствую: у меня в голове все мутится. Рванул с нее простыню, а она вся, гадина, волосами своими рыжими завесилась, ногтями меня за лицо схватила, глаза, что ли, хотела выцарапать. У меня, Люба, в голове, как сейчас помню, стук какой-то начался, будто поезд идет, и я закричал хуже зверя. Залаял, как собака. Разорву ее на кусочки, думаю, места живого не оставлю. Это мне сейчас так кажется, что я подумал, а вряд ли тогда что соображал. Повалил ее на кровать, и тут она мне изо всех сил в лицо плюнула. Я бутылку схватил да как... Ну, что... Разбил бутылку об ее голову, Люба. И чувствую, что меня кто-то за ногу хватает, снизу, с пола. Это братишка подполз, обхватил меня ручонками, смотрит на меня, а сказать-то ничего не может, белый весь. Я к нему наклонился, поднял его с полу, а Таська мне прямо на руки сползает, мертвая. Она сразу ведь померла. Мне теперь об этом думать очень горько. Может, она и паскудная баба была, а может, и ничего. Не в том дело. Убивать ее было не за что. Что я ей, хозяин, что ли? Но это я теперь понял, а тогда клокотал весь. Братишку я отшвырнул, он мяукнул, как

котенок, а у меня голова вся в каком-то тумане темном, все как в дыму, ничего не соображаю. Ни рук, ни ног не чувствую, будто все от меня отдельно. И тут снизу, с первого этажа, такое понеслось, что не приведи Бог! Вопли, визги, стоны, грохот, зарыдал кто-то: не поймешь, не то мужик, не то баба... Ну, я тебе в двух словах, Люба, к этому я особого отношения не имею, хоть мне и пришили, а я не отпираюсь. Дружка Таськиного наш хозяин попользовать решил. Тот к нему вломился с разбитой мордой, рука, висит, сам голый, и мозги у него тоже, видать, немного помутились, ну, а хозяин наш из него сперва "петуха" сделал, а потом и прикончил. Выбросил тело на лестницу, а потом показал, что это я его... Сперва, мол, покалечил, а потом... Вот такая история, дорогая Люба, сама видишь, хвастать нечем. Я отпираться не стал, потому что кто мне поверит-то? Да и хозяин наш меня так не так бы прикончил. В тюрьме ли, на воле ли, у него везде дружки, уж те бы постарались! А мне поначалу как-то и жизнь вроде не нужна стала. Уж больно она паскудная штука, Люба. А сейчас жалко. Неохота мне с тобой расставаться, выть хочется, до того неохота. Я вроде парень-то неплохой, бешеный, может, малость, да ведь так уж у меня все получилось нескладно. Как на свет появился, так эта нескладница и началась. Куда было деваться? А тебя я люблю, это ты верь. Мы бы зажили бы с тобой, детишек бы завели, а? Чаечка ты моя черноглазая..."

* * *

Ничего этого она не узнала, ничего не услышала. Перевязанные руки ее лежали на шершавом одеяле, натянутом до подбородка, сухие губы кривились. Его расстреляли на рассвете, когда она

спала, и под храп старухи на соседней койке снилось ей черное поле, влажное и липкое, с бредущими по нему рогатыми коровами. Они шли прямо на нее, и ей, как в детстве, было страшно, что они пропоят ее своими рогами...

* * *

"Ну, Любаня, уж мы с тобой в зоне заживем! Переводят нас на той неделе, это точно. И ты, баба, со своей мордой цыганской нигде не пропадешь, верь старухе..."

Она и не слушала косматую седую ведьму, не смотрела на нее. Торопясь, писала на вырванном из блокнота листочке:

"Дорогой Вася! Скоро нас переводят.

Разыщи меня.

Любовь Рахметова".

Ничего не могу позабыть...

ОСЕННЕЕ

Осыпается желтая хвоя.
На дары эта осень бедна...
Заплатил я за сказки с лихвою,
За мечты рассчитался сполна.

Вот стою у речушки безвестной,
Не пытаюсь понять ее речь.
Злого ветра знобящие песни
Не согреть никогда, не зажечь.

Скоро там, в ледящем просторе,
С горизонтом сравняв берега,
Равнодушна к веселью и горю,
Заметет все живое пурга.

Что ж так быстро вода потемнела?!
Вечер пасмурный гасит лучи...
Знать, осталось последнее дело, –
Свою душу молчанью учить.

Н.-Тура, 1975 г.

СТАРУХИ

Сколько помню, –
и год, и полвека назад:
У подъезда, на лавках
старухи сидят.
Все-то знают они,
видят все наперед,
И бессмертен, несметен
их шепчущий род.
Я родился, я вырос,
и в люди ушел,
Плавил звонкую песнь
огневою душой.
Сто веков пролетело,
сто вселенных сожглись.
Сотни, тысячи жизней
вместил в свою жизнь.
И вернулся, узнав все
про рай и про ад...
У подъезда, на лавках
старухи сидят.

Пермь, 1985 г.

РОССИЙСКИЕ ХРАМЫ

Меня возрастила, меня воспитала
Суровая вера российской земли.
Какая бы хворь этот мир ни ломала, –
Свет истин Господних сияет вдали.

И если душа забывает о Боге,
Среди делового земного всего,
То храмов камня торжественно-строги,
Прославят пресветлое Имя Его.

Как слово, до смерти хранимое, – мама,
Мир добрым и светлым мне видится весь...
В лазурную высь загляделися храмы,
И в сердце

Христа воскресил благовест.

с. Посад, май 1992 г.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ПОЭТЫ

На кухне, где хозяйничают мыши
И тараканы празднуют свой пир,
Сидит поэт, стихи в газету пишет,
Чтоб удивить и ошарашить мир.

Смешной чудак, наивный полуночник:
Мир этот слишком долго верил в ложь,
Устал он от высокопарных строчек,
Что даже его Бродским не проймешь.

Искурят мужики твои поэмы,
"Бумага грубовата..." – проворчав...
Молчать не можешь ты, – такие темы!
И, может быть, ты в этом, брат мой, прав.

Вот лишь жена шумит (она-то в норме) –
Не спал, а на работу кто пойдет?!
Стишата, мол, не поят и не кормят,
Их осуждает, словно блажь, народ...

Не спят провинциальные поэты.
И, мучая нещадно дух и плоть,
Упрямо ищут правду и ответы...
Пишите. Да поможет вам Господь.

с. Посад, май 1992 г.

В БОЛЬНИЦЕ

Я шепчу, смяв больничные простыни,
В болевой – до удушья – тиши:
Укажи мне дорогу Ты, Господи,
К очищению грешной души!

Мир жесток этот и бессердечен,
Поневоле звереешь и сам...
У иконы не ставлю я свечи,
Равнодушен к святым чудесам.

Лишь в себе, где молитва и вера,
Я творю беспощаднейший суд.
Есть же истины высшая мера, –
Доброта, бескорыстье и труд.

Но дорога темна и ненастна,
Каждый шаг бесконечно тяжел...
А кругом: – Дайте водки и мяса! –
Слышу рев обезумевших толп.

Но не с этими я и не с теми,
И себя лишь могу я винить...
Боже, путь освети в эту темень,
Дай мне душу живой сохранить!

Дай не впасть мне в злословье и в злобу,
Человека не дай разлюбить...
Эти ночи в больницах угробят:
Ничего не могу позабыть,

Ни своих, ни чужих прегрешений,
И грядущее карой грозит...
Подойти к медсестре строгой – Лене,
Да снотворного, что ль, попросить?!

Пермь, август 1992 г.

В ТАКУЮ НОЧЬ

"Нужно верить в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой; а искать, искать, искать одиноко, один на один со своей совестью..."

*А. П. Чехов –
редактору "Журнала для всех"
В. С. Миролюбову*

В такую ночь, когда темно и глухо,
Когда над полем нет луны и звезд,
Больная совесть – злобная старуха,
Мне за вопросом задает вопрос:

Как жил я, чем, к чему пришел в итоге
Своей дороги – путаной, крутой?
Зачем не думал о судьбе, о Боге,
Лишь тешил душу дьявольской мечтой?

Хотел я выше быть земных волнений,
Но не искал пути к добру, к любви...
Жизнь – сладкое – (я думал) – сновиденье:
Копился злобы яд и лжи в крови.

Грешил, как мог, и не прощал обиды,
Завидовал, – до темноты в глазах...
Хорошего пусть мало в жизни видел,
Но мало делал я его и сам.

Те дни, когда был безоглядно молод,
Ушли. Осталась сердца маята.
Вот почему в душе – тоска и холод,
Ночей осенних, темных пустота.

Опять дожди стучат по ржавой крыше.
Ночь эта немотой казнит... Доколь?!

Молюсь... Но разве же Господь услышит,
Как воскресает вера, – через боль?!

Пермь, август 1992 г.

РОМАШКОВЫЙ ВЕТЕР

Чуть дымится лунная долина.
Светится реки блескучий шелк.
По кустам ольховым соловьиный
Всю-то ночь бессонный перещелк.

Веет с луговины тихий ветер,
Шелестит березовым листом.
Полной грудью пью во славу лета
Зрелых трав дурмящий настой.

Слушаю ромашкового поля
Светлое дыхание в легкой мгле.
Нежность в сердце – до щемящей боли
Ко всему живому на земле.

Я домой пройду по травам росным.
И душа поймет, как жизнь мила.
Счастье – это я, поля и звезды,
И уют родимого села.

с. Посад, 1988 г.

Я ВЕРНУСЬ

Родословную свою не помню.
Вся родня, –
земной безвестный прах.

Мой отец –
бедняк, колхозный конюх:
Знал он толк в сохе и лошадях.

Дед – батрачил,
далее – молчание.
Крепкие крестьяне, кержаки
Посреди лесов срубили бани,
Избы и амбары – от руки.

И называли то село – Озерки,
Нынешней не ведая беды...
Дух забвенья,
самый в мире горький:
Пустырей, крапивы, лебеды.

Далеко живу,
да тешусь сказкой,
Хоть давно пропал деревни след.
Но жива кержацкая закваска –
Верить в чудотворный жизни свет.

Заросли осокою озера.
На душе – кладбищенская грусть.
Но твержу все чаще и упорней:
"Я вернусь на родину, вернусь!.."

Я вернусь, чтоб зацвели поляны,
Край родимый птицами запел...
Словно к матери ребенка, – тянет
Возвратиться к дедовской тропе.

с. Посад, 1989 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

И вот вернулся... Белая равнина.
Над снежным полем – мертвый свет луны.
О Родина! Прими бродягу-сына,
Пришедшего из дальней стороны.

Прими его усталого и в шрамах,
Пусть сердце – узел болей и обид...
Моя такая ласковая мама,
Не слышит, не встречает, не глядит.

Свистит метель в густом сухом бурьяне
На месте том, где начинался род...
Пустое поле в призрачном сиянье.
В холодных звездах стынет небосвод.

Какая ж сила злая разметала
Тот мир, что помню я, как дивный сон,
Где все смеялось, пело и сверкало?!..
Тех дней прекрасных слышится лишь звон.

Деревни нет. Зарос погост забытый:
Покойся с миром, кровная родня!
Простор поет, до самых звезд открытый,
Той памятью остывшею звеня.

Не осуждайте, – пусто здесь и страшно,
Хоть этот край я видел и иным...
Припомнив детство, – яркий день вчерашний,
Я уйду в грядущее, к живым.

И там, в пути, и долгом, и безвестном,
Вдруг душу мне порой оледенит
Холодным звездным нестерпимым блеском,
Который нынче эта даль хранит...

с. Озерки, 1989 г.

Подарок правнукам

Лукерья была одной из первых комсомолок Ельска и ворошиловским стрелком. После женитьбы ее мужа назначили председателем луцихинского сельского совета, бросили в помощь деревне. Пропредседательствовал он недолго, поскольку запил по-черному. С ответственного поста его турнули в пастухи. Муж озлобился, запил еще чернее и начал драться. Дрался зверски, кулаками, ногами, сапогом, табуреткой, чем непопадая. Забил бы Лукерью до смерти, да война пришла. Прибрала война мужа. Осталась вдова с сыном да с дочерью.

При Лукерье Луциха не раз испытывала взлеты и падения и в конце концов захирела. Одно время луцихинский рынок соперничал с ельским... Летом цыгане приезжали, зимой губернское начальство на охоту жаловало. Затем половину деревни раскулачили и угнали в Сибирь. Обезлюдела Луциха. Народец остался балованный, шибко непутёвый. Поползла по деревне эпидемия запойного пьянства. Пропивали штаны, нательные кресты, пропивали душу, мать родную.

Менялись времена, менялся дух, но пьянство прижилось, не выводилось. Был еще краткий миг, когда появилась надежда на возрождение. Надежду принесла предвоенная волна ссыльных. Неумелые городские, вызывавшие своими повадками смех у местных, внесли здоровую струю, оживили дерев-

ню. Известный лушихинский балагур Степка шутил по поводу ссыльных, что мол кончилась Сибирь, уж и селить там негде. Шутил долго, два месяца. "Да, нет, Степа, Сибирь большая", - сказал участковый, увозя Степку.

С началом войны ссыльных погнали дальше на север, мужиков на фронт позабирали. Вновь обезлюдело, вроде даже пить меньше стали. А потом горечь утрат, радость победы...

Надолго канула Лушиха в забвение и безысходность, казалось, совсем вымрет. Последнее возрождение было связано с леспромхозом, организовавшим в Лушихе лесопункт. Не возрождение, скорее перерождение, а может, вырождение. Лушиха наполнилась людом. Пришлые в Лушихе не селились, квартирантами жили. Не люди, сброд, все больше бегуны от исполнительных листов да уголовники. С их приходом в Лушиху хлынули деньги, зарабатывали леспромхозовские прилично. Пьянки стали масштабней, вместо браги пили водку, пили большими компаниями, в получку и аванс всей деревней.

Разваливался крестьянский уклад, на глазах ветшали дома, зарастали сорной травой огороды, деревня пела про шумящий камыш...

Где сгинул, пропал сын, того Лукерья не ведала. Как второй раз посадили, так и не вернулся.

А дочь померла в Лушихе. Сгорела от водки, оставив матери трех сыновей. Не удались Лукерье дети, а уж в кого пошли внуки, она и сообразить не могла. Три внука: Пашка, Лёшка и Митя. Все от разных мужей. Пашка с Лёшкой однако ж походили друг на друга как братья-близнецы. Здоровые, бесстыже-нахальные, кровь с молоком. Митя рос болезненным, плаксивым. Порой он вызывал раздражение у Лукерьи, но теперь она вспоминать об этом не любила. Мучила ее теперь совесть за недо-

данное Мите в детстве тепло, любовь, ласку. Именно в этом хилом отпрыске сосредоточились все Лукерьины надежды, все виды на грядущее. Митя не пил! Он закончил техникум и жил в Вологде. У него была тихая, как он сам, жена и две ухоженные и ласковые дочки. Когда Митина семья приезжала в Луциху, Лукерья заворуженно глядела на них, как на святых, боясь коснуться ангелоподобных внушек своими заскорузлыми пальцами. Для Лукерьи их святость была неоспорима; и Митя, и его жена не матерились, ходили в чистом, не били Лукерью. Бабка всерьез жалелал о том, что природа наделила старших внуков богатырским здоровьем. Ей думалось, что будь они с каким-нибудь дефектом, ну там к постели прикованы... глядишь, и лучше было бы, может, поменьше бы пили.

Последний раз Митя гостил два года назад. Перед отъездом Лёшка здорово набил Мите морду. Так, ни за что, чтоб жизнь малиной не казалась. С тех пор время остановилось.

Глубокая осень тянулась бесконечно, сковала жизнь, давила смертной тоской, хоть волком вой. И вот однажды Лукерья проснулась от того, что просветлело. На землю падал снег. Пушистый, мягкий, белый. Снег ложился уверенно, надолго, избавлял от грязи и слякоти, выводил из неопределенности. Он нес тепло земле и людским сердцам. Чистота вдыхала в промозглое сознание несокрушимую веру в постоянство, счастье, в непроходящее детство и в сказки. По-своему снег спасал, служа одновременно саваном и пеленкой. Сохранялась цепочка преемственности, сохранялась возможность творить, крушить, мечтать, надеяться и умирать. Снег валил стройными рядами, кутал землю. Мир не скалился больше безнадежностью голых ветвей, а был ласков и добр, звал в себя, увлекал за собой.

Бабка полдня просидела у окна. Временами

плакала. Плакала от того, что жизнь не сложилась, от того, что она старая, от того, что снег белый... И все ждала чуда. И чудо произошло. Почтальон принес письмо из Вологды.

Митя обещал приехать к 1 мая. Жизнь обрела смысл. Лукерья носила письмо за пазухой. Перечитывала его, когда делалось тяжело, когда сердце давило, если с соседкой ругалась, если по хозяйству не ладилось... В плане практической подготовки к встрече Лукерья решила переводить на сберкнижку всю свою пенсию, все 23 рубля. Хотелось встретить дорогих гостей достойно. Чтоб и стол, и подарки правнучкам.

Изощрения Лукерьи в области добычи пропитания относятся к малоизвестной области сверхживучести. Летом-то все проще, можно на подножном корму продержаться. Но сейчас, зимой, Лукерья вела бой с голодной смертью, как опытный боксер: экономила движения, экономила эмоции, каждая сожженная калория шла на пользу, то есть - на изыскание пищи. Благо опыта у Лукерьи много. Жизнь при 23 рублях способствует подвижничеству.

Когда-то в Луцихе жили староверы. Жили замкнуто, отгородившись от всего мира. Потом проложили большой почтовый тракт. Пришел конец обособленности. Легенда гласит, что, не выдержав притеснений, староверы подожгли деревню. На пепелище отстроили новую деревню, а на месте сгоревшего леса выросла чудесная корабельная роща. Когда Лукерья впервые увидела Луциху, ее окружали величавые двухсотлетние сосны. В роще бил Машкин ключ, считавшийся священным. Никто не знает, почему ключ называется Машкиным, почему он священен, уважение к ключу и к роще переходило из поколения в поколение. Почитание ключа особенно возросло после того, как в приступе атеизма Лукерьян муж, еще будучи председателем, спа-

лил церковь. Давно уже не было рощи, пересох ключ. Но именно туда всю зиму, поддаваясь старческой причуде, ходила Лукерья. В тишину, в одиночество, к образам прошлого. Этот странный обряд поддерживал Лукерьины силы. А в поддержке она, ох, как нуждалась.

Основным источником существования являлись бутылки, оставляемые пьянкой внуков, да объедки с их стола. Объедки были обильными, то, что Лукерья не смогла съесть, запасала впрок, сушила, морозила. Но внуки неделями жили в лесу, и тогда бабке приходилось туго. Она подряжалась стирать, колоть, мыть, да такой клиентуры в деревне наперечет. Хорошо если свадьба или похороны, тут Лукерья первая помощница. А так...

Особенно лютым выдался февраль. Братья с получки загудели аж на лесопункте, не добрались до деревни, и Лукерья осталась без своей порции объедков. Ни свадеб, ни похорон, тут еще метель придавила. Обессиленную бабушку ветер запер в избе, не давал выйти, валил как былинку. На шестые сутки пурги Лукерья лунатиком бродила по дому, бессознательно шаря по шкафам, ларям, полкам и вдруг вспомнила, что летом Пашка закатил в половую щель железный рубль. Собрав последние силы, она дотянула до магазина. Купленную бутылку молока и батон Лукерья прикончила там же, у прилавка. Потом ее затошнило, и дальше она ничего не помнит. Больница здорово выручила Лукерью. Бесплатная еда и тепло помогли пережить самый жестокий отрезок зимы, финиш.

Бабка часто вспоминала первое время жизни в Лушихе. Тогда ее муж был строен и подтянут и смотрел на нее влюбленными глазами. Тогда утром солнце выходило из-за огромных сосен, а вечером вязло в их высоких кронах. Тогда Лукерья не знала, что такое усталость, умела хохотать до упаду,

не помнила злобы. Лушиха жила счастливой праздничной жизнью. Кружила карусель, шныряли страхолюдные цыгане, пестрели нарядные одёжки. Лежа в больнице, Лукерья чаще всего вспоминала карусель. Карусель околдовала с первого взгляда. Страшно страдая, Лукерья тайком, издали, наблюдала за волшебным аттракционом. Глупо, но тогда она считала, что ей эта забава заказана. Не солидно, не положено вроде жене председателя, комсомолке и ворошиловскому стрелку скакать на деревянной лошадке. Вернее, она точно не знала: можно или нельзя? Мучилась, но спросить стеснялась, даже у мужа. Смешно, нелепо... Если бы вернуть время, если бы...

"Хе! - усмехнулся Лёшка. - Приползла бабка-то. А мы уж думали, с концами отвалила". Лукерья привыкла к пьяным шуткам, но в этот раз что-то в тоне Лёшки ее насторожило, уж больно злоехиден был. Лукерья глянула на Пашку. Тот осоловелыми глазами изучал содержимое стакана, глаз на бабу не поднял. В отличие от разухабистого Лёшки Пашка совестлив был во хмелю. И от того, что глаз он не поднимал, нехорошее поползло в бабкину душу. Она оставила вещи и пошла к соседке.

Соседка, увидев Лукерью, побелела, попятилась, крестя гостью, запнулась за порог и села на зад. Когда соседка малость пришла в себя, она поведала чудные вещи, потрясшие уже давно потерявшую способность потрясаться Лукерью.

Братья заявили домой через неделю после того, как увезли Лукерью в больницу. На два дня они пропали из Лушихи. Где были и, главное, что пили, никто не знает. Но смотреть на них жутко было. Синюшные, трясутся, как паралитики. Может, потому им и поверили, больно не похоже на обыкновенное похмелье. Лёшка обошел все избы и везде говорил одно и то же. Мол, померла Лукерья,

похоронили ее в Ельске. Говорил, что она еще при жизни просила хоронить себя в Ельске, на родине стало быть. Плакался Лёшка, что помянуть Лукерью нечем, что остались они одни-одинешеньки...

Вот сердобольные бабки и поволокли кто что мог. Кто капустки соленой, кто бутылочку, кто просто бражку. Два дня весь лесопункт гужевал на Лукерьиных поминках. Таким же манером справляли девять дней, сорок собирались справлять. "Я им справлю", — прохрипела Лукерья.

Не помня себя добралась Лукерья до дома. Огненными цветами расползались в глазах кровавые круги, шаманским бубном стучало сердце. Лукерья схватила в сенцах топор, ввалилась в избу. Лёшка оказался ловчее. Он выбил топор из старческих рук, ударом в грудь свалил старуху. Затем хихикнул: "Не тужи, старая, теперь тыщу лет проживешь". Пашка поднялся, врезал Лёшке в челюсть и, не глядя на бабу, вышел. Лёшка, утирая кровавые слюни, перед выходом пнул старуху ногой и прошипел: "Все из-за тебя, сука!"

Лукерья не раз пожалела о своей выходке. Внуки целый месяц глаз домой не показывали. И бабка вновь в одиночку сражалась с голодом.

В это время вновь объявился призрак Михеича. Над Лушихой издевались многие и много. Лушиха все прощала, но того, что сотворил Михеич... Как-то в декабре леспромхоз попал в тяжелое положение. Горел годовой план. И тут лесник Михеич предложил спилить корабельную рощу вокруг Лушихи. Там же каждое дерево по 30-40 кубов. Тут не то, что план, тут черта за рога вытянуть можно. За сообразительность Михеичу выдали прёмия — 17 рублей! Завизжали бензопилы, повалились в снег вековые сосны. Начальство потирало руки, план выполнялся. Гибнущая роща вытягивала леспромхоз из прорыва. Леспромхоз вновь был на коне.

Вновь ударник, вновь знаменосец. Рощу свели на пеньки за три дня. Все три дня у Машкиного ключа стояла столетняя Агафья с иконой. Когда ее пытались увести, обнаружилось, что она сошла с ума. Приехала "скорая", Агафью спеленали, увезли. Плешь, образовавшаяся на месте рощи, страшно изменила облик Лушихи. Деревня на фоне сваленных реликтовых хлыстов гляделась круглой сиротой. Обложила со всех сторон безобразная пустота. Тихо стало, бесприютно. Хлысты пролежали полтора года. Вывозить их было неудобно, и леспромхоз забыл про них. Деревня понемногу привыкла к пустоши. Через полтора года, в засушливое лето хлысты загорелись. Горели двухсотлетние стволы ужасно. Столбы пламени взмывали в воздух на десятки метров. Старики крестились, полагая, что пришел конец света. Крайние избы приходилось непрерывно заливать водой, чтобы не воспламенились.

После пожара вся Лушиха оказалась погребенной под десятисантиметровым слоем пепла. В огне пожара сгорел Михеич. Злые языки утверждали, что в день пожара видели, как он с канистрой шел на пустырь. Но так или иначе, Михеич первый с бессмысленным героизмом кинулся тушить занимающийся пожар. В последнее время он здорово сдал. Пил, как никогда, и все жаловался на шум в ушах. Хоронили его в закрытом гробу, все те же злые языки утверждали, что в гробу ничего не было, кроме сплавленной кокарды с форменной фуражки лесника. Для лушихинских стариков Михеич остался антихристом. Если бродил его призрак, ждали беды, верная примета.

В апреле Лукерья сняла с книжки огромную сумму - 115 рублей, плод пятимесячного голодания. Бабка чувствовала себя ближайшей родней Морганов. За всю свою жизнь она не держала столь-

ко денег в руках сразу. Сто рублей она положила в старый заварной чайник, а с 15 рублями, завязанными в носовой платок, поехала к сестре в Ельск. Погостить и подарки правнучкам присмотреть. Началась жизнь.

Неделя, проведенная у сестры, была одной из самых счастливых в Лукерьиной жизни. Без забот о хлебе насущном. Печку не топить, воду не носить, да при деньгах-то. Лукерья даже позволяла себе гусарство: обед в столовой на 86 копеек, два пирожных за 22 копейки. Одно только волновало. Подарок! В магазине у Лукерьи разбегались глаза. Она часами стояла в отделе игрушек, бесконечно сравнивая, сопоставляя, прицениваясь. Извелась сама и издергала сестру. Но это были волнения человека, может быть, впервые в жизни собирающегося Дарить! Каждый день Лукерья шла в магазин, и, казалось, не будет конца сладкой пытке.

Уже четвертый час пошел, а "трубы горели" аж с шести утра. Лёшка стонал, Пашка лежал молча. За девять часов братья извели все "радости" астенухи, теперь хотелось только одного – тихо и быстро себя задушить. Зачем Лёшка полез в буфет, он и сам себе объяснить не мог, зачем ему понадобился заварной чайник, когда в доме уже десять лет чая не пили, тут и кто поумнее Лёшки не разъяснит. Но факт остается фактом. Лёшка чайник-то открыл. Братья долго ломали голову, откуда у старухи могла взяться сотня. В конце концов сошлись на том, что деньги прислал Митя. "Значится, будем за здоровье Митяя пить", – подытожил Лёшка, запихивая деньги в карман. Он вырвал из тетради лист, чиркнул по нему карандашом, затолкал листок в чайник, а чайник поставил на место.

Вернувшись из Ельска, Лукерья первым делом произвела ревизию своего хозяйства. Всё обошла, примечая недостатки. Где прибить, где помыть, где

почистить. Потом сидела на лавочке у калитки, шурилась на еще по-зимнему холодное солнце и строила планы на будущее. Занятие для Лукерьи необычное. Планы всё больше пустые, фантастические. С непривычки-то. Хоть по-настоящему занимал сам процесс, а не результат. Всё было так хорошо, что не по себе становилось.

На следующий день бабка взялась за дело, скоблила полы, мыла окна... Когда дошла до буфета, что-то екнуло в сердце. Бабка взяла чайник в руки, села на скамью и правильно сделала, а то бы грохнулась... Долго и тупо Лукерья рассматривала листок, не в силах прочитать, что там написано. А написано было: "Ку-ку". Когда до бабки это дошло, она сорвалась на звериный крик: "Ироды!!!"

Часа три бабка просидела каменным истуканом. О чем думала, неведомо, вроде вспоминала, может, мечтала, неисповедимы мысли человеческие. Затем встала, выпрямилась, достала ружье, вложила в каждый ствол по патрону, оглядела избу, ушла.

Широкая в кости, простоволосая, бабка двинулась крупным шагом в сторону леса. Ни одна собака в деревне не гавкнула, никто носа на улицу не высунул. Из-за занавесок следили. Старуха не повесила оружие на плечо, так и прошла весь путь до лесопункта с ружьем наперевес. На врага шла.

В просторной бендюжке собрались на перекур лесорубы. Лёшка рассказывал анекдот, когда дверь распахнулась и на пороге выросла Лукерья. "Что, старая, на свежанину потянуло?.." - хохотнул Лёшка и осекся. Широко расставив ноги, Лукерья уперла приклад в плечо и стала поднимать стволы. Одновременно медленно стал подниматься с лавки Лёшка. Звук выстрела оглушил, пороховая гарь заполнила бендюжку. У сидящих слезились глаза, сперло дыхание, давились, а кашлять боялись.

Сквозь редящий дым виделся Лёшка. Пуля пробила лоб, бросила его на стенку. Там он и лежал, закатив бессмысленные глаза в потолок. Из зияющей во лбу дыры пузырилась красная пена.

Лукерья перевела пустоту стволов на Пашку. На бледном Пашкином лбу выступили крупные капли пота. Было слышно, как в трубе буржуйки гудел ветер. Пашка нерешительно встал и виновато-беспомощно улыбнулся. Сквозь улыбку проступило что-то почти забытое, детское. Лукерья опустила ружье и вышла.

Старуху обнаружили через месяц в старом, давно забытом ските. Опознали ее по двустволке. Хоронить-то было нечего, все лесное зверье растащило. На похоронах больше всего суетился тщедушный, плешивый мужичонка в очках – внучек Митя. Пашка не выпил на поминках ни грамма, сидел в дальнем углу стола и угрюмо смотрел в тарелку. Рядом сидели две чистенькие, хорошенькие девочки. Всех поражало, как сейчас Пашка походил на Лукерью и как сидящие рядом Митины дочки походили на Пашку.

МТФ

Гигантские, словно выстроенные из светлого туфа, белые тополя окаймляли рощу. За рекой зеленое поле, трехгектарка, за полем расположилась молочно-товарная ферма – МТФ. Три приземистых длинных коровника, обшарпанный корпус общежития да дюжина хат. В сущности, целый мир.

Трактор буксовал, метров двадцать до асфальта не дотянул. На обочине сидели мужики. Гадали, вылезет трактор из лужи или нет. Не вылез, заглох.

Солнце закатывалось за плоскоголовый Козырев бугор. Со стороны озера медленно двигалось стадо. Коровы поминутно останавливались, срывали мягкими губами жесткую пыльную траву, задумчиво жевали. За стадом сонной мухой ковылял тщедушный плешистый пастух – Митя Орел. Мужики переключили внимание с затихшего трактора на пьяного пастуха.

– На автопилоте гребёт, – высказался скотник Витька.

– Да, – согласился ветврач Пашка, – тяжеленький.

– Эй, птичка! – крикнул лесник Степаныч. – Ежели коровы на мой сенокос заходили, голову тебе оторву!

– А я знаю, куда они ходили? – пожаловался Орел. – Я здешних мест не знаю...

– Заблудиться-то не боишься? – весело перебил Пашка.

– Не, они дорогу знают, – кивнул на коров Митя.

– Значит, это они тебя пасут, – заключил Пашка.

Мужики захохотали, Митя растерянно захлопал глазами. Завелся трактор и вновь принялся буксовать. Орел кинулся догонять стадо. Солнце скрылось, на землю пала мгла.

Витька рисовал перед Пашкой перспективы счастливой жизни. Витька рисовал эти перспективы перед каждым встречным и поперечным. Пашка наизусть всё знал.

Приехал Витька с Севера. Потянуло его, видишь, в теплые места. На Севере оставалась жена Катя. По доверенности она должна была продать там Витькин дом и подъезжать. Тем временем Витька купил здесь развалюху, ради плана, ждал и грезил наяву о будущей счастливой жизни. Знали,

что Катя на 10 лет моложе мужа. Знали, что она красива и своевольна. Что у нее два уже больших сына, не от Витьки...

Солнце било прямой наводкой. Всё живое уползло в тень. Пыль, липкая жара, такая же неотвязная и надоедливая, как Витькины бредни, доставала повсюду. В знойном мареве эфемерными видениями дрожали тополя у речки, плоскоголовый Козырев бугор...

Витька расписывал невыстроенный дом, когда в дремотное оцепенение ворвался грохот мотоцикла. Мотоцикл резко занесло перед калиткой, люлька чуть ли не на метр взметнулась. На мотоцикле сидел зеленовато-бледный Степаныч.

- Пашка, - дрожащим голосом крикнул лесник, - поехали быстрее!

Сидевший на крылечке ветврач прищурился на солнышко и лениво проговорил:

- Нет, я с тобой не поеду. Ты и ездить-то не умеешь. Угробишь меня...

- Пашка, не блажи! - взвыл Степаныч. - Я жену пришиб!

- Насмерть?! - охнул Витька.

- Кажись, нет, - вздохнул Степаныч. Пашка пошел за аптечкой.

Евдокия сидела на лавочке, прикладывала ко лбу железную литровую кружку. Под кружкой красовалась огромная шишка.

- Пришиб, - передразнил Степаныча Пашка. - Евдокию не пришибить. Она у нас бессмертна, как кощей.

- Точно, - поддакнула Евдокия и злорадно добавила, - я теперь тебя в тюрьму посажу.

- Язва, - простонал Степаныч.

Что верно, то верно. Язва. Допилила-таки мужа. Решил Степаныч срезать грушу во дворе.

Мешала она, понимаете ли, Дуське. А поскольку Степаныч малость под мухой был да груша верчен-ная попалась, оплошал. Запил неверный сделал. Зависло дерево на сарае, продырявив крышу. Пока незадачливый хозяин стягивал грушу, жена бегала вокруг и шпыняла почему зря. Степаныч не выдержал, запустил в Дуську курткой. Уже когда бросал, почувствовал неладное. Баба взвизгнула, мешком повалилась навзничь, и тут Степаныч вспомнил, что в кармане куртки лежит брусок, точило для топора...

- Лет на восемь посажу, - прикидывала Евдокия. Повязка закрывала ей глаз, и она напоминала адмирала Нельсона.

- Вышку проси, - советовал Пашка.

Витька рассказывал Гонтарю о жене своей Кате. Гонтарь терпеливо слушал. Каждый раз Витька слегка менял рассказ и всякий раз оставался недоволен. Не удавалось передать словами красоту любимой женщины, колдовство улыбки катиной. Витька сам рот до ушей растягивал, прокуренным сипом пытался имитировать серебристый смех. Не получалось... В ответ Гонтарь рассказал про кролей. В рассказе Гонтаря кроль представал зверем хитрым, коварным... Гонтарь тоже был своим рассказом недоволен.

- Пойдем покажу, - предложил он.

- Пойдем, - согласился Витька.

Обнявшись, друзья отправились к дому кролиководы.

Кроли жили в яме. Здоровая яма, четыре на четыре и два в глубину, изнутри обшита досками. Заглянув в нее, Витька обнаружил, что там никого нет.

- Убежали? - спросил Витька.

- Не, ушли, - пояснил Гонтарь и стал тыкать пальцем в разные части ямы. Проследив за паль-

цем, Витька понял, что палец тыкает не куда попало, а норовит попасть в дырки. Приглядевшись к дыркам, Витька пришел к выводу, что отверстия в досках кто-то прогрыз, еще через десять минут он сделал логический вывод: отверстия прогрызли кролики.

– Убежали? – спросил Витька.

– Не, ушли, – пояснил Гонтарь.

И тут до Витьки дошло:

– Там сидят.

– Сидят, – радостно подтвердил Гонтарь.

– А почему совсем не уйдут? – снова спросил Витька.

– Я им комбикорм даю, – вновь пояснил Гонтарь, – любят комбикорм, гады.

Чтобы наглядней пояснить свои слова, Гонтарь сбежал в сарай, приволок ведро комбикорма.

– Гады! – крикнул он в яму и стал сыпать туда комбикорм.

Из отверстий толпой повывлезали кроли. Длинные, худющие, злые и мускулистые. В яме началось нечто апокалипсическое. Кроли вдохновенно ринулись к комбикорму. Орали, кусались, лягались, рвали друг друга на куски. Из норок выползали все новые и новые зверьки. Казалось, конца-края им не будет. Комбикорм смолотили за полторы минуты, вместе с комбикормом съели двух-трех собратьев. Молниеносность ужасала, через две минуты яма вновь была пуста.

– Гады, – озадаченно проговорил Гонтарь. При этом слове из ближайшей норки высунулась кроличья морда, смешно пошевелила носом и, сообразив, что комбикорма больше не будет, убралась восвояси.

– Гады, – повторил Гонтарь.

– Сколько их? – проговорил потрясенный Витька.

– С полтыщи будет, – неуверенно пожал плечами Гонтарь.

– Я себе заведу, как жена приедет...

Слушатели собрались вокруг костра. Отблески огня освещали испуганно-напряженные лица. Степаныч рассказывал про диковинного змея-желтобрюха.

– Метра три в длину будет... Зубов у ево нету, у ево хвост сильный. Он хвостом бьет. Корову с ног сбить сможет... Вот раз иду по делянке, в десятом квартале, прямо по квартальной, а он в колее сидит. И как кидь на меня... Еле ноги унес...

– Врешь ты все, – перебил Пашка, – из колее в десятом квартале танку не выбраться, не то что змеюке какой. В той колее, случись что, взрыв термоядерный переждать можно...

Все засмеялись. Колею знали.

– Ну вот, – обиделся Степаныч, – не буду рассказывать.

– Расскажи, – взмолился Орел.

– Ладно, – согласился Степаныч, недоверчиво покосился на Пашку и принялся врать дальше.

Костер горел на крутом склоне реки под толстой корявой белолистой. Мерно шелестела река. Иногда налетал задиристый ветерок, и старое дерево грустно перебирало листвой ответно.

– ...А еще куст такой есть, – вновь вошел в раж Степаныч, – держи-держи называется... У ево колючки, как крючки, назад загнутые...

Тонкий серпик луны казался призрачным. В вязком бархатно-черном небе вызывающе-ярко блестели звезды, хорошо просматривался Млечный путь. Пашка встал и строго проговорил:

– Мне противно слушать эту антинаучную ахи-нею. Я лучше к Любаньке пойду.

– Вот кабель, – добродушно засмеялся ему в спину тракторист Гриня, – всех перетоптал. По

второму кругу пошел, – сидящие вокруг костра смотрели вслед уходящему ветврачу. Чудной он, никогда не поймешь, когда он шутит, а когда всерьез.

Близились полночь, время преступлений. Преступление было устроено хитро: забираешь на ферме мешок комбикорма, тащишь его к шоссе. Там к двенадцати съезжаются те, кому нужен комбикорм, обменивают мешок на бутылку. Занимались воровством все поголовно, благо комбикорма на ферме много. Неизвестно кто и когда догадался первым снести мешок к трассе. Обитатели МТФ полагали, что традиция ведется издревле.

Орел участвовал в подобной затее впервые. Гриня с Витькой старательно его стращали.

– Ежели свисток услышишь, – наставлял Витька, – падай и голову закрывай. Чтоб в голову не попали.

– Стреляют? – в ужасе прошептал Митя, совсем туго соображавший с похмелья.

– Ага, – поддакнул Гриня, – как саданут очередью. Друшлаг из тебя сделают...

– Ты первый иди, – приказал Витька.

– Почему первый? – нервно дернулся Орел.

– Примета такая, – пояснил Витька, – новичкам везет. Только в обход дуй. На полкилометра дальше, зато целый будешь.

Орел горестно вздохнул, взвалил на себя мешок, поплелся в обход. Едва он отошел, как Степаныч сообщил, что положил ему в мешок четыре кирпича. Витька, сунув два пальца в рот, залихватски свистнул. Орел упал и старательно прикрыл голову руками.

– Молодец! – громко крикнул Витька. Орел поднялся, продолжил путь. Наохотавшись, вся компания закинула мешки на плечи и через трехгектарку, напрямик двинулась к Краснодарской трассе.

Тремя часами позже в стельку пьяный Орел, плача, вопрошал: "Зачем кирпичи поклали?" Ответом на этот риторический вопрос был взрыв смеха.

Приспело время судилища. Накануне старики основательно перетрусили. Бесплотными призраками двигались по дому, почти не разговаривая друг с другом. Повестка, нарочный, иск... Окружающий мир стал незнакомым, чужим. За день до суда Евдокия прикинулась больной. Для моральной поддержки со Степанычем поехал Витька.

Судья страшным голосом говорил страшные слова: "...действия, квалифицируемые как злостное хулиганство, повлекшие за собой...". Степаныч судорожно застыл и напоминал деревянного бога, с той только разницей, что статуэтки не потеют, а с обвиняемого пот ручьями лил. Похожим же на бога Степаныча делали глаза. В глазах отражалось мученичество, жертвенность, безвинное страдание. Судья в те глаза не смотрел.

Приговор оказался суровым – двадцать пять рублей штрафа. После оглашения Степаныч громко сказал: "Спасибо", – степенно поклонился суду и вышел из зала заседаний. Зрители со смеху попадали.

Витька потянул осужденного в пивную. После третьей кружки на лице Степаныча сохранялось выражение бессмысленной отрешенности от всего земного. Витька побежал за водкой. Спасать надо мужика. Водка подействовала. Через сорок минут Степаныч заговорил. Да чудно так, у Витьки даже мелькнула мысль, что все время Степаныч подыскивал именно эти слова: "Нет, неправильно он говорил... Прямо убивцу из меня сделал... Я Евдокию люблю. Двадцать восемь годов душа в душу..."

На хутор вернулись поздно. Евдокия стояла у калитки подбоченившись.

- Ну что?! - победно осведомилась она.
- Пятьдесят рублей присудили, - осторожно ухмыльнулся Степаныч.
- Мало, - ехидно процедила Евдокия, - надо было с тебя, супостата, сто содрать.
- Надо было, - согласился Степаныч.

Витька тосковал. Прошла пора тихой грусти и меланхолии, наступило время отчаянья. Подспудно Витька давно чуял недоброе. Больше самообману поддаваться не удавалось, стало очевидно, что его бросили. По самым успокоительным подсчетам, жена продала дом месяца два назад. Не могла она так долго ехать... Витька сидел на лавочке в огороде, смотрел на Краснодарскую трассу. Трасса была пустынна. В огороде все повяло, пожухло. Чувствовалось приближение осени. А еще Витька чувствовал приближение старости. Страшной, одинокой.

Пришел Пашка. Отключили свет. Витька долго шарахался по хате впотьмах, наконец нашел огрызок свечи. Убогий огонек озарил скудный Витькин быт. Пашка отыскал табурет, подсел к шаткому, наспех сколоченному столу. Витька отыскал два сравнительно чистых стакана. Нарезали сало, покромсали луковицу, налили в стаканы. Вроде как и уютней стало.

После второго стакана Витька предложил:

- Я тебе про жизнь свою расскажу...
- Только не о жене, - взмолился Пашка.
- Нет, - успокоил Витька, - мы с Катей и не зарегистрированы. Я тебе о жене своей расскажу...

И Витька стал рассказывать о какой-то полузабытой женщине, от которой ушел двадцать лет назад. Женщина осталась с ребенком на руках, с Витькиным сыном.

- Большой уж, подикось... - задумчиво говорил Витька.

Дверь распахнулась, ввалилась бригадирша Петровна. В связи с отсутствием электричества бригадирша собирала народ, доить вручную. Собирала всех, кто на ногах держался.

– Я коров боюсь, – шепотом поделился Витька.

– Я тоже, – успокоил Пашка.

Сбор проходил трудно. Доярка Тонька стояла в луже и рассказывала бригадирше, что она думает о ферме, о коровах, об электричестве, о Петровне. Суждения по поводу всего вышеперечисленного были удивительно однообразны. Рядом с Петровной стоял Пашка. Он, дождавшись паузы в обличительной речи доярки, мягко заговорил: "Солнышко, вылезай из лужи. Айда коров доить". Тонька кокетливо хихикнула и выдвинула встречное предложение, чтоб к ней пойти, выпить, музыку послушать, песню спеть обещала... "Хорошо, ласточка, – согласился Пашка, – только сначала коров подоим, а то маются бедные, мычат жалостливо..." Тонька утробно икнула и высказалась о Пашке в том же смысле, что о ферме, коровах, электричестве. Однако из лужи доярка вылезла, двинулась в направлении коровника. "Молодец", – похвалила Петровна, хлопнув Пашку по плечу.

По дороге Евдокия вела под руку Тонькину напарницу Люсю. Люська душевно орала про холостых парней Саратова и про любовь к женатому. За ними, бережно придерживая друг друга, тащились две телятницы. "Топают гвардия", – удовлетворенно отметил Пашка. Бездушными автоматами работники МТФ тянулись к коровникам исполнять свой долг.

Три дня парило. Серая пелена облаков зависла в небе. Казалось, вот-вот хлынет ливень, но дождь не спешил. День начинался и кончался рассеянным светом, пылью, духотой, давящим однообразием. Наконец, на четвертый день произошло изменение.

Со стороны моря поплыли мрачные черные тучи. Духота сделалась нестерпимой. Враз угомонились птицы, кузнечики и прочая звенящая шушера. Тучи накатывались на МТФ. Накатывался мрак, тревога. Люди засуетились, закопошились. Хозяйки спешно срывали с веревок недосохшее белье, мужики запирали скотину. Закрывались окна, двери, живое забиралось внутрь жилищ.

Близилось время дойки. Коровы стекались к ферме. Втискиваясь в ветхие ворота, они по брюхо увязали в грязи. Сумрак сгустился до темноты. Надрывно мыча, дико косясь, напирая друг на друга, коровы спешили под крышу. Металлический блеск молнии прорезал мрак, моментально оглушил гром, вода обвалилась стеной. На столбе у диспетчерской с шипением, разбрасывая искры, загорелся изолятор. Когда он догорел, яркая вспышка осветила МТФ и все погрузилось в кромешную тьму. Одуревшие коровы многосотенным воем заглушили гром, сломали изгородь в нескольких местах, побежали во все стороны. Никто не рискнул их останавливать.

К поискам коров приступили утром. Дышалось легко, свободно, воздух стал чист, прозрачен. Зазеленела трехгектарка, заблестели листвой белые тополя. Большая часть коров пришла сама, чувствовалась выучка. Остальных нашли быстро. Пострадала лишь одна, упавшая с моста и поломавшая ноги. Не могли найти только Орла. "Наверное, по дороге от стада отбился", — шутил Гриня. Уже ближе к вечеру Тонька заметила сапог, торчащий из грязи у ограды. Она потянула за сапог и заорала, как резаная. Сапог был обут на ногу.

Осталось загадкой, как Митя угодил во двор, где и был затоптан коровами. Загадок оставалось много. Даже милиция не смогла установить место рождения и отыскать родню покойного. Единствен-

ный документ, который удалось обнаружить, – это порченный водой комсомольский билет, выданный в городе Выборг, Ленинградской области. Если верить этому документу, то фамилия у Мити была не Орел, а Орловитов и лет ему было тридцать шесть, во что уж никто поверить не мог. Смерть Орла грозным предостережением зависла над МТФ.

– Пашка уезжает, – грустно сообщил Степаныч.

– Как? – у Витьки внутри все оборвалось. Степаныч развел руками.

Витька нагнал ветврача по дороге. Пашка шел к Краснодарской трассе. Шел в наглаженном костюме, в белой рубашке, в галстук, прямо, как на партсобрании. Витька, пристроившись, зашагал рядом. Шли молча. Дойдя до шоссе, остановились.

Витька хотел сказать многое: что скучно будет без пашкиного треп, что не с кем будет поговорить по душам, что непонятно, как жить дальше, что жена, видимо, не приедет... Пашка как-то странно улыбнулся и с горечью тихо проговорил: "Я ведь сам сюда напросился... Самостоятельности захотелось... Думал, материал для солидной работы собрать... Во всяком случае для диссертации... Идеи были... Дурак, романтик..."

По трассе мягко катил большой красный "Икарус". Пашка поднял руку, автобус остановился. Витька еще долго махал вслед.

– Ничего, – хорохорился Витька, – вот жена приедет, я с вами жить не стану. Я мужик хозяйственный, не бурьян какой...

– Ты уж пятый месяц талдычишь, что приедет, – перебил Гриня.

– И приедет, – в пьяном запале шумел Витька. – А ты, как думаешь?! У меня... У меня жена красивая!.. – как будто это служило доказательством.

Через двадцать минут, выпив еще граммов триста, Витька скис, плакал, причитал... Обманула,

бросила... Убежала с моими деньгами... Я ей не нужен, ей деньги мои нужны..." – надоел всем, потом затих. Еще через полчаса, еще выпив, Витька встал и, громко заявив всем, что идет вешаться, пошел домой.

Наползала ночь. По фиолетовому небу плыли сиреневые облака. Солнце из-за горизонта продолжало безнадежную борьбу с мраком. Румянились бока туч, золотая черта разделяла небо и землю. За исходом борьбы наблюдала бледная невзрачная луна. Витька сидел на лавочке, вглядываясь в темную полосу шоссе. В пьяном мозгу теплилась надежда на чудо. Вот подъедет такси, выйдет из него веселая Катя и не надо будет умирать. Мрак победил. Луна, разом набрав силу, залила шоссе холодным серебристым светом. Витька глянул на злобный желтый диск и понял, что проиграл...

Трактор буксовал. На обочине сидели мужики. Мужики обсуждали смерть Витьки. Подумать только, из-за бабы в петлю залез... В кабине буксующего трактора никого не было. Гриня сидел с мужиками на обочине. Из двигателя трактора валил пар, текло масло. Начались сбои. "Во! – захохотал пьяный Гриня. – Перегазовку делает!" Мужики немного посмотрели на тарахтящую машину, потом вернулись к самоубийству. Интересно, приедет жена на похороны? Милиция ей сообщила... Неожиданно трактор пронзительно фыркнул, дернулся и вырвался из лужи. Мужики оцепенели, Гонтарь перекрестился. На их памяти никто из этой проклятушей ямы не выбирался. А уж чтоб трактор без водилы!!! Фантастическим видением трактор проплыл перед застывшей публикой, перевалил через шоссе и ходко покатил по чистому полю. Первым от гипноза очнулся Степаныч, он ткнул очумелого Гриню в бок: "Ты чего сидишь?!" Гриня вскочил на неверные ноги, кинулся в поле...

Солнце закатывалось за плоскоголовый Козырев бугор. Прощальной позолотой покрылись поле, трехгектарка, трактор, приближающийся к реке, бегущий за трактором Гриня. Гриня бежал спотыкаясь и просяще, слезно орал: "Стой!"

Я, порядочный человек

У меня сегодня очень плохое настроение, и я делаю попытку впервые вести дневник. Для плохого настроения существуют две серьезные причины. Во-первых, я получил зарплату. О том, сколько получил, я соседским курам не рассказываю. Жалко птиц – помрут со смеху. Кроме того, пришло письмо от отца. У нас с ним непростые взаимоотношения. Когда мы сходимся, мы спорим бесконечно. Спорим, забывая о предмете спора, не слушая доводов, не понимая и не принимая друг друга... Разъезжаясь, мы продолжаем свой спор заочно в письмах. Дело в том, что мы очень похожи...

Впрочем, начну-ка по порядку. Заранее приношу извинения, если местами изложение предстанет бессвязным, сбивчивым. Что-то уж больно меня сегодня заело...

Сначала немного о себе. Я, порядочный человек, 30 годов от роду. Не убог, не увечен. Не пью водку, не курю... Я ни разу не ударил женщину, не умею красть, не люблю лгать... Нет во мне пороков, ни тайных, ни явных. Есть недостатки, слабости, а пороков нет. Вот со счастьем что-то плоховато.

Работаю я в школе, преподаю математику. Предмет, который нашим сельским детям не очень вроде и нужен. Пока ученики еще малы, мне уда-

ется их увлекать. Я стараюсь рассказывать математику интересно, как сказку, порой в ущерб "воспитанию логического мышления". Я умею, когда захочу, нравиться людям. У меня открытая обаятельная улыбка, и я улыбаюсь своим ученикам. В ответ они тоже улыбаются. Ежели дети устают или сталкиваются с трудностями, мне приходится их приободрять. Я говорю: "Дети, нам попалась трудная, коварная задача, но все равно мы ее одолеем..." Вроде получается. Когда мои ученики взрослеют и начинают понимать, что прожить можно и без алгебры, и без геометрии, мои старания сводятся на нет. В прежние времена можно было как-то принудить, заставить. В нынешнюю пору разгула и вольницы старые штампы износились. Стало очень трудно прямо ответить на простой детский вопрос: "Зачем надо учиться?"... А уж контраргументов наслушаешься. И источники солидные: телевизор, газеты, радио... С газетой не поспоришь... В моей работе пропала ясность. Я теперь могу ставить двоек сколько захочу, но мне этого делать не хочется... Когда-то я пытался для себя сформулировать определение доброты. Долго думал и сформулировал: "Доброта - это доброе отношение к людям". Не Бог вещь какой перл, однако работает... Что-то сбиваюсь... Не о том... Попробую сначала.

Я - дитя застоя. Продукт гигантской беспрецедентно тихой трагедии. Там, в застое, остались детство и юность, наиболее безмятежная и радостная часть моей жизни. Худо ли бедно, тогда сформировалось мое мировоззрение, мое миропонимание. Плохая ли, хорошая система ценностей, свои мерки и мерила. Я не змея, мне больно менять шкуру. Пусть даже шкура соткана из заблуждений...

Бога нет. Я не могу лгать и юродствовать перед самим собой. Может быть, ему нет места во мне?

Может быть. Я в него не верю. Мне долго и убедительно прививали неверие, но бездумно я его не принял. Для меня духовность суть нечто другое... Для меня материализм не пустой звук, а основа жизни, основа моего мира. Мира сложного, противоречивого и прекрасного... Может, в безверии моя беда, но я не думаю, что я совсем уж бездуховен. Духовен человек, не читающий чужих писем... Я не верю в духовность людей, которые декларируют ее громогласно. По-моему, я отношусь к Богу бережней.

Меня откровенно раздражают хироманты, экстрасенсы, астрологи. Все иррациональное в моем понимании остается иррациональным. Пророки, колдуны представляются мне ловкими жуликами и проходимцами. Дай-то Бог, чтоб я заблуждался. Дай-то Бог им искренности...

Я не знаю, что такое счастье. Моя работа приносит мне много радости, но счастливым она меня не делает... А вот самый счастливый день в моей жизни я помню...

После девятого класса за успехи в областной олимпиаде по математике меня послали в международный лагерь, в Подмоскovie. Лагерь находился на берегу водохранилища. На его территории прямо из желтого песка росли огромные корабельные сосны. Корпуса пестрели многоцветием флагов, разноязычными транспарантами. Тогда еще был памятен фашистский путч в Чили. Кругом висели портреты Сальвадора Альенде, Луиса Корвалана, Виктора Хары... Часто по вечерам, собираясь вокруг костра, мы пели: "Вставай, вставай, разгневанный народ. К борьбе с врагом готовься, патриот!". Пели воодушевленно, вскидывая руки, сжатые в кулаки... Чилийцев в лагере было много. Беженцы, тогда это слово сжимало мне сердце; кто ж знал, что в моей стране... В нашей комнате жили я с Сережкой

Дымовым и двое чилийских парней. Витторио, мы с ним в футбольной команде лагеря играли, и второй с чудным двойным женским именем. Вроде Эмили-Мария, уж точно и не помню. На гитаре он брэнчал здорово... Был у меня и еще один друг. В пятом отряде жил восьмилетний шведский мальчик со сказочным именем Оле. У него были белые, как снег, волосы и огромные васильковые глаза. А еще он играл в большой теннис. Так сложилось, что кроме меня соперников у него не было. В то время умение играть в большой теннис было редкостью. Когда Оле шел по лагерю, большая ракетка волочилась по земле. А играл он здорово. Мне с трудом удавалось его побеждать. Мне тогда казалась странной его техника. Теперь-то я понимаю, что на самом деле странным выглядел я, а у него с техникой было все в порядке. За неделю до конца смены Оле привезли его ракетку, по размеру, и больше я у него не выигрывал. Оле был сыном высокопоставленного чиновника. Он-то и организовал тот незабываемый день...

Шведы прибуксировали яхту и поставили ее на прикол в местном яхтклубе. Бедные яхтсмены. Среди наших жалких невзрачных посудин шведская яхта выглядела жар-птицей. Перед самым отъездом Оле, видимо, в благодарность за то, что я исправно ему проигрываю на корте, пригласил меня посетить яхту. Я привел с собой всю нашу комнату. Рослый швед со шкиперской бородкой и капитанской трубкой в зубах вынес нам шезлонги, ящик кока-колы. Мы сидели тесным кружком на корме. Пили кока-колу, смеялись, болтали. Слова плохо разбирались, а понимание было. Тогда для меня весь мир был единым домом. Домом, в котором живу я, Оле, чилиец с двойным женским именем... Я не люблю, когда меня обманывают. Я ненавижу застой за ложь, пропитавшую меня, но я не могу ненавидеть свою юность... Опять вроде не то...

Лучше я про отца напишу. Мой отец врач. Он хороший врач, часто его пациенты становились его друзьями. Отец приучал меня к чтению, поощрял мои увлечения, любознательность. Вот воспитывать он совсем не умеет. Всю жизнь мой родитель мечется в поисках неизвестно чего. Всю жизнь он строит экзотические модели поведения, хрупкие, как картонные домики. Он в огромном количестве вырабатывает в своей голове доморощенные принципы, правила, нормы. Мне он напоминает безумного селекционера, пытающегося скрестить возвышенность идей с убожеством быта. Получается у него плохо. Хочется ему выглядеть умудренным, хитроватым, этаким прожженной бестией. На деле отец непрактичен до беспомощности. Мне кажется, что его резонерство – это защитная реакция, попытка защититься от приговора самому себе. Мне почему-то всегда немножко совестно смотреть в глаза отца. Кажется, что я не оправдал его надежд. Какие уж он возлагал на меня надежды и возлагал ли? Может, он ждал от меня помощи? Может быть, я должен был примирить мысли в его голове?.. Он меня поучает, я доказываю абсурдность его поучений. Мы ругаемся уже много лет. Отец сделал много доброго для меня. Я не люблю читать про Анжелику, и про поющих в терновнике. Я люблю Чехова, Хемингуэя, Булгакова, Маркеса... Может, мне от этого плохо...

Пошлость прорвалась сплошным фронтом. Похоже, люди нарушили все заповеди сразу и остались в одиночестве. Лицом к лицу с паскудством... Я недавно возил свой класс в Туапсе. Наши дети немного диковаты. Они липнут к каждой витрине, ни одного киоска не пропускают. Им всё внове. И ладно бы молчали, а то еще со мной поделаются: "А там тётенька голая лежит..." "Не надо на нее смотреть, – говорю, – это нехорошая тётенька..." Черты-

хаюсь в душе, надо было положить эту фотографию на самое видное место. И тревожно... Увел детей к морю, подальше от соблазнов. Там, у моря, видны следы бушевавших стихий. Весь берег завален хламом, много разрушенных построек. Я рассказал детям, как в глубинах морских зародился смерч, как гигантский водный столб двинулся к суше и бедствием обрушился на людей. Дети большими изумленными глазами опасно смотрели на холодную серо-зеленую воду, на хмурое небо... Потом, растянувшись в цепочку, шли по узкой прибрежной полосе. С одной стороны, вздымался крутой берег, поросший туйей, с другой – мягко накатывало волну за волной море... Дети больше не боялись. Вода шуршала ласково, монотонно-убаюкивающе, широта, безграничность внушали уверенность, что море добрый друг... Опять я отвлекаюсь...

Я беден, как церковная мышь. Мне всегда было стыдно за свою зарплату. Слезы, а не зарплата. До сих пор, если я задумаю купить что-то более или менее дорогое, мне приходится обращаться к родителям за финансовой помощью. Раньше я черпал утешение в убежденности, что я – порядочный человек, вроде того, что бедность не порок. А теперь становится трудно. Никогда легко не было, да и трудно так тоже никогда... Теперь говорят, что бедность – порок. Мир переворачивается с ног на голову. Торжествуют тунеядцы, мошенники, проходимцы... Бизнесмены едут обучаться бизнесу на Канарские острова... Из телевизора мне предлагают одеваться у "Ле Монти", издеваются, наверно... Люди, не прочитавшие ни одной книжки, самодовольно разъезжают в "Мерседесах"... Раньше меня это не задевало, я умел отгораживаться, а теперь достает. Я поддаюсь внушению. Трудно противостоять тому, что обступает тебя со всех сторон... Мне начинает казаться, что я со своей порядочностью выгляжу жалко...

Хроническая нищета подрывает главное во мне – веру в себя. Последняя опора. Должен же я во что-то верить... В меня больше и верить-то некому... Порой мне кажется, что если б я жил в родовом замке и ежевечерне выходил к ужину в смокинге, глядишь и достоинство б пробудилось... Замок, смокинг, мечты...

Я против благ любой ценой. Я никого не смогу ограбить, не смогу ради денег убить... Трудно мне будет разбогатеть... Говорят, надо потерпеть, станет лучше. Я никогда не верил правительству, потому что я никогда не жил хорошо. У меня чисто обывательский подход к структурам власти. Власть плоха, если люди живут скверно. Меня не интересуют проблемы руководителей. Меня не интересует, кто и что им мешает. Преодолевать трудности – это работа государственного аппарата... Правительство обязано работать хорошо, или гнать его надо... Главная цель государства заключается в том, чтобы я, порядочный человек, жил прилично. Пусть не в замке и без смокинга, просто в нормальных человеческих условиях... Устал. Устал ждать. Устал надеяться...

Всё дело в том, что я очень одинок. Мне даже поговорить не с кем. Совсем не с кем... До того, чтобы разговаривать с самим собой, я еще не дошел. Я пытаюсь поговорить с отцом, но он меня не слушает. Может, потому, что знает, что я скажу... Это одиночество заставляет меня писать. Я не рискну высказать вслух написанное здесь. Высказанное вслух звучит глупо, фальшиво, высокопарно... Но ведь должен же человек с кем-то разговаривать серьезно...

Я одинок отчасти по бедности своей. Обеспечить семью – это выше моих сил, себя-то с трудом содержу... Я остаюсь без продолжения. В тридцать лет начинать с нуля страшно... Не хочется плодить ни-

щету... Я знаю себя. Пока я один – терпеть можно, но мне станет неловко, если моя жена с завистью посмотрит на чужую норковую шубу... Подумать только, до каких мыслей дожил! Это дурацкое время поднимает всю гнусность с глубин моей души...

Я – порядочный человек, теперь хватаюсь за этот довод, как за соломинку. Не только безденежье тому виной. Всю свою сознательную жизнь я самостоятельно, в одиночку, отделяю зерна от плевел. Мне никто не подсказывает и не помогает. Я отстаю от жизни, не успеваю подстраиваться и перестраиваться. Мне жутко подумать, что я могу породить на свет подобных себе растерянных, неустроенных людей... Никому не пожелаю такой участи... Видимо, я беден не только материально...

Я не ангел и не выродок, и не уникум. Я обыкновенный порядочный человек. Таких как я миллионы. Почему же мне так тяжело?..

Папа, папа, почему ты не научил меня красть, приспособливаться? Почему ты не научил меня жить? Пусть тупым, но счастливым!.. За что мне эта тяжесть?!..

Боже, если Ты есть, я не прошу Тебя сделать мою жизнь легче, может, я этого не достоин, но прошу Тебя, пожалуйста, ответь мне на вопрос: "Почему мне так тяжело?"...

Жить не хочется...

В. В.

(Почти повесть)

Гимназистка Верочка. Городок на реке Ветлуге, если никто не ошибается. Она в семье младшенькая. У нее два брата. В земской управе служит ее отец. Они не ахти какие, но дворяне... Верочка беленькая, небольшого роста, быстрая, как и должны быть беленькие, небольшого роста девочки.

А вот уже и Петербург. 11-я линия на Васильевском острове. Бестужевские курсы – первое в России высшее женское учебное заведение.

Пройдет лет 60, и сюда, на 11-ю, потянутся в торжественный день встречи седые старушечки – бывшие курсистки. В них, убеленных, редкая для советских времен одухотворенность в лицах, достоинство в поступи и тут же обескураживающая неуверенность в окружающем.

Торжественный вечер в Юсуповском дворце, потом "чашка чая" в здании курсов. Для подобных мероприятий собираются взносы. Кто сколько может... А некоторые могут много – доктора наук, академики, народные артистки. Взносы от эмигрантов не принимаются – время еще не подошло. А подойдет и не застанет никого в живых...

Ее последняя питерская комната на 2-й Красноармейской на углу с улицей Егорова. Нынче на месте того "сталинского" дома современное здание архитектурного факультета строительного института, холодное, чужое, так и не вписавшееся сюда.

В комнате у В. В. чего только нет... В ней буфет до потолка, к которому не подобраться (о причинах непроходимости в процессе повествования), платяной шкаф, той же весовой категории, что и буфет. К шкафу существует постоянная тропочка...

Слева от двери пианино, заставленное допотопными безделушками и поздравительными открытками последнего праздничного события, предположим 7 ноября... Эти 60 (или 80) присланных ей поздравлений простоят на фортепьяно до Нового года... новогодние до Дня рождения В. В., те, в свою очередь, до 1-го Мая... Сама Вера Владимировна отправляла по праздничным дням открыток полтораста, не менее: составлялся специальный список, выполненное зачеркивалось, лупа в правой руке торопилась за новым словосочетанием. В. В. никогда не носила очки, они ей мешали, с ней не работали, читали другие слова.

Над стенным шкафом черная тарелка репродуктора блокадных времен. Над пианино два больших женских портрета, может быть, это цыганки или еще кто-то с красными бантами во вьющихся волосах. Близко тумбочка, пахнущая лекарствами, особенно анисовыми каплями, которыми упрямая В. В. лечилась от всех болезней сразу, которых у нее никогда не было... На тумбочке разноцветные пачки различных использованных билетов: здесь трамвайные, автобусные, троллейбусные, киношные и театральные. Они перевязаны ниточками, тесемочками... Может быть, она собиралась проехаться на них в какой-нибудь другой жизни? А, вообще-то, билеты эти предназначались детям, которые, как, может быть, казалось В. В., должны были играть только во что-нибудь настоящее и уж никак не в игрушечное... Уходит домой какая-нибудь гостя, а ей в подарок внуку пачечка билетов, и попробуй откажись, обидится добрейшая Вера Владимировна...

Обожала старый ТЮЗ. До последних дней жизни выписывала "Ленинские искры" и "Пионерскую правду", маленькая, беленькая...

Трудно вспомнить, были ли очереди в ленинградских магазинах в середине 50-х годов? Наверное, по особой советской привычке создавать трудности из ничего, вытягивались хвостики очередей, но приветливые продавщицы безо всякой ухмылочки нарезали 150 грамм костромского, голландского, швейцарского, да еще всякая всячина не создавала проблем, не отнимала времени, злобу не провоцировала.

У В. В., в силу ее особой щепетильности, почти смешной со стороны, были в ближайших от дома магазинах "свои", необвешивающие продавщицы... А на трудном пути к грандиозному буфету, уже упомянутому выше, стояли на пыльном сундуке весы-уточки с блестящими медными тарелочками, с коробочкой гирь, красивых до невозможности, фарфоровых и никелированных, если хотите знать. Возвращаясь из магазина, вдоволь поговорив с гастрономической Аллочкой, ну, предположим, о красоте волжских берегов, Вера Владимировна честность Аллочки непременно на этих весах проверяла... В случае недовеса ругаться не ходила. Просто переставала Аллочке кланяться и за покупками к ней больше никогда не наведовалась.

Ежели что-то съестное куплено, то обязательно должен наступить момент, когда это что-то нужно употребить... Этот ритуал для В. В. момент особенный, значительнейший, архидолгий: на том же столе, где проверялись ученические работы и писались сотни открыток, стелилась салфетка на одну персону... Потом вынималась затейливая подставочка для ножа, вилки и ложек, затем надписанные пакетики, например, "сыр, куп. 3 февраля 56 года в маг. на 1-й Кр.", а было уже, предположим, 16 мая...

Так же с колбасой, с картонкой кофе, которое, кстати, заваривалось прямо в стакан, хотя и не было растворимым... Чайник потом приносился и на него натягивался теплый петух, помнивший стол детства В. В. Ну, а потом В. В. садилась за стол.

Тут же отрезаемые от сыра корочки укладывались в особый пакет для Чарки. Чарка, между прочим, огромная цепная овчарка брата В. В. и живет собака не где-нибудь, а в Перми, и поедет туда Вера Владимировна только летом, но это не имеет никакого значения – уже с сентября корочка за корочкой попадают в мешочек и ждут своего часа, и доезжают...

Завтрак продолжался часа полтора. Доливался кипяток в стакан с кофе, доставался пакетик с колбасой и шкурочки от колбасы водворялись вслед за сырными. Заодно слушалось радио, с особой тщательностью прогноз погоды, который записывался на специально приготовленные осьмушки бумаги для глуховатой соседки Веры Алексеевны, даже сила ветра записывалась, вот какие дела! Еще минут сорок мылась посуда: стакан, блюдце и ложки с вилками, которыми нечего было есть...

Где-то перед самой революцией могла быть у В. В. любовь... Просачивалось, что существовал молодой человек, занимавшийся так же, как и она, естественными науками, привлекательный, воспитанный, близкий. Она влюбилась, сомнений быть не может, так же, как и в том, что это могло быть с ней только один раз...

Единственная попытка Верочки продолжаться – неудачна. Верочка прежде всего бедна. Молодой человек, видимо, находил еще какие-то объяснения своей бессердечности: она слишком наивна, а может быть, и легкомысленна, а еще и не слишком мила...

А она за время их знакомства написала боль-

шую работу по биологии, которую он потом использует для своей диссертации. Не совсем порядочно, если не мерзко.

Удара хватило на всю жизнь. Потом она жила, отгородившись от всего личного. Представьте себе старушечье место за шкафом: солнечный свет не попадает, воздух не просачивается.

После войны ее отдушиной сделался внучатый племянник, появившийся на свет в не очень-то счастливой семье... Любовь к нему не требовала подтверждений и объяснений, она просто была видна со всех сторон, как небо. Такая любовь рождает эгоистов. Но что-то должно рождать и эгоистов, потому что и они появляются на земле не просто так, а потому что это кому-нибудь просто необходимо...

Мальчишку подкидывали к ней на недели, отпускали с ней на лето. Ей было необходимо общение с ним, менялась тональность бытия, родное движение рядом давало ощущение ветра, соприкосновения, пусть иллюзорные... Во время уроков он сидел на кафедре кабинета естествознания и смотрел, как его маленькая, быстрая, громкая тетя Вера расхаживает с указкой между наглядных пособий, обращается к классу с вопросом, открывает журнал, ругает и хвалит учениц. В. В. работала в женской школе. Она усаживала ребенка на микроскопный ящик, на что-нибудь другое рядом водружался альбом для рисования, а там получались неряшливые корабли, кривоногие дома и находилась щель между всеми этими заграждениями, и девочки подмигивали ему, смешили его, а на переменах незаметно совали конфеты...

А самое интересное творилось в юннатском уголке за дверью, в узкой комнате, заставленной клетками, скелетами и пахнущей таинственным миром неизвестности, который особенно прекрасен в самые юные годы.

"Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка"... С В. В. всё очень похоже. Отправляясь на лето к брату в Молотов, окруженная чемоданами и т. п., представляла собой какого-нибудь древнего посла, вокруг которого верблюды везут дары... Проводник у распахнутой подножки вагона, рядом В. В. с бумажкой списка в руках, и носильщик, по очереди заносящий эти самые чемоданы и корзинки... В. В. считает вносимое вслух, всего в тот переезд было, кажется, 14 мест, и ребенок, за которым нужен глаз да глаз.

В вагоне через полтора часа дороги знала почти что всех, особенно детей, необыкновенно к ней в общем-то не тянувшихся. Потому что сразу же начинала она учить. Потому что голос у нее громкий, резкий, однозначно пытающийся повелевать.

Позвякивают тонкие стаканы в подстаканниках, между распушенных в разные стороны занавесок проглядывает кромка леса, простреливает железобетонный железнодорожный мост через вполне приличную реку. А на крутом повороте виден дымящий паровоз с вымпелом дыма, похожим на конскую гриву или на начинающееся облако, или... нет, дальше совсем смешно.

В середине лета был еще и неперменный теплоход по Каме и Волге, туда и обратно. Назывался он "Анри Барбюс", отплывал степенно, медленно и просто прекрасно было стоять во время отплытия где-нибудь ближе к корме и смотреть на пенящуюся за кормой воду, почти серебряную в этот момент. Пристань скоро становилась похожей на спичечный коробок и не заметно уже было, что она покачивается, и хлюпает по мутной воде с брызгами, как калоша, забавляющаяся с поработанной лужей...

На Волге хороши пристани у маленьких городков. Деревянные, чаще всего зеленые с белым, вы-

двинутые от берега метров на десять и соединенные с ним шаткими мостиками, под которыми, прикованные веревками, копошились лодки, танцующие на замалеванной мазутом воде.

Возле таких пристаней импровизированные базары, где женщины, обязательно закутанные в платки, торговали яблоками, арбузами, творогом и сметаной, и малосольными огурцами, которые и спустя тридцать лет вызывают вкусовые оскормины... и губы шепчут желание...

По берегам далеко в невидимое поднималась выжженная солнцем дорога с засохшими колеями от тележных колес. Висело растопыренное во все стороны огромное небо, не вызывающее никаких, кроме жажды, состояний... И с надеждой смотрелось на пароход, где ждет тебя твоя каюта, и было это почему-то нужно здесь, сейчас, тогда...

Дети просят. Взрослые, чаще всего, отказывают... В. В. ведет племянника за руку, она бережлива, ее пугают цены, сами торговки. Он хнычет, она нервничает, теплоход дает первый гудок.

Возвращалась к сентябрю, и первые корочки от сыра тут же попадали в заранее приготовленный пергамент. И начинались утренние троллейбусы, с толчеей и давкой, и эти самые разноцветные билеты, о которых столько говорилось. И пыльные чучела в кабинете естествознания, и другие наглядные пособия, и свиная отбивная с косточкой, купленная по пути домой в магазине полуфабрикатов. Бывали в ее жизни особенные дни, когда она решалась приготовить обед, гороховый суп с корейкой... Ничего жидкого, кстати сказать, кроме горохового супа, в этом доме не варилось. Может быть, гороховый суп был самым пахучим воспоминанием детства, и потому...

Ела приготовленный нектар, как и положено, деревянной ложкой, и получалось ровно на две

тарелки, и запах заполнял пыльную комнату и вместительную память настолько, что полный год потом только и говорилось о гороховом супе перед октябрьскими днями...

От супа с корейкой оставалась косточка. Она заворачивалась в отдельный пакетик и тоже терпеливо ждала далекой поездки... В год бывало не больше двух таких косточек.

А в комнате ее, кроме папок с гербариями и колб со змеями, кроме старого патефона и пыльной бутылки с вином, приносящей торжественность уже несколько значительных праздников подряд, жили еще и клопы... Они, видимо, принимали за курорт комнату Веры Владимировны. Они нагло загорали семьями на просторах дивана, изрешетив за длительное время старинную накидку. Они уверенно отсыпались между книг и газет, и билетиков... Они ползали и по кровати, и ногами В. В. часто вскакивала, зажигала свет и чесалась... Но никаких клопов у себя в комнате не признавала... С неприязнью говорила о случайных, заползающих от верхних соседей...

До смерти своей, в начале семидесятых, успела В. В. еще раз перестрадать любовью к человеку, слепой, но вполне понятной в ее одиночестве рядом с людьми...

Ее мальчику исполнилось 13, 14, 15, еще раньше развелись его родители, и оказалась В. В. будто бы на враждебной стороне его отца и бывать у нее внучатому племяннику теперь уже не разрешалось... А как же это так?

Само собой получилось, что стал он приезжать к ней только за подарками, за несколькими рублями, которые она давала ему на маленькие мальчишеские дела. Он так и оставался больше нужным ей, чем она ему... Тайком от матери, на велосипеде, который служил маскировкой, через набережную

Невы, через площадь Труда, покрытую диабазом, по Фонтанке и через мост, ближе к тротуару, тормозя у светофоров, ерзая на седле... Поила его часы, расспрашивала о школьных делах, рассказывала сама, долго и неинтересно, о новостях на Урале, у деда. Пока племянника не было, собирались для него в конфетное ведерко разные сладости. Он ел шоколадную конфету, а она объясняла ему, что ею ее угостили на именинах у Валентины Герасимовны, которая его часто вспоминает и вот послала несколько вкусных конфет; у нее всегда вкусные конфеты, потому что она живет рядом с елисеевским и успевает купить самые вкусные...

"Ты помнишь Валентину Герасимовну? Ну, как же не помнишь! У нее еще внучка почти тебе ровесница и вы всегда играли с ней вместе, и ты любил ходить к ним в гости, и всегда просил меня об этом. А тянучки я сама покупала третьего дня. И печенье хорошее, свежее, это в ТЮЗе Анна Николаевна-буфетчица помогла купить, и тебя она помнит, а ты ее не помнишь, а она всегда со мной раскланивается, и все еще работает..."

В. В. поговорить любила. Она и на пенсию потому, наверное, долго не выходила, и почти до 80-ти лет работала в школе, правда, потом уже в вечерней где поспокойней. Она говорила, племянник пил чай и кивал головой в знак согласия и понимания, хотя на самом деле давно уже ничего не слушал. Провожала, предостерегая от невнимательности на дороге, он кивал головой, заворачивал штанину брюк, прятал в карманы подарки, просил деньги, она почему-то смущалась, когда он просил деньги...

Вскоре она заметила, что после его посещений у нее начали пропадать деньги... Суммы небольшие, мелочь, рубли... Но теперь она твердо знала, что происходит это в то время, когда она по его просьбе идет на кухню ставить чайник. Другого времени у

него нет. Но ставить чайник ходила, предположив на секунду, что все-таки ошибается... и не ошибалась.

К концу жизни ноги ее очень напоминали задние колеса автомобиля "Запорожец" первого выпуска, т. е. "горбатого". Она ходила зимой в черной шубе, прозрачной от ветхости. Она собирала в клубочки выпадающие седые длинные волосы. Может быть, в глубине души верила в Бога, хотя никогда и никто не видел в доме у нее ничего это подтверждающее. Только даты рождения, просто обязывающие смотреть вокруг себя и прислушиваться. Да разве вера это только постоянное перекрещивание себя и ближних? Или вера обязательно черное одеяние затворника? Веру можно носить, беречь, лелеять и скрывать. Веру скорее всего лучше всего скрывать, чтобы всякая грязь не сделала ее чем-то обыденным, присосавшимся...

Молилась на старшего брата своего, пермского профессора-медика. Была возле него послушной овцой и только, несмотря на все-таки... Так это же любовь, неужели не понятно? Любовь чаще всего такая-то больная, прихрамывающая, сжавшаяся... Понятно. Но как же тогда трудно любить, как больно. Да, конечно. Но всегда выбирают что-нибудь одно и поговорка есть такая, и учился уже этому каждый из нас на личном примере... А с В. В. получается штука неприятнейшая, ведь ее, выходит, никто так и не любил, разве только родители когда-то там давно. А она разрывалась и любила сразу нескольких и не соразмерила сил...

Может быть, и так, но кто его знает, как на самом деле. Разные истории с ней случались: как-то каталась вокруг обеденного стола на трехколесном, детском велосипеде, вокруг гости чопорной матери ее внучатого племянника, а В. В. на собственном примере учит мальчика кататься, забавно,

смешно и еще как-то без названия. Даже в футбол играла. Ставил ее мальчишка на ворота, и стояла она в них ровно столько, сколько ему требовалось.

Никогда не сидела на скамеечках рядом с другими старушками в парках и садах своего любимого города. Была и беззащитна и бесстрашна одновременно. Вспоминается она чаще всего на лестнице старого ТЮЗа на Моховой. Парами поднимается наверх ее восьмой или девятый "В", а она стоит у самых перил и пересчитывает ребят, рука вытянута, палец ходит, жест вполне привычный.

Петербург, 7 апреля 1992 г.

Два доктора

Белый "дворянин", на вид ему года три. С другими бродячими собаками не знается, а окрас его как граница, окрас и аккуратность, благодаря которым он поддерживает свою особенность. В холке он с овчарку, мордой чем-то похож на лягавую... Где он спит? Утром прибежит, вытянет нос, поводит им... А другие бродяги уже у помойки, жрут вместе с кошками! Ведь это надо же дойти до того, чтобы есть вместе с кошками!

Во дворе того самого дома, в котором помойка и бродячие собаки, есть трехкомнатная квартира на первом этаже. Хозяйке ее около сорока, она бледна, полна и беловолоса. Но уже сдавшаяся эта хозяйка, вот оно в чем дело... Глаза у нее голубые или такими когда-то были, теперь они заплывают и потому выглядывают редко, только при самом хорошем настроении, при памяти ласковой... Ей говорят разные там подруги, ты же еще не старуха. Встряхнись, найди мужика, чтобы не на бутылку к

тебе шел, а в дом... Все любят учить. А если не хочется абы кого... До чего дошли, смогли подумать, что она плохая мать?! А она просто не мешает своим детям. Сын у нее добрый пентюх. И это в то время когда почти каждый сверстник груб, зол и чёрт знает еще что... Двенадцатилетняя влюбленная дочка? Говорят, что и этим вся в мать... А девочка и должна влюбляться, ничего странного в этом нет... Квартира до ужаса запущена? Справедливо, ведь нет в доме мужских рук. Сыночек ленивый, как голубец...

Одну половину стенки увез бывший муж. И теперь, как портфель какой-то, таскает ее по бабам своим. Несчастный человек, с сексом у него что-то не так... Перенасыщен он чем-то. В сорок лет беситься начал. Столько лет прожили, и вот сдвинулся человек, и куда? Злобы на него – ну, ни капельки. Только жалость и смешно. Оказывается, у мужиков некоторых дури может хватать не только на себя, но и на всех детей своих, и на жен, даже бывших...

Вторая половина стенки разохлась сама. Торчат остатки эти по квартире как гвозди, на которых когда-то висело что-то нужное, а теперь висит только противная память, которая непременно рвет со злостью новые вещи, которых здесь ни у кого нет...

Обои отстают, кровать разваливается. Дети спят, не обращая внимания на простыни и подушки... и от лени, и еще почему-то. Не квартира, а табор.

(Она может не слышать таких слов, но она их сама себе часто говорит.)

Дочке подарили собаку. Дарили щенком, подсказывали породу и родословную. А выросла дворняга, ленивая, как все в доме, с тонкой мордой, которая всегда тянется к столу. Воровка получи-

лась, но дочка играет и спит с ней; прижилась собачка...

Работа суточная. Денег никаких. Зато домой почти каждый день с полными сумками жратвы. Повара в ПТУ не избалованы разносолами. В ПТУ в этом отношении все просто. Но домой взять можно и масла, и крупы, и яиц, и мяса...

Ее детки пожрать горазды. Сами от пуза, да друзей своих ведут, улица полна такими друзьями, гнать их не будешь, да и не жалко, лишь бы впрок. Вернешься домой вечером с работы – груды пустых, грязных тарелок, кастрюль, чужие кошки, чужие дети... Хочется иногда закричать на всех сразу, и на своих, и на чужих, повыгонять их к чёртовой матери, но удержишься на минуту, и только сплунешь про себя, всё Бог отвел, спасибо Ему!

Приятельница познакомила с мужчиной. Он огромен и, кроме того, врач. Вы, говорит приятельница, габаритами друг другу подходите... Потом она выскребла половину холодильника и ушла... Или не так было? Да, какая разница, одно важно, не нравится ей этот самый доктор! Не спится с ним, не разговаривается. Так и хочется переключить его как программу в телевизоре...

Вот уже год влюблена она в молоденького мальчика: мальчик, конечно, не совсем молоденький, это она так, для того, чтобы над собой чуточку посмеяться без чужой помощи. Лет на шесть этот Валерочка ее младше. Поддаться он любит. И нравится ей иногда его подпаивать. Бывает, что он и сам приносит, и это спасает ее от тяжелых мыслей о том, что вот она такая-сякая до чего докатилась, что мужиков уже и водкой подманивает... Облегчение получилось и спасение, а спится с ним где угодно как на пуховой перине, да и ласковый он, а тут не соврешь...

Но Валерочка не женится... А с доктором уже

ничего не получится. Однако он ходит, подарки приносит, в ресторан пригласил, кран на кухне починил и цветы дарит. А может быть, выгнать Валерочку и поселить у себя доктора? Будет он приезжать на обед на своей сверкающей "скорой помощи"... Стирать ему рубашки, варить щи? Доктор приведет в порядок квартиру... Ничего не ясно в этой жизни. То, что нравится, — зыбко. Другое противно в минуты утренней правоты.

Так уж получилось, что белого доброго пса, который по утрам стоял в гордом одиночестве во дворе их дома, семья прозвала "доктором". Как-то дочке удалось заманить его в квартиру, благо была квартира на первом этаже, благо жила в квартире молодая вертлявая сука, о которой пес, может быть, и знал по каким-то своим каналам...

Пес ел, суетился вокруг собачки, тщательно обследовал углы, а вечерами ложился возле входной двери и не спускал с нее взгляда. Чаще всего он-таки убегал вечерами, чтобы утром возвратиться, или отдыхать, или влюбляться...

Настоящий доктор эпизодически ночевал в квартире на первом этаже. Зависело это от настроения хозяйки, которую иногда пробивала великая потребность еще раз попытаться... Встречаются люди, одному из которых кажется, а другому не может... и происходит между людьми этими бесполезное причаливание друг к другу, попытка на попытке, с руганью, с ночными перемириями и с новыми вариантами причаливания, которые такие же... Но ведь я про собаку. А получается странным образом и про людей... А когда и про собак, и про людей, тогда это очень трудно и можно запутаться, и перепутать самое важное...

Утром на кухне доктор-человек мыл посуду, а доктор-пес смотрел на большого человека, своим собственным ходом забравшегося в такую запад-

ню... Доктор-человек накормил перед школой девочку, которую пришлось разбудить и уговорить-таки сегодня сходит в школу, так как мама дома и маме вовсе не понравится очередной прогул в ее присутствии... Девочка засыпала на ходу. Всю нынешнюю ночь простояла она у окна, уставившись на окна будущего военного врача, а сейчас курсанта, в которого была влюблена совершенно в открытую уже не один месяц... Доктор-человек припоминал свое детство и не находил аналогов для пятого класса, ибо в их школе их девочки таскали в портфелях кукол, и если влюблялись, то только в учительниц...

Со стороны доктор-человек походил на огромный пельмень. Хотя, если разобраться, то он был так же толст, как и высок. Только люди имеют привычку обсуждать непохожее... Непохожее мешает людям жить, оно не оставляет им ни одной покойной минуты, может быть, потому, что чаще всего отличается от всего похожего в лучшую сторону... Сто лет назад никто б не выделил доктора-человека из толпы. Так как тогда почти все люди были сразу же и здоровы, и румяны, а теперь идет такой человек по городу и напоминает колбасу твердого копчения, у которой вдруг появились ноги и великая наглость возбуждать проголодавшееся человечество...

Доктор-человек мыл на кухне посуду и обалдевал над семейкой, в которую его странным образом тянуло... Доктор-пес грыз здоровенную кость, с которой бы, конечно же, не справились бы пэтэушники...

А семейка удивления заслуживала, хотя никому на земле не мешала, а наоборот, создавала вокруг себя интереснейшее состояние: так же, может быть, смотрелся бы улей с роящимися вокруг него пчелами в зимнем лесу в Сибири, что ли.

На той же лестничной площадке соседкина дверка. А соседка не что-нибудь простое, а пьющая еврейка! Дома у нее чистота несусветная и дальше кухни редко кто допускается... А в гости она приходит как бы разговеться, да так, чтобы поплевать, подвигать стульями по бывшему паркету... и посмотреть, позыркать по сторонам. Мало ли чего нового у подружки появилось, может, перепадет? Глаза у соседки-подружки настоящие угли или маслины, если маслины взять и еще пуще каким-нибудь лаком импортным помазать.

Тут бй надо прерваться и добавить, что хозяйка "зимней пасеки" спокойного нрава никогда не была: могла терпеть-терпеть, да взорваться на всю ивановскую и тогда разбегались всякие подруги, которые знали, когда приходить, что говорить, о чем басни рассказывать... Взрывы редкие – да меткие. Потом она ругала себя, всех жалела и оправдывала, а мириться первая все равно не шла... Уносила соседка шмат масла, десяток яиц. Прибегал ее чистенький сынок, тезка хозяйскому пентюху... Сынок вылизанный, ухоженный, а в дневнике одни двойки, а теперь уже в спецшколе мается, вот и евреи... И что на них так несут? Просто не на кого русскому человеку вину за все свое хорошее свалить. Всюду всякой твари хватает, а жидами полны всякие национальности, вот жидов и надо бить, какую бы они ни носили фамилию...

Семнадцатилетний пентюх, вернувшись с работы, на которой ни хрена не делал, сначала жрал, потом спал до десяти часов вечера, потом снова съедал кастрюлечку какого-нибудь борща и уматывался в неизвестном направлении, оставляя мать в убеждении, что в милицию не попадет и вернется домой живым и невредимым... Так оно действительно всегда и выходило: никого не ударил, ничего не украл, просто такой вот малый...

А к дочке приходили подружки, сидели на кухне, лузгали семечки, непереводившиеся в этом доме, как в некоторых домах валокордин или еще какие-нибудь спасительные средства...

Подруги почти все на пороге влюбленности, и разговоры у подруг были почти взрослые, только голоса подводили и выдавали, тонкими были и слишком чистыми. А ушки проколоты, глазки подведены, сидят на кухне, похожие на штаб в миниатюре, в окошко позыркивают и шепчутся по привычке, и радостно от них, и за них страшно... Прекрасный во всех отношениях дом – полная свобода.

Было и такое – пентюх решил жениться и на некоторое время в доме появилась Клубничка! Кто тут кому имена подпольные выдумывает? Есть кто-то в доме такой. Ведь не просто же так два Доктора и Клубничка?

Клубничку так и хотелось надкусить. Она даже оскомину вызывала. И ночевала-то всего десяток раз, и просуществовала в сознании домочадцев совсем немного времени, а выходит, что для того и была, чтобы эту самую оскомину вызвать, как бы на потом, для пентюха...

Пришла мама с работы, а они спят вместе, раскинувшись как Ромео с Джульеттой... Улыбнулась мама чему-то своему, потом прикрыла дверь и доулыбалась в своей комнате и даже, вроде бы, к родителям сходила, чтобы о дальнейшем поговорить... А пентюх всё о свадьбе. Ему больше всего свадьбы и хотелось...

Доктор-человек подарил скороварку. Доктора-пса помыли в ванной, только он и в таком, очень приличном виде сбежал на ночь по своим собачьим делам.

Дура ты, такого мужика отваживаешь ради какого-то слюняйчика. А он и может только за ухом у тебя почесать... это опять подружки не в

свое дело лезли, а выраженья подружки пришлось немного причесать, ибо тогда еще не принято было в литературе русской жизненные выражения употреблять, еще только поговаривали, что такое счастье скоро разрешено будет.

Из окон с одной стороны долетает скрежет электрички, даже не долетает – он там вместо занавески. С другой стороны виден детский дом для самых маленьких – посмотришь туда, и считаешь собственных детей счастливыми... Квартира не запирается, даже если она заперта, потяни сильнее и входи, хочешь жди хозяев, желаешь позвони по телефону, а нет времени – хлопни дверью...

Ни один Доктор не прижился. Человек ушел сам, отчаявшись. Собаку увезла специальная машина – собачья... Валерочка как-то пропал. Но свято место пусто не бывает, Валерочки просто станут стареть...

Два Доктора вспоминаются хорошо. Есть события, моменты и люди, напоминающие свечи. Если иногда вносить их в дом, то, может быть, станет светлее, может быть...

С.-Петербург, 1992 г.

Кусочки

ПАМЯТЬ – это состояние, когда тебе в голову, в грудь, в спину назойливо и нетерпеливо стучится тысяча людей сразу. Которых, конечно же, ты успел уже узнать за такую большую жизнь... Они не обращают никакого внимания на твоё теперешнее состояние и беспокоят тебя именно в удобное для них самих время. Бывают мгновения, когда ты заставляешь кого-нибудь из них замолчать. Но тут же

врываюся к тебе претензии какого-то другого знакомого тебе существа. Получается что-то вроде телефонного разговора, в который вдруг вмешивается чудом появившийся голос... Самые ужасы наступают у меня по ночам, когда обыкновенно приходят те, с которыми особенно не хочется говорить...

* * *

Он неуютный, угловатый, с ним плохо и соседям, которых смущают его задумчивые глаза, и знакомым, у которых начинаются сомнения по поводу своих личных качеств...

Заткнутый в угол комнаты стол с полосатой клеенкой, еще в школьных пятнах... Мамины цветы на окне: герань и фикус. Мамы нет, цветы остались, а забота о цветах перешла к нему, и протянулась из него как странность. Чтобы стать непохожим на других, надо всего лишь раз не улыбнуться вместе со всеми. Пару раз отказаться от выпивки. А если в твоём окне ночами горит свет и виден твой профиль, склоненный над столом, если к тебе в одиночную комнату ни разу не приходила женщина...

Я попытался показать его. Не так уж и много времени ушло на это. Наверное, я смог бы сделать это и тремя словами. Но во мне самом тогда осталось бы еще больше сомнения... А сомнение уже лужа, на которую необходим очень старательный прыжок...

Смешны его брюки гармошкой. Странна его шляпа пятидесятих годов и глаза его, извиняющиеся перед любым состоянием земли, получается, что почти страшны людям. Ну, если не страшны, то тогда совершенно точно ненавистны... А он ничего не собирается предпринимать.

* * *

Если ты разрешишь, я напишу тебе о любви. Это будет штучка с вереницей многоточий, с орфографическими ошибками, без которых я так и не научился что-нибудь писать. Если ты разрешишь мне все-таки попытаться, то на страничках моих снова появятся старые знакомые тем, кто когда-нибудь смог где-то прочесть мои штучечки. Если ты разрешишь, то как всегда будет почти осень или присутствующее только Питеру особое время года, располагающееся между весной, зимой и осенью... Как оно называется, вряд ли кто знает. И самое важное, я прошу тебя разрешить дождь и маленькие зарисовки из детства:

Во двор въехала машина с огромным полукруглым фургоном. Остановилась возле стайки тоненьких мусорных бачков, опустила подобие хобота из задней двери, чуть-чуть взревела и потащила первый бочонок переворачивать, правда, при помощи нашего дворника дяди Сени, который только что проснулся от ее рева и от которого уже пахло...

* * *

Я пытаюсь что-нибудь сделать с теми словами, которые проходят через меня. Удачи редки. Я часто ошибаюсь, и многие слова попросту не работают, становятся лишними... Слово имеет цвет, запах и какую-то особую клейкость, которая и способствует его окружению. Важно не дать слову остынуть. Необходимо как можно быстрее найти ему должное место... Остывших слов так много, что они образуют целые книги, которые никто не желает читать...

* * *

Ноябрь – момент смены скатерти на столе. Одну скатерть, всю в пятнах, наконец-то сняли... И вот то время, когда одну скатерть сняли, а другую не постелили, и есть большая часть ноября.

* * *

Сказочку написать захотелось. Думал, так просто! А оказалось, что все сказочки давно написаны... А тот, кто пытается их писать теперь, всего лишь, в лучшем случае, талантливый их пересказыватель, вот и все...

И побежали все к бессюжетности, и решили, что только через нее можно успеть кем-то стать...

И тут облом. Бессюжетность требует стихотворного качества в лучших традициях, как любят говорить в нашей многострадальной литературе. Что же делать? А ничего. Раз не способен написать свою сказочку.

* * *

"Господи, ты еще держишься! Слава Богу, что ты еще держишься! Одет, чист, ухожен, молод... Ну, посмотри на себя и на меня, разве мы учились в одном классе? Смешно, правда? Ты не наливай мне много, я так не пью, мне, чтобы прижилось..."

А пьем мы на ящиках за приемным пунктом посуды. Мы рискуем, а я еще не решился сказать ему, что молодость моя кажущаяся, что она эковского происхождения... Сказать непременно надо, но пока я молчу и мы занюхиваем водку брынзой и какой-то его "кент" уже канючит рядом, и он, посмотрев на меня, наливает ему грамульку и гонит к чертовой матери...

"Я иногда прихожу на наш двор, сажусь как старик в сторонке, самому страшно становится от того, что как старик... Сажусь и смотрю за пацанятами, и ты знаешь, они вроде бы такие же, как мы, только механизированные, что ли... У них все так просто и сложно, что я понимаю, нам, прежним, с ними бы не играть... Морду бы мы им набили, а вот эту их оснащенность не пересилили бы... Ты посмотрел бы, как они, одиннадцатилетние, с девчонками своими обращаются! Ну, ты вспомни, вспомни, как мы, и посмотри на них. Ведь взрослые и уверенные, и кажется, что все знают и могут, и сейчас тут же начнут... Вот от этого мне страшно..."

Я уже ничего не хочу рассказывать ему о себе. Даже хорошего, даже о том, что вроде бы начал прилично писать... Объяснять ему тюрьму? Вот он, спившийся, до тюрьмы не добрался, а я уже успел... Разве сумею я втолковать ему, что теперь понимаю и принимаю даже тюрьму свою? Я промолчу. Пусть он придумает что-нибудь сам про меня...

Промятая кушетка, я помню ее. Помню и маленький шкафчик с треснувшим зеркалом, а больше ничего и нет, и не было: серый паркет, окно без занавесок, замаскированные пылью стекла. Старик, я не хотел бы жить так, как ты! Я никогда бы не смог жить так, как ты! В обратном случае я просто совсем не буду жить... Мы же были нормальными мальчиками... да и людьми вроде стать собирались?!

В руках у него грязная торба. На нем черное пальто с лоснящимся воротником...

В самом конце нашей встречи мы общаемся только детскими словами, мы перебиваем друг друга криками прошлого! От нас все отстали, двор затих, и только мы: "А ты помнишь? А где? Не помню, как его фамилия, но ты его должен помнить... Лысый умер... Неужели правда?"

Один другому: "Я тебя очень прошу, когда начнем кирать, пошли меня к такой-то матери или на... а то у меня все обратно выльется". Другой выкатил глаза, они торопились к спасительному столику закусочной, чтобы наконец-то вздрогнуть и прийти в себя... Другой сказал: "Ну, ты и даешь, Димка! Я такого за всю свою жизнь не встречал". Просящий виновато улыбался, потом промямлил что-то про товарищество... "И козлом тебя назвать можно?" "И козлом назови, только чтобы в тот самый момент и посмачнее..."

Один тянул стакан к потрескавшимся губам, другой, забыв про свои пятьдесят капель, готовил смачное выражение и боялся упустить момент... Губы одного в последний раз одобряюще потерли одна другую и почти сразу же между ними втиснулся стакан, и тут же грянул мат, только все же он какой-то ненастоящий получился...

Прижилось... Так в ложбинку затекает дождевая вода и становится лужей... А мат тут, как толчок опытного инструктора у распахнутого люка самолета, когда, несмотря на опыт, просто надо, чтобы кто-то первый начал твое движение...

Стоят, облокотившись на высокий мраморный столик, который здесь для того и поставлен, чтобы все сразу же и без разговоров...

Потом один другому начал про художника Исачева, с которым десять лет назад по городу было не пройти, потому что менты тогда "заметали" только за одни длинные волосы...

А теперь время вокруг почти гуманное, только треснувшее и совершенно точно, что в расщелины, образовавшиеся сейчас, через некоторое время хлынет страшная вода большого дождя... А мат, хоть и не совсем получился, но пришелся кстати, хотя бы потому, что вспомнили про Исачева, который сейчас бы ходил, как хотел.



У меня впечатление, что первого января все мы ставим на столы свои новые свечи. Сначала свеча горит неуверенно, потрескивает, приспосабливается... Вспомните, ведь январь и февраль месяцы ветренные... Потом пламя распахивается, начинает давать тепло и свет, а украшают его застывшие капельки воска по круглым краям свечи...

И жизнь где-то так, и в марте появляется что-то бьющее по глазам, оно веселит, будоражит снег, украшает отпечатками тропы...

Летом свеча становится чем-то обыкновенным, ее тепло уже не замечают... К ней относятся как к матери... А к матерям мы всегда относимся поганно... И все у нас для них потом, когда уже...

Осенью от свечи почти уже ничего не осталось, и тут мы вспоминаем про нее, ставим в укромное, почетное место, чтобы не достали ее октябрьские ветры...

А свечка уже потеряла форму. Она напоминает теперь старую корягу, и только каким-то чудом выбирается из нее магический язычок пламени. Мы готовы выстроить навес, возвести хоромы для той самой свечи... Но тут, в декабре, вспыхивают надежды на все новое, и есть у нас уже другая, какая-нибудь импортная свеча, которую мы намереваемся зажечь и беречь пуще ока... А старую лучше убрать с глаз долой. Ведь мы такие чувствительные.



Я просыпаюсь в чужой квартире, лежу на тахте в куртке, капюшон закрывает мне глаза. Я сталкиваю его, поворачиваю голову и вижу, что спиной ко мне стоит женщина в одной короткой мужской рубашке и в тапочках на каблучках... Я сажусь и продолжаю смотреть на нее. Потом я говорю ей, что

хорошо бы, если бы всегда было так... Она поворачивается ко мне и уверяет меня, что все время ходить без штанов невозможно... Практически с этого момента мы и познакомились.

* * *

Какая ерунда, какая большущая ерунда! Ушла женщина и все. И больше ничего особенного, кроме того, что ароматом ее тепла, которое почему-то было, пропитан воздух вокруг и чуточку дальше. В комнатах, по которым она любила ходить босиком, насквозь пропылился пол. В ванной не умолкает кран, обыкновенно вполне нормально ведущий себя... Телефон не звонит, словно она унесла с собой его энергию. В ней ничего особенного. У нее тонкие губы и блестящий, словно намазанный маслом лоб. У нее совсем не длинные ноги. Она даже толстовата чуть-чуть. Она зла, взбалмошна и стервозна значительно больше допустимого...

Но она ушла и стала почти всем. И просто необходимо было написать это маленькое "почти", чтобы хоть как-то отгородить себя от полного поражения... Как это так? Как это так? Как это так?

С.-Петербург, 1992 >

Голос у нее нежный, кожа была бархатная...

Васильевский, для меня, заканчивается застройками 60-х годов. Все остальное, выросшее на бывших свалках и пляжах, принадлежит другой части города и совершенно иначе называется, как?, не знаю.

Улица Кораблестроителей – не Васильевский и потому никаких особых чувств во мне не вызывает, хотя я снова довольно долго не был в Питере, хотя мой Васькин остров в двух шагах отсюда.

Захотелось посчитать себя писателем, да и помогли мне в этом люди добрые, нашли машинистку, которая ничего с меня не берет, да еще и под диктовку мою печатает. Печатает, а думает о своем... Покупал бутылку водки и ехал к ней. Прятали бутылку в книжный шкаф, от родителей и детей, хлопали по рюмочке перед перекурами, во время которых она рассказывала мне о своем несчастном Саше, в которого влюблена по скотству какой-то особенной судьбы... У нее были длинные ноги и впавшие глубоко-глубоко глаза. Смотря на ее лицо, я думал, что я где-то в Норвегии. В ледяных горах, на самых вершинах, с которых сказочно смотреть в незамерзающую синеву... Я никогда не был в Норвегии. И так ли там, я не знаю, но вот смотрю и думаю, что так.

Я вышел на улицу с маленькой во лбу... С верой в себя, хватающей мне почти всегда на несколько километров пешком или на пять остановок на транспорте... Шелестел конец августа, пахло новенькими портфелями, шуршал бедолага первый лист под ногой, чувствовалось ускорение, которое от нас совершенно не зависит, а происходит как-то само, чуть ли не по школьной привычке... И тут, конечно же, я увидел ее!

Я не мог ее не увидеть. Хотя и прошло почти 25 лет, хотя это был совсем не Васильевский остров. Она не пропадала, не проходила во мне, как собственные уши или глаза... Поразительно, но у меня осталось такое же как тогда сердце! Оно сначала перевернулось во мне на полную катушку, совершив большой кульбит, а потом по-мальчишески застучало, задергалось как сумасшедшее, и я вспо-

мнил все-все-все, и за несколько секунд пережил прежний восторг, хотя казалось бы, ну, какая у меня может быть радость от встречи с Наташкой? И потом, разве эта погрузневшая, почти пожилая женщина и есть моя Наташка? И еще, разве Наташка когда-нибудь по-настоящему была моей?

А она уже в пятидесяти метрах. Она уже заметила меня и резко отвернула лицо свое... Повернулась к спутнице, словно подлезла подо что-то... Стоит ли, милая? Я бы не подошел сам. Мне стало жаль и тебя, и себя. И вот еще что, тебе совсем не стоило бояться, какое-то особое включение вернуло тебе прежние черты, и я задрожал и испугался, как всегда при встречах с тобой...

Совершенно точно, что в 67-м счастливый случай вытащил меня разгильдяя в краткосрочный отпуск с поездкой на Родину... А было-то всего-то слишком блатной командир, молодой офицер, поступивший в академию... И не хотел он с семьей ютиться по углам, генеральские сыны почти все такие... Он не хотел ютиться по углам, а у меня практически пустовала квартира... Меня вызвали, со мной поговорили и меня облагоденствовали...

Я стоял на углу Среднего и Одиннадцатой и смотрел на мир восторженными глазами. Меня не сковывала гимнастерка, на мне не болтался ремень, меня не втаскивали в землю сапоги! Шли обыкновенные люди, которые теперь казались мне необыкновенными. Можно было купить вино, но за полтора года на нашей улице пропали знакомые ребята, а молодые могли сейчас только смешить меня... Я не знал, куда себя деть, а времени было жаль, а оно капало как вода ночью из незакрытого крана, кто не помнит про такую воду?

Сейчас начнется какая-то память в памяти. Это какая-то особая кабинка, в которую занимают очередь чёрт знает за сколько месяцев... Причем самые

несчастные могут получить подобную память еще и в квадрате, а это вообще непереводаемо... Сначала безразличная совершенно улица Кораблестроителей, связанная прежде всего с сытой и зашторенной "Прибалтийской", потом родная 11-ая, а потом уже через нее первая и самая великая память о Наташке!!!

Я познакомился с ней в вечерней школе, где оказался по материнскому настоянию, в попытке спасти год перед армией на всякий случай, если не попаду в институт первым заходом... Таких, как я, тогда хватало, Никита Сергеевич добивал среднюю школу и масса моих сверстников оказалась в положении выброшенных за борт без спасательных кругов... Что-то похожее чуть раньше он сделал с армией... Но из офицеров не получились пэтэушники, а из нас ими стали толпы, и под фанфары пошли потом многие, под фанфары с бирками на груди...

Она ходила в красной кофте и в зеленой юбке. Она одевалась беднее многих, потому что жила с теткой и братом, так как давно потеряла родителей. Она ходила в зеленой юбке и в красной кофте и нравилась всем ребятам в нашей школе.

Мы не учились – нас несло куда-то не туда и получалась горка, качественно политая водой, и выдавалась морозная ночь для закрепления успехов, и нужно было только занять удобную позицию, чтобы лихо скатиться куда угодно вместе со всеми...

Мы не учились – неожиданно пропали варианты домашних заданий, педсоветов, родительских собраний, дневников и всего такого прочего... 15-16-летние обрели мы ту школьную свободу, о которой и не мечтали... Только потом оказалось, что все это было очень рано...

Я попытался стать своим среди Наташкиных друзей. У меня получилось. Наверное, она понимала, что нравится мне... Я не ходил за ней по пятам,

это делали другие. Я маскировался, как мог. Я ходил невзрачного вздыхателя, который ничего не собирался скрывать, и брел за ним в кильватере: мы считались друзьями, я мог отдать ему свой глоток вина из бутылки, разливаемой на шестерых... Но она знала, иначе бы так не смотрела и не смущалась, выходя из поцелуечной комнаты вместе с Лёвой или с Женькой Щербаковым, уже потом...

На перемене мы гоняли арабский мяч по огромным коридорам бывшей гимназии Мая. Она говорила подружкам: "Какие у Аркашеньки красивые ботиночки"... Разве мне было мало. Мне хватало на три дня. Я не спал, всю ночь ворочался и на меня пристально смотрела мама...

Я прикоснулся к ней два раза. Один раз во время танца, второй случайно, ибо по-другому у меня не хватило бы ни сил, ни смелости... Я нравился другим. Другие меня не интересовали, при ней я не замечал других. А у нее тоже была несчастная любовь, и я не испытывал злорадства, я чуть ли не со слезами наблюдал за ней. Мне молчалось рядом.

И вот сентябрьский вечер 67-го, Средний проспект, я высматриваю знакомых, у меня дома в пустой квартире три бутылки вина, хорошие сигареты. И тут все как у Маяковского, "словно молнией"...

Мы очень хорошо поздоровались. И подруга ее очень быстро повернула к своему дому, и я не уговаривал Наташку зайти ко мне... Все получилось само собой...

Двор у нас почти колодец. Только с правой стороны война отрезала от здания флигель и получилось вполне естественное окно в мир, и на этом месте общественность соорудила скверик, поставила скамейки и уломала домоуправление на фонтан... И по-особенному серебрятся ночные лужи на

своих законных местах... Вы не замечали, лужи, не имеющие своих собственных постоянных мест, почти мгновенно исчезают?

Мы легли. До этого я читал ей свои стихи... Вряд ли ее интересовала поэзия. Но дело-то в том, что стихи посвящались ей, и в одном из них, самом вроде бы лучшем, ничем не прикрытое существовало ее имя, и Наташка, к этому непривыкшая, как мне кажется, забалдела-таки...

Я ее обнимал и целовал. В ту ночь я мог нравиться ей. Но только в ту ночь, это однозначно.

Я помню ее кожу и свой трепет. Помню, как снимал с нее комбинашку, тогда еще носили комбинашки. Больше я ничего не помню и вспомнить не пытаюсь.

С другими все было не так. Там память как видеомагнитофон, каждое движение и цвет трусиков, и какие-то особые моменты и привычки, и руки, и я все повторяю в себе и повторяю, если почему-то очень долго хочется вспоминать...

А слова, помню ли я слова ее и наши? Нет, ничего не помню. Не помню, потому что она ничего и не говорила... Шептал что-то я, видимо, больное, потому что пересыхали губы... Я бы мог такое тут наплести. О бокале вина в постель, о цветах, раскиданных у кровати... Но этого не было! Мало того, не получилось и утра! Утром она просто ушла, как чужая, и я не попытался ее проводить...

А уже через пару часов я встречал ее на Среднем с каким-то парнем, она шла с ним под руку, и через полчаса я был уже в стельку пьян и пел во дворе песни с дядей Сеней, нашим печником и дворником.

Поволока в глазах, что-то восточное и медленное в облике. Что еще помню я о ней, голос? Голос у нее мягкий, кожа была бархатной.

Снова улица Кораблестроителей. Прошло не-

сколько минут после нашей случайной встречи. Мы даже не кивнули друг другу. Я перебежал на другую сторону улицы, вскочил в троллейбус, но он, гад, не спас меня... Через несколько секунд он с треском затормозил возле красного светофора, а по переходу, прямо на меня, шла моя Наташка, а я отвернул лицо... Я не боялся встречи. Я не хотел сделать больно ей. Я, видите ли, не хотел сделать больно ей... Потому что теперь она могла нравиться только тому, кто видел (или не видел) ее четверть века назад! А со мной совсем другое дело: я (видите ли) умею возвращать чужим лицам прошлое состояние... Такое со мною очень часто в вагонах метро, на улицах... Я не прошу у людей взаимности и понимания. Мне просто нравится видеть их в первозданном состоянии... И только детские варианты не получают у меня никогда.

У нее вороньи волосы и очень мягкая улыбка. Неужели кто-нибудь мог обижать ее? Идиот, столько прожил и что же, не понимаю, что для кого-то она была такой же доступной, как те, другие, для меня в то время, когда господствовала она?!

Весь день после той встречи меня заносило то в бар, то к скамейке. Где-то я подсел к парням с гитарой, но не понял их песен, хотя мне этого хотелось в тот день. Есть какая-то черта в жизни. Но не поздновато ли она во мне? А может, есть люди, у которых нет возраста, а только грехи вместо век? чтобы было через что добираться обратно? Смотрю на молоденьких женщин, называю себя идиотом после таких взглядов. А почему бы и нет? Осени в этом году не было и обещают ужасную, чуть ли не блокадную зиму... А почему бы и нет? Скоро вырастет дочь, следом за ней кто-то пойдет однажды на улице... А почему бы и нет? Беспокойство, поселяющееся в нас на каком угодно участке жизни, не расплата ли это, как-то специально выделанная? А почему бы и нет?

Милая моя, а тебя что-то кольнуло в тот августовский день?

– Вы там осторожнее, Владимир Маркович, у нас внизу ужасно нечистоплотные жильцы, там можно и поскользнуться, там набросано, уж вы внимательней, и звоните, и не пропадите надолго... – говорит старушенция старичку ниже этажом. Я стою у окна на площадке за марш от них. Мне видна его яркая седина, розовый, поросячий пятячок лысины...

– Уходите, Аннушка, уходите. Простудитесь, век себе не прощу. Как же мы с вами в театр тогда пойдем? Домой и немедленно... – в его голосе что-то высоко-повелительно-ласковое, так разговаривают с детьми или с барышнями...

А потом захлопнулась дверь парадного, он ушел, и меня покорило от гадливости (?), я как будто бы сам наступал на загаженные ступени лестницы его натруженными, старческими ногами... А последние, непропавшие еще капли их голосов пели под куполом старого парадного совсем другую историю.

С.-Петербург, июль 1992 г.

"Всё громче звуки неземные..."

СТАРЫМ ДРУЗЬЯМ

Прибиты днями бедными
И окриками бранными,
Мы скоро станем белыми,
Летучими и странными.
Небесные посланники
Нас встретят дружной одою.
А воры и охранники
Поблудят со свободою.

ПОЛЕТ В БЕТОННОМ КУБЕ

Бетонный куб, куда летишь ты?
Кому несешь моё тепло?
Рёв улиц, мат дворов всё тише
Сквозь закопчённое стекло.

Всё громче звуки неземные
И шёпоты бескровных губ,
И мертвецы мои родные
Вступают в мой бетонный куб.

И мы летим, и звезды пляшут,
Слагаясь в вещие слова,
И свет крылом лебяжьим машет,
Тьмы разрывая покрыва.

Я прощена, и эту бездну
Люблю, как рощу соловей,
И всех знакомых по подъезду
Мои покойники живей.

Но время истекло. Не вправе
Никто нарушить череду.
Бетонный куб в ячейку вставлен
В своем кубическом аду.

* * *

Вполголоса шумят деревья,
Слетают листья, чуть дыша.
Как тяжело свои кочевья
Меняет вечная душа.

Ещё вчера зелёный праздник
Сады по-своему рядил,
И ветер – шут и безобразник,
Как неприкаянный бродил.

А нынче с братскою любовью,
Замедлив над землёй полёт,
Сухие листья в изголовье
Дню отходящему кладёт.

* * *

Черным-черны нагие
На белом фоне липы.
Намеренья благие...
Прощанье. Вздохи. Всклипы.

О Боже, дай мне крылья
Любви и жизни ради
Взлететь над снежной пылью
К серебряной ограде.

Узреть хоть луч единый
Стадальческого рая,
Чтоб не взреветь скотиной,
На бойне умирая.

УЧИТЕЛЯ

Я – хилый цвет на почве каменистой.
Мне Божий свет затмили коммунисты
И направляли на меня в ночи
Кремлёвских звезд кровавые лучи.

Мой бедный дух незнаньем узувечен
И потому, наверное, не вечен.
Треклятые мои учителя,
Под вами не расступится земля.

Нужду справляя в разоренном храме,
Не вы ли заливались соловьями?
И, оборвав угрозой детский гам,
Не вы ли лгать учили по слогам?

Ну что ж, теперь из каждой подворотни,
Повизгивая лезут оборотни.
Нож в рукаве, и нет на них креста,
И улыбаются глумливые уста.

И вот, перелистав словарь карманный,
Я представляю Альбион туманный.
Но нищий брат мне руку подаёт,
И слабым голосом снегирь поёт.

ЗАМОРЫШ

Не возьмут уже меня в Австралию,
Я заморыш твой, родная Русь.
В сферы запредельные, астральные
С ворохом печалей не взберусь.

Холодны, тесны твои объятия –
Не поймёшь, любовь ли то, беда.
Об отце, о дочери, о брате я
Зарыдаю, – слёзы что вода.

Окропишься влагою солёною,
В пляс пойдешь, притопнешь каблуком.
А раскинешь руки оголённые –
Полечу я наземь кувырком.

Мария ШНЕЕРСОН

**Сила мастера и
бессилие властелина**
(Булгаков и Сталин)

*Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи на десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца -
Там припомнят кремлевского горца...*

Осип Мандельштам

"Трудно представить себе фигуру гиганта, каким является Сталин [...]/ Вся основная работа [...]/ проходит по указанию, по инициативе и под руководством товарища Сталина. Самые большие вопросы международной политики решаются по его указанию, и не только большие вопросы, но и, казалось бы, третьестепенные и даже десятистепенные вопросы интересуют его..." - говорил Киров за год до того, как Сталин его убил¹. К числу таких "десятистепенных" вопросов относилась и деятельность писателей, режиссеров, музыкантов. "Корифей всех наук" находил время, чтобы следить за жизнью советского искусства. Особенно внимательно он относился к работе "инженеров человеческих душ".

В. Лакшин замечает в статье "Судьба Булгакова: легенды и быль", что участь многих писателей связана была со Сталиным, "но случай с Булгаковым - особый. С первых спектаклей "Турбиных" в 1926 году, когда он из ложи аплодировал артистам, тень Сталина, его мнение, его слова как бы незримо сопровождали Булгакова на всем

его пути. И вот парадокс: поощряя накал политической борьбы в литературе, который больно сказался на судьбе Булгакова, Сталин в то же время как бы выступал его покровителем, тайным меценатом"². Так ли это? Не легенда ли? Была ли однозначной роль Сталина - покровителя, мецената Булгакова, или вождь вел двойную игру, очень сложную, хитроумную и скрытую от посторонних глаз? Булгаковеды не раз касались темы "Сталин и Булгаков", но до сих пор она не стала объектом специального изучения³. Цель предлагаемой статьи - свести имеющиеся факты воедино, сопоставить их, проанализировать детально и на основе уже известного материала высказать по возможности обоснованные предположения, не претендуя на окончательное решение загадочных вопросов.

* * *

Они ни разу не встречались. Булгаков видел Сталина лишь в театральной ложе и на праздничной трибуне. Сталин, быть может, видел писателя издали в театре. Один лишь раз они говорили несколько минут по телефону. Один раз Сталин высказал свое мнение о Булгакове в письменной форме. И совсем немного сохранилось его устных высказываний о писателе. Булгаков отправил вождю не одно письмо, но ответа на них не получал. Можно лишь предположить, что косвенным ответом явились некоторые перемены в судьбе писателя.

Как видим, личных контактов между этими людьми не существовало. Однако что-то их связывало на протяжении долгих лет, и было много странного, непостижимого в их взаимоотношениях. Естественно, в жизни тирана они не играли какой-либо роли. В жизни писателя, напротив, - занимали едва ли не ведущее место и определили его судьбу. "Он подписал мне смертный приговор", - сказал Булгаков после запрещения "Батума".

Сталин постоянно держал его в поле зрения и не забыл

даже тогда, когда Булгакова не стало. О том, как сильно привлекал вождя этот необыкновенный художник, свидетельствует уникальный факт: он смотрел не менее 15 раз "Дни Турбиных" в Художественном театре и не менее 8 раз - "Зойкину квартиру" в театре имени Вахтангова. Шла напряженная борьба за власть, за утверждение сталинской тирании, на страну обрушился неслыханный террор, нависла угроза войны. И вот в это бурное время обремененный властью деспот ходил и ходил на один и тот же спектакль, который был некоторое время запрещен, а потом по его же приказу возобновлен. (Многие ли из нас видели одну драму так много раз?) И впечатление не ослабевало. Сталин однажды сказал Н. Хмелеву: "Хорошо играете Алексей. Мне даже снятся ваши черные усики (турбинские). Забыть не могу"⁴. И не мог забыть! В роковой час, 3 июля 1941 года, обращаясь к народу, вождь невольно повторил слова булгаковского героя (Сталин: "Братья и сестры! К вам обращаюсь, друзья мои!" Алексей Турбин: "Слушайте меня, друзья мои!" - тот же настрой, та же интонация, как справедливо отмечали булгаковеды.)

Не было другого драматического спектакля, на который Сталин ходил бы так много. И не было другого писателя, который и как личность привлекал бы Сталина столь непреодолимо. Ибо никто так себя не вел. Большинство советских писателей были попросту пешками в руках Пахана. А немногие лучшие затаились, приумолкли, либо, как выразился однажды Пастернак, пошли на "добровольную идеальную сделку со временем". Вызывающе смело, независимо, свободно - по-булгаковски - не вел себя никто. Разве что Е. Замятин, в конце концов отпущенный за границу в 1932 году.

Вместе с тем, ни в чем досье, пожалуй, не имелось столько криминальных материалов, сколько их было в досье Булгакова. И тот факт, что писатель не был репрессирован, говорит об особом отношении к нему со стороны подозрительного и мстительного Хозяина. Оснований же для ареста было более, чем достаточно. Сам Булгаков это

прекрасно понимал. Так, он писал в Париж брату Николаю: "Вокруг меня уже ползет змейкой слух о том, что я обречен во всех смыслах /.../ вопрос моей гибели это лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдет чуда"⁵.

И чудеса совершались!

С 1921 по 1925 или начала 1926 гг. Булгаков вел дневник, где отмечал не только события своей личной жизни, но и высказывался весьма круто о советской России. И вот 7 мая 1926 г. во время обыска у писателя этот дневник вместе с повестью "Собачье сердце" был конфискован. Как стало теперь известно, в ГПУ сделали из дневника соответственные извлечения, размножили их, и этот криминальный материал читали все члены Политбюро⁶. По справедливому замечанию М. Чудаковой, после конфискации дневника "начался новый этап его (Булгакова) отношений с советской властью. С одной стороны, теперь ему нечего было скрывать, с другой же - на него могли оказывать давление, принуждая к покаянию, заверениям в изменении взглядов. И в том и в другом он отдавал себе, по-видимому, отчет"⁷. Взгляды писателя, выраженные в дневнике, были достаточным основанием для ареста. Но ареста не последовало.

В пору, когда критические статьи писались в духе политических доносов и могли равняться смертному приговору, Булгаков подвергался яростным нападкам - как во времена РАППа, так и после разгрома этой организации. "Весь путь Булгакова - путь классово враждебного советской действительности человека..." - сообщала "Литературная энциклопедия"⁸. "...Все смотрят пьесу ("Дни Турбиных"), покачивая головами и вспоминая рамзинское дело", - писал В. Вишневский⁹. (Это сказано в 1932 г., когда в памяти был жив процесс Промпартии и имя главного его участника Рамзина.) Шквал критических статей нарастал, а Булгаков, в отличие от своего героя Мастера, ставшего жертвой доноса и критической кампании, оставался на свободе!

Смертельно опасными были обращения писателя к Пра-

вительству и к самому Сталину (об этом речь впереди). Однако и они сходили ему с рук, хотя носили далеко не покаянный характер.

Достаточным основанием для создания "Булгаковского дела" могло послужить и то, что братья писателя были белоэмигрантами, причем с Николаем он регулярно переписывался и рассказывал ему о своем невыносимом положении, о гонениях и травле. Криминалом при этом легко было счесть неоднократные просьбы Булгакова о выезде за границу. Более того. Он постоянно встречался с иностранцами: бывал на приемах в американском посольстве, приглашал к себе иностранных гостей. Его пьесы ставились за рубежом, иногда - в искаженном виде, эмигрантская пресса хвалила его. Но советское правительство и этих "преступлений" словно не замечало.

Между тем, за Булгаковым была установлена слежка, очевидно, постоянная. Елена Сергеевна Булгакова рассказывает, как однажды в ресторане "Националь" они обратили внимание на молодого человека, который, не таясь, следил, не сядут ли Булгаковы в машину знакомого иностранца¹⁰. Очевидно, каждый шаг писателя был известен "кому следует". Да он ничего и не скрывал.

В гостеприимном доме Булгаковых часто появлялись весьма подозрительные "друзья" и вели явно провокационные разговоры. Иностранцев неизменно сопровождал переводчик Жуховицкий, который "истязал М. А., чтобы он написал декларативное заявление, что он принял большевизм"¹¹. Приезжал из Киева некто Загорский. И опять: "Почему М. А. не принял большевизма?" Почему "не хочет большевикам песни петь..."¹² Совершенно неожиданно появляется какой-то партийный работник Доброницкий, втирается в дом и ведет все те же провокационные разговоры. "Лицо, которое стоит за ним, он не назвал", - записывает Елена Сергеевна в дневнике. Но ясно, что он кем-то подослан. Уговаривает М. А., "чтобы он написал если не агитационную, то хоть оборонную пьесу"; "Расспрашивает М. А. о его убеждениях, явно агитирует. Для нас загадка -

кто он?"¹³ Затем появляется актер МХАТа Гриша Конский. Елена Сергеевна отмечает его странное поведение: когда М. А. позвали к телефону, Гриша стал потихоньку рыться в его бумагах. "Форменный Битков!" - восклицает жена писателя¹⁴.

Появлялись и другие загадочные личности, быть может, подосланные не только ГПУ, но и кем-то повыше. И надо думать, они доставляли достаточно материала для репрессивных мер против непокорного писателя. Но его не трогали. Не потому ли, что выше не приказано было трогать?!

Современники, а может быть, и он сам объясняли его неприкосновенность особым покровительством Сталина. Ходили самые фантастические слухи чуть ли не об их тайной дружбе. Это были всего лишь слухи. Но нет дыма без огня. Судьба Булгакова была необычной, во многом загадочной. И то, что он не попал в общую мясорубку, не могло быть случайным. Правда, оставались на свободе и другие "чуждые" писатели. Но такого набора "преступлений", как у Булгакова, у них не было; так подчеркнуто независимо вести себя, как он, не позволял себе никто. Тут, несомненно, случай особый, тут есть над чем поразмыслить.

* * *

Возникает и такой вопрос: если Булгаков был под особым покровительством, если державная воля Сталина охраняла его от тюрьмы да от сумы (худобедно он всегда имел заработок), то почему же его писательская судьба неизменно складывалась трагически? Он создавал пьесу за пьесой, а они запрещались одна за другой. Произведения не печатались с 1926 года. Критика постоянно его поносила. И повторялась одна и та же ситуация: очередная новая пьеса привлекала внимание многих театров, все хотели ее ставить, но в какой-то роковой момент - иногда после генеральной репетиции, иногда после первых спектаклей, а

нередко и после первой же читки в театре или в Главреперткоме - пьеса неизменно отвергалась. Словно чья-то невидимая рука накладывала вето на все, что создавал драматург. И при этом после очередного запрещения следовали советы, предложения, рекомендации написать новую вещь - агитационную, оборонную, антирелигиозную и т. п. Вот она, мол, обязательно увидит свет ramпы.

Здесь наблюдается некая закономерность. И объяснение может быть только одно: драматург писал не то, что *кто-то* от него ждал. Но этот *кто-то* не терял надежды *заставить* Булгакова писать, как надо. Вот почему его и сохраняли, применяя метод запретов и посулов; кнут в настоящем, пряник - в будущем, если строптивец исправится и сумеет потрафить. В надежде на такой исход его оставляли на свободе, но держали в узде, не пускали за границу, подсылали шпионов и агитаторов, давили со всех сторон. Автора "Дней Турбиных" Хозяин высоко ценил и считал весьма заманчивым сделать его "своим".

В 1946 году один из злейших врагов Булгакова драматург Всеволод Вишневский, выступая перед мхатовцами по поводу постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград", вспоминал старые ошибки МХАТа и прежде всего постановку пьес Булгакова. При этом Вишневский привел следующие слова Сталина: "Наша сила в том, что мы и Булгакова научили на нас работать"¹⁵. Трудно усомниться в достоверности данной цитаты: кто бы осмелился при жизни вождя приписывать ему слова, которых он не произносил?!

Думается, эти сталинские слова многое объясняют в судьбе Булгакова. Удалось ли большевикам заставить писателя работать на себя, - читатель знает. Но отсюда следует, что именно такую задачу ставил перед собою "Великий Вождь". А он, как известно, не привык отказываться от намеченного и шел к цели иногда напролом, иногда окольными путями, не мытьем, так катаньем добиваясь своего. И то, что в случае с Булгаковым не помогали обычные приемы, могло лишь раззадорить азартного игрока.

Трудно установить, когда Булгаков попал в поле зрения Сталина. Елена Сергеевна вспоминает слова генсека: "Биль-Белоцерковский неинтересно пишет, скучно пишет. Булгаков остро пишет, интересно пишет"¹⁶. Эта оценка перекликается с другой, о которой тоже вспоминает Елена Сергеевна. Сталин сказал Горькому, хлопотавшему о постановке драмы Н. Эрзмана "Самоубийца": "Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне пьеса не нравится. Эрзман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков!.. Тот здорово берет! Против шерсти берет! (Он показал рукой - и интонационно.) Это мне нравится!"¹⁷ Следует отметить, что творчество Булгакова служило для Сталина неким эталоном, и, говоря о других, он не раз сравнивал их именно с автором "Дней Турбиных". "Кремлевскому горцу", видимо, нравилась острота, неординарность булгаковских произведений, как нравились острые, пряные грузинские блюда. Следует подчеркнуть, что он знал не только вещи, которые печатались или шли на сцене, но и то, что подвергалось запрету и существовало лишь в рукописи (например, "Бег", рукопись которого могла быть лишь в МХАТе и в Главреперткоме).

Об этом свидетельствует письмо Сталина В. Биль-Белоцерковскому - единственный письменный отзыв генсека о творчестве Булгакова.

* * *

Этот документ давно привлек внимание булгаковедов. Но они брали из него лишь отдельные высказывания о пьесах Булгакова. Для нашей же темы важен общий контекст, потому что между строк легко просматривается тактика, которая на протяжении последующих лет применялась по отношению к автору "Дней Турбиных".

К сожалению, пока не удалось отыскать письмо Биль-Белоцерковского, на вопросы которого отвечает Сталин. Но из ответов ясно: письмо носило характер политическо-

го доноса. Ярый рапповец, писатель и драматург Биль-Белоцерковский жаждал крови - запретов, гонений, уничтожения всех, кто не был "пролетарским писателем".

Ответ Сталина датирован 2 февраля 1929 г. Это было время, когда разгорелась травля Булгакова, завершившаяся к концу сезона снятием всех его пьес. Отношение вождя к крамольному писателю выражено двусмысленно, по-фарисейски, так, что его оценки можно истолковать по-разному. Сталин вроде бы соглашается с рапповской критикой. И в то же время выделяет Булгакова из числа других драматургов. Если учесть, что письмо это, хотя и частное, неопубликованное, было, видимо, рассчитано на роль руководящего документа, если учесть, что Сталин никогда слов на ветер не бросал, то каждая его мысль обретает особое значение и самая противоречивость оценок представляется не случайной: он словно что-то скрывает, чего-то недоговаривает.

На первый взгляд может показаться, что Сталин придерживается более широкого взгляда на искусство, нежели его корреспондент. Вождь считает понятия "левый и правый уклон" неприменимыми "к такой непартийной и несравненно более широкой области, как художественная литература, театр и пр." Его вроде бы не возмущает, что "в художественной литературе на нынешнем этапе ее развития" существуют "все и всякие течения, вплоть до антисоветских и прямо контрреволюционных..."¹⁸ Он возражает своему корреспонденту: "Конечно, очень легко "критиковать" и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое легкое нельзя считать самым хорошим. Дело не в запрете..."¹⁹

Казалось бы, какой широкий взгляд! Какой демократический подход к искусству! Свободное соревнование разных течений! Литература, театр и пр. - "непартийная область"! Но концы с концами не сходятся. Отрицая партийный характер литературы и тактику запретов (как позже - "аракчеевский режим в науке"), Сталин тут же предлагает "оперировать в художественной литературе понятиями

классового характера, или даже понятиями "советской", "антисоветской", "революционной", "контрреволюционной" и т. д. литературы²⁰. Как говорится, хрен редьки не слаще...

Сталин объявляет тактику запретов ошибочной, но тут же выступает за запрет столь "антисоветского явления", как "Бег" Булгакова, считает роковой ошибкой Реперткома разрешение ставить в "буржуазном Камерном театре" "макулатуру" вроде булгаковского "Багрового острова". Можно не сомневаться, что и последовавший через несколько месяцев запрет всех пьес Булгакова совершился не без одобрения вождя.

Всё противоречиво, двусмысленно в этом письме, и "установки" его часто не вяжутся с тем, что происходило в действительности. Либо происходило многое помимо воли Сталина (что маловероятно), либо генсек говорил одно, думал другое, а делал третье.

Но вот что бросается в глаза: по существу главной темой письма является Булгаков. Кроме него, лишь вскользь упоминаются другие. Если по ходу дела надо привести пример, Сталин ссылается на Булгакова. Особенно подробно говорится о "Днях Турбиных" и о "Беге".

Причисляя полюбившийся ему спектакль к разряду "непролетарской макулатуры" и утверждая: "на безрыбье даже "Дни Турбиных" - рыба", Сталин берет эту пьесу под защиту: "...она не так уж плоха, ибо дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: "Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, - значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь". "Дни Турбиных" есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма". Правда, Сталин тут же спешит заметить: "Конечно, автор ни в какой мере "не повинен" в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?"²¹ Итак, называя Булгакова писателем антисовет-

ским, Сталин считает возможным извлечь пользу из произведений талантливой драматурга.

Еще существенный мотив всего письма: генсек уверен, что большевики могут "перековать" контрреволюционных мастеров искусства и заставить их работать на себя. Об этом свидетельствуют следующие рассуждения: "Головановщина" есть явление антисоветского порядка. Из этого, конечно, не следует, что сам Голованов не может исправиться, что он не может освободиться от своих ошибок, что его нужно преследовать и травить даже тогда, когда он готов распрощаться со своими ошибками, что его надо заставить таким образом уйти за границу"²².

Здесь между строк легко прочесть мысли и о затравленном Булгакове, который уже в 1928 г. просил отпустить его за рубеж (об этом ниже). Правда, в отличие от Голованова, Булгаков не был "готов распрощаться со своими ошибками", но Сталин не считал этот случай безнадежным. (Вспомним: "Наша сила в том, что мы и Булгакова заставили работать на себя".)

Сразу же после рассуждений о Голованове следует: "Или, например, "Бег" Булгакова /.../ "Бег", в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки "Бега", если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять /.../ что большевики /.../ осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно"²³.

М. Чудакова отмечает, что письмо Сталина Биль-Белоцерковскому получило широкое распространение в литературных и театральных кругах, хотя и не было напечатано. Знал ли о нем Булгаков? В любом случае, наверняка кто-нибудь указал ему на возможность исправления "Бега". Но как ни дорога была эта пьеса автору, как ни мечтал он увидеть ее на сцене, никаких новых "снов" (действий) к числу написанных он не прибавил. Нет, писатель был далек от того, чтобы "распрощаться со своими ошибками"!

Между тем, не только Сталин, но и злобствующая критика подчеркивала, что еще не все потеряно. "В этом сезоне зритель не увидит булгаковских пьес", - с удовлетворением отмечал рапповец Р. Пикель 15 сентября 1929 г. Но далее - совсем в духе сталинского письма - он продолжает: "Мы не хотим этим сказать, что имя Булгакова вычеркнуто из списка советских драматургов. Талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества. Речь идет только о его прошлых драматургических произведениях. Такой Булгаков не нужен советскому театру"²⁴.

Быть может, призывы критиков (и тех, кто за ними стоял?): "Ударим по булгаковщине!" - и им подобные были не столько карательной, сколько воспитательной мерой: его хотели не уничтожить, а приручить? (Не говорю о субъективных мотивах завистников и конкурентов.)

В заключение следует отметить, что письмо Биль-Белоцерковскому впервые было опубликовано в 1948 году. В одиннадцатом томе собрания сочинений Сталина под письмом значится: "Печатается впервые". Почему? Почему в пору новых идеологических карательных акций Сталин счел нужным вспомнить писателя, имя которого было предано забвению? Мысли, высказанные в этом письме, в сорок восьмом году утратили свою остроту. И публикация письма, насколько мне помнится, прошла незамеченной. Но, быть может, загубленного мастера не мог забыть тот, кто его загубил?..

* * *

Чувствуя, что его писательский век недолог, что ставить свои пьесы в СССР он не сможет, Булгаков, очевидно, возвращается к мысли об эмиграции. Намерение эмигрировать возникало у него давно, еще в 1921 г., но потом он от этой идеи отказался.

За год до письма Сталина Биль-Белоцерковскому, в середине февраля 1928 г., Булгаков подал заявление в

Моссовет с просьбой разрешить ему выехать за границу. Цель поездки - говорится в заявлении - пресечь пиратские издания его произведений за рубежом, восстановить свои авторские права и в Париже обдумать план постановки "Бега", в ту пору принятого МХАТом.

Печатать на родине Булгакова перестали, его пьесы, шедшие на сцене ("Дни Турбиных", "Зойкина квартира" и "Багровый остров"), подвергались разностной критике, и он понимал безнадежность своего положения. "Вообще упражнения в области изящной словесности, по-видимому, закончились, - писал он о себе Е. Замятину. - /.../ Человек разрушен"²⁵.

Знал ли Сталин о заявлении Булгакова? Неизвестно. Но скорее всего, отказ, последовавший 8 марта 1928 г., был санкционирован свыше. Эмиграция Булгакова не входила в планы генсека (вспомним, что он писал в этой связи о Голованове).

Когда наступил "год катастроф" - год 1929-й, Булгаков повторил ту же просьбу в заявлении, направленном в более высокие инстанции. Он обращается лично к Сталину, Калинин, начальнику Главискусства Свидерскому и к Горькому. Этот документ резко отличается от первого, сугубо официального прошения, адресованного в Моссовет. Меняется стиль, интонация, выставляются другие мотивы. Писатель не столько просит, сколько негодует, обвиняет, требует. И даже не пытается доказать свою лояльность, тем более - приверженность существующему строю. Лейтмотивом письма является тема *запрета* и тема *отказа*. Эти два слова нарочито повторяются как некий рефрен. За десять лет литературной деятельности все им созданное - *запрещено!* О чем бы он ни просил, результат один: "Я получил отказ"!

Негодование слышится в его словах о критиках: "...чем большую известность приобретало мое имя в СССР и за границей, тем яростнее становились отзывы прессы, принимавшие наконец характер *неистовой брани*. Все мои произведения получили *чудовищные*, неблагоприятные отзы-

вы, мое имя *ошельмовано*..."²⁶ Выделенные мною слова свидетельствуют не только о тоне критиков, но и выражают возмущение этим тоном. Просьба, вытекающая из всего вышесказанного, - крик отчаяния и негодования: "...прошу Вашего ходатайства перед Правительством СССР ОБ ИЗГНАНИИ МЕНЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СССР..."²⁷ Как видим, на этот раз Булгаков просит не о временной поездке для устройства своих дел, а об эмиграции.

Те, кому было адресовано письмо (в первую очередь - ТОТ, ибо именно он решал судьбу драматурга), не могли не почувствовать непримиримый дух этого документа. Со страниц его вставал образ человека гордого, отчаянно смелого и не способного на компромиссы. Думается, именно теперь смог Сталин познакомиться с автором "Дней Турбиных" как с человеком.

Дневник писатель вел для себя, тайно выражал в нем сокровенные мысли. Здесь же он открыто заговорил с правительством, и заговорил на равных. Тираны презируют рабов и невольно уважают сильных духом, независимых, смелых людей. Недаром Сталину так нравился Алексей Турбин!

Однако заявление Булгакова осталось без ответа. Ни один из адресатов на него не откликнулся. 24 августа того же года Булгаков посылает брату Николаю (повторяю: белоэмигранту!) отчаянное письмо, то ли не думая о перлюстрации, то ли рассчитывая на нее: "В 1929 г. совершилось мое писательское уничтожение. Я сделал последнее усилие и подал Правительству СССР заявление /.../ В сердце у меня надежды нет /.../ В случае, если мое заявление будет отклонено, игру можно считать оконченной /.../ Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели это лишь вопрос срока..."²⁸

* * *

Нет, игра еще не окончилась и до конца было далеко...

"Год катастрофы" стал знаменательным в писательской жизни Булгакова. Именно в этом году, когда на него посыпались запреты и отказы, когда он восклицал: "Не могу больше писать!" - Булгаков задумался над темой, которая сделалась центральной в его творчестве. Героями его отныне становятся художники, неизбежно вступающие в конфликт с тиранией. Мысль о непобедимой силе творческого духа, о бессмертии мастера ("рукописи не горят!"), о бессилии всемогущих деспотов перед истинным гением, о его трагической личной судьбе и конечной победе, пусть хоть и посмертной, - осветит страницы самых разных творений Булгакова: его пьесы и романы о Мольере, его драмы о Пушкине, незаконченных "Записок покойника", наконец, его Главной Книги - "Мастера и Маргариты". М. Яншин очень точно сказал о "Мольере": "Булгаков написал пьесу, смысл которой совсем не заключался в скрупулезно точном воспроизведении на сцене жизни великого французского драматурга, исторической обстановки, в которой он жил. Он раскрывал драму художника, его борьбу за свое творчество - это было главное"²⁹.

Примерно то же отметила Елена Сергеевна по поводу более позднего замысла пьесы о Пушкине (начало октября 1934 г.): "Задумав пьесу, Булгаков видел возможность говорить на излюбленную тему о праве писателя на свой, ему одному принадлежащий взгляд на искусство и на жизнь. В исторических пьесах - "Мольер", "Пушкин", "Дон Кихот" - он пользовался прошлым для того, чтобы выразить свое отношение к современной жизни"³⁰. Речь не идет, конечно, о примитивном сведении произведений Булгакова к замаскированным автобиографическим излияниям: мол, в образе тиранов - Людовика XIX или Николая I - он нарисовал Сталина, а в образе Мольера и Пушкина - себя. Речь не идет о прототипах и аллюзиях. Но сама проблема встала перед писателем с особой остротой именно в ту пору, когда он испытал муки художника, зажатого в тиски. В разгар травли, в ситуации, казалось бы, безнадежной создавались первые произведения о гении

и тирании. Тему определили жизненные обстоятельства, но, разрастаясь и углубляясь, она обрела общечеловеческое, философское звучание.

В сентябре 1929 г., когда все его пьесы были сняты, "Бег" запрещен, как и издание сборника фельетонов, Булгаков набрасывает автобиографическую повесть - "Тайному другу" (будущие "Записки покойника" или "Театральный роман"). А 6 декабря заканчивает пьесу о Мольере под названием "Кабала святош". 16 января 1930 г. он сообщает брату: "...В неимоверно трудных условиях второй половины 1929 г. я написал пьесу о Мольере [.../ Мучения с нею продолжаются уже полтора месяца, несмотря на то, что это - Мольер, XVII век [.../ несмотря на то, что современности я в ней никак не затронул"³¹.

В центре пьесы - великий комедиограф и Король-Солнце. На их взаимоотношениях прежде всего лежит печать времени. Отсюда лезть и подобострастие - с одной стороны, уверенность в безграничной силе и непогрешимости - с другой.

Но при всем различии характеров и поведения неизбежно возникает аналогия между положением подневольного автора комедии и его героя. Король, мнящий себя всемогущим властителем и знатоком искусства, поучает "своего" слугу-комедианта: "Я надеюсь, что *мой писатель* не может быть безбожником [.../ Твердо веря в то, что в *дальнейшем ваше творчество пойдет по правильному пути...*" Выделенные мною здесь и далее слова свидетельствуют, насколько глубоко понимал Булгаков свое положение. Они, эти слова, без сомнения, навеяны его взаимоотношениями с всесильным тираном XX века. "Дерзкий актер талантлив [.../ - говорит Людовик. - *Я попробую исправить его, он может служить к славе царствования*"³². "Гениальный вождь и учитель" тоже думал о славе царствования и стремился исправить дерзкого, но талантливого писателя.

Характерно, что Булгаков считает неизбежной как гибель своего героя, так и его конечную победу. Ибо даже

самый могущественный монарх не в силах приручить настоящего Мастера. В тираде Мольера, произнесенной в час катастрофы, прорывается то, что накапливалось годами: "Всю жизнь я ему лизал шпоры и думал только одно: не раздави. И вот все-таки раздавил. Тиран! /.../ Ненавижу королевскую тиранию!" А в последующих словах слышатся явные отголоски гневных заявлений Булгакова, обращенных к Правительству: "Что еще я должен сделать, чтобы доказать, что я червь? Но, ваше величество, я писатель, я мыслю, я, знаете ли, протестую..." Далее - уж и вовсе близкие Булгакову помыслы об эмиграции: "...Сыграю в последний раз и побежим в Англию /.../ Как глупо! На море дует ветер, язык чужой..."

После первого запрета Репертком потребовал изменить заглавие: вместо "Кабала святош" (оно могло вызвать нежелательные ассоциации) пьеса стала называться "Мольер". Это сместило акценты, ибо на первый план выдвигалась биография Мольера, а не трагическая борьба гения за право на творческую свободу. И, быть может, Станиславский хотел поставить чисто музейный спектакль о гениальном художнике прошлого не столько потому, что не понял замысла автора, сколько потому, что слишком хорошо его понял и пытался "обезвредить".

Несмотря на разрешение, полученное в 1931 году, подготовка спектакля длилась годы, но и "обезвреженный" "Мольер" был запрещен после нескольких представлений в 1936 г. Какова роль Сталина в запрещении сперва "Кабалы святош", а потом и "Мольера"? Мы этого, очевидно, никогда не узнаем. Но не исключено, что он познакомился с рукописью пьесы (как и с рукописью "Бега") и убедился: "его" писатель далек от исправления. Однако со свойственным ему фарисейством он сказал по поводу снятия "Мольера": "Что это опять у Булгакова пьесу сняли? Жаль - талантливый автор"³³.

Еще более личный характер носит повествование о судьбе Мольера в романе, написанном в течение 1932-33 гг. по заказу для серии "Жизнь замечательных людей" и от-

вергнутом через месяц после сдачи рукописи. Как и пьеса, роман проникнут историзмом, характеры отражают дух времени и созданы на основе глубокого изучения источников. Но наряду с двумя центральными персонажами - Людовиком XIV и Мольером - появляется рассказчик, в котором нетрудно угадать самого Булгакова. Его-то комментарии, оценки, обращения к читателю и переносят нас из XVII века в XX-й и придают историческому повествованию современное звучание.

Не случайно Горький сказал о романе: "Что и говорить, конечно, талантливо. Но если мы будем печатать такие книги, нам, пожалуй, попадет"³⁴. Неприемлемой оказалась прежде всего фигура рассказчика. Булгаков, однако, отказался ее снять: без нее разрушался весь замысел.

Уже в Прологе рассказчик противопоставляет мнимое и преходящее величие короля подлинной славе бессмертного комедиографа. О судьбе Мольера далее он повествует, подчеркивая сходство со своей судьбой. Говорит о тяжком состоянии драматурга, у которого запретили пьесу; о честной сатире, которая никогда не может быть дозволена властями; о славе, которая "выражается, преимущественно, в безудержной ругани на всех перекрестках". И уж прямой реминисценцией из письма Сталину от 30 мая 1931 г. (о нем - ниже) выглядят следующие строки: "...очевидно, наш герой чувствовал себя как *одинокий волк*, ощущающий за собою дыхание резвых собак на волчьей садке. И на волка навалились дружно..." (Сравните: "Со мной поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе"³⁵.)

Близки Булгакову-рассказчику и настроения его героя: "Если никогда нет ни одной минуты ни удовлетворения, ни радости, то что же тогда? И я хорошо вижу, что мне надо выйти из игры! /.../ Больше не могу бороться с неприятностями".

Легко заметить также сходство между Людовиком и Сталиным, при всем различии деспотов XVII и XX вв. Так, рассказчик говорит о короле: "Он стоял совершенно от-

дельно и незримо выше всех в мире /.../ и держал грансеньеров в своих стальных руках". (Кстати, случаен ли этот эпитет?) Есть сходство и в характерах обоих: "колоссальная выдержка", "мстительный король", коварный и злопамятный (история падения Фуке, например). Даже детали совпадают: оба чрезвычайно любят театр. И главное - угаданное Булгаковым, - то, о чем уже говорилось: король "внимательно следил за деятельностью своего придворного комика..."; "Тень короля стала всем мерещиться за плечами Мольера" - и только это спасало его. Когда же Людовик от Мольера отвернулся, тот погиб. На вопрос же: почему отвернулся - рассказчик с горечью отвечает: "Кто разберет, что происходит в душе властителей мира?"

В романе много говорится о попытках Мольера с помощью неумеренной лести завоевать расположение Людовика. Вот уж в чем не похож был сам автор на своего героя! Другие времена, другие нравы... Но человек иной эпохи, Булгаков меньше всего склонен осуждать комедиографа XVII века. Так, говоря о посвящении "Школы мужей", преисполненном самоуничижения и лести, рассказчик спрашивает: "Как, о мой читатель, вы смотрите на подобные посвящения? Я смотрю так. Прав был Мольер, когда адресовался с посвящениями к королю и его брату. Поступай он иначе, кто знает, не стала ли бы его биография несколько короче, чем она есть теперь?"

* * *

Но вернемся к тому времени, когда была закончена "Кабала святош" и затем отвергнута Главреперткомом 18 марта 1930 года. Незадолго до этого Булгаков писал брату (21 февраля): "По ночам я мучительно напрягаю голову, выдумывая средства к спасению. Но ничего не видно. Кому бы, думаю, еще написать заявление?.." ³⁶ Отсюда следует, что писатель не надеялся на разрешение пьесы о Мольере и запрет не был для него неожиданным. Однако

он послужил толчком для нового, совершенно отчаянного, резкого письма, адресованного уже не персонально Сталину и другим сильным мира сего, а некой безликой силе, именуемой "Правительством СССР".

Документ этот, датированный 28 марта 1930 г., не раз цитировался в работах о Булгакове. Но когда перечитываешь его, каждый раз поражаешься безоглядной смелости автора и находишь какие-то новые, неожиданные нюансы.

Писатель начинает с того, что отвергает самую мысль о каком бы то ни было компромиссе: отвергает советы "сочинить "коммунистическую пьесу" /.../ обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик"³⁷. Он отказывается выступить с подобным "лживым письмом" и обращается к Правительству "с письмом правдивым".

Я всё стараюсь представить себе, как читал этот документ Сталин. И мне кажется, что подозрительного, окруженного лжецами и подхалимами тирана не могла не поразить, быть может, и привлечь смелая речь писателя. А приводимые Булгаковым отзывы прессы о нем должны были вызвать если не сочувствие к автору, то раздражение по адресу ретивых зоилов, ибо они непреднамеренно, конечно, оскорбляли самого генсека. Ни для кого не было секретом, что Сталин не раз смотрел "Дни Турбиных", очевидно, известно было и его письмо Биль-Белоцерковскому. А Булгаков приводит слова критиков, называвших Алексея Турбина "сукиным сыном", саму же пьесу - рассчитанной на "обывателя". Если Сталин и его окружение и натравливали критиков на непокорного драматурга, то те явно пересолили. И "Высокий Читатель" письма не мог этого не заметить.

Но не мог он не почувствовать и враждебной позиции Булгакова. Завершив обзор критической брани, из которого следует: "...произведения Михаила Булгакова в СССР не

могут существовать", - писатель продолжает: "И я заявляю, что пресса СССР СОВЕРШЕННО ПРАВА"³⁸. Да и оценке Главреперткома, который "воспитывает илотов, панегиристов и запуганных "услужующих" /.../ убивает мысль..." - легко было переадресовать выше. Непримирумо звучат заключительные слова: "Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти ни существовала, мой писательский долг, так же как призывы к свободе печати"³⁹. Да за одни эти слова впору было арестовать смутьяна!

Поразительна его автохарактеристика - и по откровенности своей, и по точности. Вот черты его творческого облика, от которых он не намерен отказываться: "черные и мистические краски (я - МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной Великой Эволюции, а самое главное - изображение страшных черт моего народа..." С чувством затаенной гордости писатель утверждает, что по природе своей он сатирик и не намерен изменять призванию, хотя отлично понимает: "сатира в СССР совершенно немыслима", "ВСЯКИЙ САТИРИК В СССР ПОСЯГАЕТ НА СОВЕТСКИЙ СТРОЙ". Завершая свой литературный и в то же время политический портрет, Булгаков добавляет, что ему присуще "упорное изображение русской интеллигенции, как лучшего слоя в нашей стране"⁴⁰. Не кажется ли вам, читатель, что подобный автопортрет ("автодонос"!) в 1930 г. выглядел убийственно: любого другого за него могли упрятать подальше. Булгаков же дерзает повторить просьбу, с которой уже обращался безуспешно к высшим сановникам: "Я ПРОШУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ПРИКАЗАТЬ МНЕ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СССР..." И далее: "Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу"⁴¹.

Можно только гадать, какое решение было бы принято, если бы Булгаков кончил на этом. В июне 1931 г. Е. Замятин подал аналогичную просьбу ("Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжелой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР..."⁴²). И его отпустили. Потому ли, что Замятин ни о чем другом не просил? Или потому, что Сталин относился к нему безразлично, а к Булгакову - с пристрастием?

Уже отмечалось, что в конце своего обращения к Правительству Булгаков сделал ошибочный ход и фактически сыграл в поддавки: "Если же и то, что я написал неубедительно, - завершает он письмо, - и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу..." - кем угодно, вплоть до рабочего сцены⁴³. Такую просьбу легко было удовлетворить: спасти мастера от "нищеты, улицы, гибели", заткнув ему при этом рот. Вольно или невольно, он соглашался на литературную смерть, на пожизненное молчание. Очевидно, Сталин почуял этот просчет: открывалась возможность и впредь душить писателя, чтобы заставить его работать на себя.

Так или иначе, игра вступала в новую фазу: 18 апреля 1930 г., через три недели после того, как было написано письмо, и на другой день после похорон Маяковского Сталин позвонил Булгакову. Что заставило вождя сделать этот далеко не ординарный шаг? Биографы Булгакова связывают звонок генсека с самоубийством Маяковского, которое потрясло общество. Сталин, естественно, мог опасаться, что и доведенный до отчаяния Булгаков пустит себе пулю в лоб. А это не входило в расчеты вождя, да и самоубийство еще одного писателя вызвало бы нежелательный резонанс.

Очевидно, так оно и было. Но, мне кажется, причины, побудившие Сталина вступить в личный контакт с крамольным автором после упорного молчания в ответ на его предыдущие письма, были сложнее и глубже. Быть может,

не во всем даже сам Сталин отдавал себе отчет. Ведь он удостоил своим звонком противника, ни в чем не раскаявшегося, ничего не обещавшего. Если такого человека нельзя было "ку" (купить), то можно было "у" (убить) - создать дело, объявить врагом народа, на худой конец - изгнать за границу. Не таких врагов Сталин уже уничтожил и намерен был уничтожать впредь.

Остается предположить, что личность человека, с такой силой и так прямодушно и смело открывшаяся в письме, привлекла, заморозила вождя теперь еще больше, чем прежде. Хотелось еще померяться с ним силами, продолжить начатую игру. Игру Сталина с Булгаковым уподобляли не раз игре кошки с мышкой. О, нет! Булгаков в глазах Сталина был кем угодно, но только не мышкой! Его вещи интересно было читать и смотреть на сцене; и с ним было интересно играть как с равным партнером. Игра эта стояла свеч!

Не существует точной записи разговора Сталина с Булгаковым. Но, думается, те или иные нюансы не имеют значения. Важен самый факт. Молчание было прервано. И Сам! Сталин! позвонил! Более того. После столь дерзкого письма он говорил с писателем в доброжелательном, дружелюбном тоне. Обнадежил: "Мы ваше письмо получили /.../ Вы будете по нему благоприятный ответ иметь... Может быть, правда, - отпустить вас за границу?" Пошутил милостиво: "Что - мы вам очень надоели?"⁴⁴

Тут неизбежно возникает вопрос: а если бы Булгаков повторил просьбу - отпустить? Можно ли было верить коварным посулам Сталина? Сам Булгаков не раз потом будет жалеть, что не ответил утвердительно. Позже, в 1937 году, уже упоминавшийся Доброницкий спросил писателя: "А вы жалеете, что в вашем разговоре 1930-го года со Сталиным вы не сказали, что хотите уехать?" На что последовал резкий ответ: "Это я вас могу спросить, жалеть мне или нет. Если вы говорите, что писатели немеют на чужбине, то мне не все ли равно, где быть немым - на родине или на чужбине?"⁴⁵

Но так он скажет позже, пережив новую катастрофу и ряд разочарований. Сейчас же, 18 апреля 1930 г., на заставший его врасплох вопрос Сталина Булгаков ответил вполне искренне: "Я очень много думал в последнее время - может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может". Как же так? Просил изгнать его немедленно и вдруг - такие слова? Но он, действительно, так думал. Не случайно же в уста Мольера он вложил горькие мысли о вынужденном бегстве в Англию.

И еще: теперь, когда ему позвонил сам Сталин, не только робость навалилась, но и вспыхнула надежда: отныне все может пойти по-другому. Для того, чтобы понять Булгакова, надо отчетливо себе представить, что значил звонок Сталина и каким это было потрясением. Когда через четыре года раздался звонок генсека в квартире Пастернака, поэт был настолько растерян, что даже не пытался защитить Мандельштама, за которого до этого хлопотал, и не подтвердил слов Сталина: "Ведь он же мастер, мастер". Но в те времена мерки были иные, и такие строгие критики, как Анна Ахматова и Надежда Мандельштам, оценили разговор Пастернака со Сталиным "на крепкую четверку"⁴⁶.

Неудивительно, что Булгаков тоже растерялся. И хотя говорил вполне достойно, явно был обведен вокруг пальца хитроумным собеседником. Писатель не только отказался от своей главной просьбы, но ни слова не было сказано и о его литературной судьбе. Он удовлетворился лишь обещанием работы, что и в письме Правительству выглядело, как согласие "на пожизненное молчание".

Впрочем, не забудем о главном: в конце разговора Булгакову была обещана аудиенция! Это казалось самым существенным итогом беседы, и долгое время после нее Булгаков уповал на встречу с генеральным секретарем. В этом обещании, казалось, была вся соль разговора. 7 июня 1946 г. в послании к Сталину Елена Сергеевна, добиваясь разрешения на публикацию произведений покойного мужа, писала: вы "своим телефонным звонком /.../ продлили

жизнь Булгакова на десять лет"⁴⁷. Думаю, что данные слова связаны с жанром письма-прошения. Но если они и сказаны искренне, что это была за жизнь! Ведь телефонный разговор явился первым и последним ответом Сталина на многочисленные обращения Булгакова. Бросил приманку - и замолчал навсегда.

А писатель страстно ждал обещанной встречи. Почему? Верил в поддержку всемогущего генсека? Верил. Верил не только в его могущество, но и в доброе отношение, быть может, и в миф, который многие были одурманены: миф о человечности вождя, о справедливости, которую он способен восстановить.

Вот ведь был такой случай, когда к Булгаковым приехала, обезумевшая от горя Ахматова: в одну ночь арестовали ее сына и мужа (Н. Н. Пунина). Булгаков помог ей составить письмо Сталину, вместе с Еленой Сергеевной она отнесла это письмо в Кремль, и через несколько дней арестованные были освобождены. Если не верил Булгаков в добрую волю Сталина, почему столь страстно ждал аудиенции и сокрушался, так и не получив ее?!

В июле 1931 г., когда надежда окончательно рухнула, Булгаков писал В. В. Вересаеву: "Есть у меня мучительное несчастье. Это то, что не состоялся мой разговор с генсеком. Это ужас и черный гроб /.../ Год я ломал голову, стараясь сообразить, что случилось /.../ Ведь он же хотел принять меня?"⁴⁸ Булгаков рассматривает разные версии, объясняющие, почему не состоялась встреча. Кто-то сказал, что у него есть опасный враг. Но он думает, что главный враг - он сам, его герои, его произведения. Сторонники другой точки зрения считают: "...я нахожусь под непрерывным и внимательнейшим наблюдением, при коем учитывается каждая моя строчка, мысль, фраза, шаг". Но, говорят сторонники этой версии: "Пишете Вы Бог знает что и поэтому должны перегореть в горниле лишений и неприятностей, а когда окончательно перегорите, тут-то и выйдет из-под Вашего пера хвала"⁴⁹.

Тот, кто так говорил; конечно, как в воду смотрел.

Булгакову же казалось, что его личность и творчество никому не интересны. Впрочем, он тут же себе возражает: и это неверно! "Потому что в самое время отчаяния, нарушив его, по счастью мне позвонил генеральный секретарь год с лишним назад. Поверьте моему вкусу: он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно. В сердце писателя зажглась надежда: оставался один шаг - увидеть его и узнать судьбу /.../ Но упала глухая пелена. Прошел год с лишним. Писать вновь письмо, уж конечно, нельзя"⁵⁰.

Тем не менее, мучимый казнью молчания, он пытался в начале тридцать первого года набросать письмо лично Сталину, предпослав ему два эпиграфа из Некрасова. Первый: "О, муза! Наша песня спета..." - выражал полное отчаяние. Другой - надежду: "И музе возвращу я голос, / И вновь блаженные часы / Ты обретишь, сбирая колос / С своей несжатой полосы". Смысл очевиден: жизнь или смерть - все зависит от Вас! Отсюда и отчаянная фраза: "...мне хочется просить Вас стать моим первым читателем"⁵¹. Не случайно именно на этом обрывается письмо: уж очень явной была ассоциация с Пушкиным и Николаем I!

Вересаеву же Булгаков сообщает о другом письме Сталину, которое он все-таки отправил весной 1931 года: "Составлять его было мучительно трудно. В отношении к генеральному секретарю возможно только одно - правда и серьезная /.../ я старался все передать, чем был пронизан. Но поток потух. Ответа не было. Сейчас чувство мрачное"⁵².

В письме к Сталину от 30 мая 1931 г. Булгаков возвращается к старой просьбе: разрешить заграничную поездку. Вначале цитируется Гоголь: его слова о сатире, о высокой миссии художника и о потребности взглянуть на Россию издали из чужих краев... А далее повторяются упреки, прозвучавшие в письме Правительству, и еще более откровенные признания. "На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк,

- пишет Булгаков (помните, этот образ повторится позже в романе о Мольере). - Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженный ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе. Злобы я не имею, но я очень устал и в конце 1929 г. свалился. Ведь и зверь может устать"⁵³.

Главным кажется мне в этом послании - отречение от ошибки, допущенной в письме Правительству и в разговоре со Сталиным: "Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие. Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит был не настоящий. А если настоящий замолчал - погибнет. Причина моей болезни - многолетняя затравленность, а затем молчание"⁵⁴.

На этот раз речь идет о поездке за границу лишь на три месяца. Вряд ли Булгаков обманывал Сталина и на самом деле хотел эмигрировать. Не такой он был человек, да к тому же в СССР оставались в качестве заложников сыновья Елены Сергеевны. Ему морально была необходима поездка за рубеж прежде всего для того, чтобы почувствовать себя не арестантом, не узником, а свободным человеком.

Сокровенная же суть обращения к Сталину была в другом: "Но заканчивая письмо, хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность (значит, и поэтому! - *М. III.*), а потому, что Ваш разговор с мною по телефону в апреле 1930 г. оставил резкую черту в моей памяти. Вы сказали: "Может быть, вам, действительно, нужно ехать за границу..." Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР"⁵⁵.

Быть может, потому встреча была столь желанной, что

Булгаков хотел говорить о праве печататься, ставить свои пьесы? И именно поэтому Сталин от такой встречи уклонялся? Позже Елена Сергеевна вспоминала (запись от 4 января 1956 г.): "Но встречи не было. И всю жизнь М. А. задавал мне один и тот же вопрос: почему Сталин раздумал? И всегда я отвечала одно и то же: А о чем он мог бы с тобой говорить? Ведь он прекрасно понимал после того твоего письма, что разговор будет не о квартире, не о деньгах - разговор пойдет о свободе слова, о цензуре, о возможности художнику писать о том, что его интересует. А что он будет отвечать на это?"⁵⁶

Права была и Ольга Бокшанская - сестра Елены Сергеевны и секретарь В. И. Немировича-Данченко. Она так объяснила очередной отказ в заграничной поездке: "С какой стати Маке должны дать паспорт? Дают таким писателям, которые заведомо напишут книгу, нужную для Союза. А разве Мака показал чем-нибудь после звонка Сталина, что он изменил свои взгляды?"⁵⁷ Верно. Ничем не показал. В такой ситуации встреча никак не входила в план игры, затеянной генсеком. И на письмо от 30 мая 1931 г. отвечать было нечего. Ни отпускать Булгакова за границу, ни встречаться с ним вождь не хотел. Игра продолжалась, но обе стороны оставались на прежних позициях.

* * *

Возможно, косвенным ответом-приманкой было последовавшее 3 октября того же года разрешение ставить "Мольера", а в середине января 1932-го - возобновление "Дней Турбиных", запрещенных в "год катастрофы" 1929-й.

Писатель Ю. Л. Слезкин записал в дневнике 21 февраля 1932 г.: "На просмотре "Страха" [Афиногенова] присутствовал хозяин. "Страх" ему будто бы не понравился и в разговоре с представителями театра он заметил: "Вот у вас хорошая пьеса - "Дни Турбиных" - почему она не

идет?" Ему смущенно ответили, что она запрещена (Будто бы сам Сталин этого не знал! - М. III.). "Вздор, - возразил он, - хорошая пьеса, ее нужно ставить, ставьте". И в десятидневный срок было дано распоряжение восстановить постановку"⁵⁸. Есть и несколько иные версии этого события. Но так или иначе, "Дни Турбиных" возобновили.

Реакция Булгакова была двойственной. "15 января мне позвонили из Театра и сообщили, что "Дни Турбиных" срочно возобновляются, - пишет он П. С. Попову. - Мне неприятно признаться: сообщение меня раздавило. Мне стало физически плохо. Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска. Сердце, сердце!"⁵⁹ Такая реакция вполне объяснима. Булгаков понимал свое положение: судьба его зависела от каприза одного человека! Тем не менее, он заключает: "Для автора этой пьесы это значит, что ему - автору возвращена часть его жизни. Вот и всё"⁶⁰.

Заметим: не жизнь, а лишь часть жизни... Жизнь же по-прежнему преподносит сюрпризы. Разрешенный Реперткомом "Мольер" запрещен в Ленинграде из-за происков Вс. Вишневского. Но столь ли уж силен был этот злейший враг Булгакова? Почему худполитсовет Большого Драматического театра так испугала злобная замечка Вишневского? Не потому ли, что имя Булгакова оставалось одиозным?

Сообщая Вересаеву в письме от 15 марта 1932 г. о запрещении "Мольера" в Ленинграде, Булгаков говорит о бесполезности своих сражений с ветряными мельницами: "Это нелепое занятие. Я стар". А далее следуют знаменательные слова, смысл которых особенно ясен в свете того, о чем говорилось выше: "...мысль, что кто-нибудь со стороны посмотрит холодными и сильными глазами, засмеется и скажет: "Ну-ну, побарахтайся, побарахтайся"... Нет, нет, невыносимо! Сознание своего полного, ослепительного бессилия нужно хранить про себя"⁶¹.

Не было для Булгакова загадкой, кто этот обладатель "холодных и сильных глаз", кто ведет с ним игру с позиций силы. Об этом же говорит и один существенный штрих. Елена Сергеевна рассказывала М. Чудаковой, что

ария Кончака из оперы Бородина "Князь Игорь" "всегда бесконечно волновала его (Булгакова) /.../ Слушая ее, он бледнел, сжимал мою руку..."⁶² Слова этой арии помогают понять настроение подневольного писателя. Обращаясь к своему пленнику, хан поет: "Я грозою для всех был всегда /.../ все боятся меня, все трепещут кругом... Но ты меня не боялся /.../ Ах, не врагом бы твоим /.../ а другом надежным /.../ мне хотелось бы быть..."⁶³ Да, "холодные и сильные глаза" неизменно следили за пленником-писателем в надежде превратить его в друга-одописца!

Есть все основания полагать, что лица, подсылавшиеся к Булгакову, были эмиссарами если не "лично товарища Сталина", то его клевретов, которым было поручено следить за писателем. И вождь был в курсе всех дел своего пленника. Выше уже приводились имена таких типов, как Жуховицкий или Доброницкий. Вот еще несколько фактов из числа многих аналогичных (о них рассказано в дневнике Елены Сергеевны).

7 апреля 1937 г.: "Звонок из ЦК Анчарова /.../ хочет указать М. А. правильную стезю /.../ его хотят заставить писать так, как он не будет писать"⁶⁴.

25 июня того же года явился Жуховицкий. "Начал он с речей, явно внушенных ему, - с угрозы, что снимут "Турбиных", если М. А. не напишет агитационной пьесы"⁶⁵.

А вот уж совсем таинственная история. 27 сентября 1937 г.: "Удивительный звонок Смирнова: нужен экземпляр "Бега". Для кого, кто спрашивает? - Говорит, что по телефону сказать не может"⁶⁶. В МХАТе тоже не знают, от кого исходит просьба. А Смирнов упорно молчит. 3 октября, приехав за "Бегом", он "вошел, не снимая пальто, явно боясь расспросов. Расспрашивать не стали. Он успокоился /.../ Загадка"⁶⁷.

Некоторый свет на подобные загадки бросает история с оперой "Минин и Пожарский", музыку к которой писал Борис Асафьев, а либретто - Булгаков. Из одного письма Асафьева известно, что работой над оперой интересовался сам Сталин. В январе 1938 г. к композитору обратился

главный дирижер Большого театра: "Где "Минин"? Вы что, шутки шутите? Вы знаете, кто трижды справлялся об этой опере? (Было названо очень яркое имя)". Асафьев ответил: "Очень рад, что об опере моей справлялось всем дорогое нам лицо"⁶⁸.

В связи с историей со Смирновым Елена Сергеевна замечает: "Какая-то новая манера воздействия на М. А."⁶⁹. Она не пишет, кто пытается оказывать это воздействие (в своих дневниках Елена Сергеевна вообще крайне осторожна), но явно догадывается, от кого исходят таинственные сигналы. Мы не ошибемся, сделав вывод: за теми, кто следил за Булгаковым, кто пытался на него воздействовать, стоял вождь. Щупальцы спрута протягивались далеко и во все стороны.

* * *

Думается, Булгаков все яснее и яснее понимал, что представляет собою Сталин. Развеиваются надежды на какие-либо личные контакты. После майского письма 1931 г. наступает долгий перерыв. Лишь 10 июня 1934 г. писатель вновь обращается к генсеку. Поводом послужила странная история, когда неожиданно Булгакова и его жену вызвали по телефону в Иностранный отдел Мосгубисполкома для получения заграничных паспортов и сообщили при этом: "Относительно вас есть распоряжение. Вы сами понимаете, я не могу сказать вам, чье это распоряжение", - предупредил чиновник. Но через некоторое время последовал отказ. И вот тут-то Булгаков решил обратиться к Сталину. Тон письма на сей раз совершенно иной: ни доверительных интонаций, ни откровенных признаний, лишь возмущение и просьба восстановить справедливость. Ответом, как и следовало ожидать, было молчание. Не свидетельствует ли оно о причастности высокого адресата к этой издевательской "шутке"? И не явилась ли эта "шутка" одним из приемов, коими изобиловала тактика Сталина в его игре с писателем?

Больше прошений о себе Булгаков не писал. Даже в роковом для него 36-м году, когда все его новые пьесы выпали из репертуара и он ушел из МХАТа, превратившись из драматурга в либреттиста и литературного консультанта оперного театра, он не счел возможным обратиться к Сталину. Но характерно: в семье Булгаковых о Сталине все время помнят, думают, разговаривают. В дневнике Елены Сергеевны сообщается, что 28 ноября 1934 г. вождь был с Кировым на "Днях Турбиных" (а 1 декабря Кирова убили); 7 ноября 35-го года Булгаков видел Сталина на демонстрации. Рассказывается об овациях, устроенных Сталину на спектакле в Большом театре, на открытии Съезда Советов в 36-м году.

И вдруг, неожиданно, в записи от 6 февраля 1936 г. - до катастрофы, напротив, в период надежд на постановку новых пьес - "Пушкина" у вахтанговцев, "Ивана Васильевича" в Театре Сатиры, после первой генеральной репетиции "Мольера", которая прошла с огромным успехом, - Елена Сергеевна сообщает: "М. А. окончательно решил писать пьесу о Сталине"⁷⁰.

Мы еще вернемся к этому решению. Но сразу же подчеркну: оно возникло в пору надежд, а не в минуту отчаяния. И другое: оно возникло в пору, когда разворачивалась травля других. Представляется весьма симптоматичным, что незадолго до записи о замысле новой пьесы 28 января Елена Сергеевна пишет о статье "Сумбур вместо музыки", разгромившей оперу Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда". А одновременно с сообщением о замысле будущего "Батума" говорится под той же датой и о разгромной статье, направленной против балета Шостаковича "Светлый ручей" ("Балетная фальшь"). Как известно, с похода против композитора началась травля других деятелей искусства. И в дневнике Елены Сергеевны появляются записи такого рода: "...В "Правде" одна статья за другой, один за другим летят вверх тормашками"⁷¹. Разнос булгаковского "Мольера" вписывается в общую картину побоища.

18 февраля в ответ на вопрос о дальнейших замыслах Булгаков повторил директору МХАТа: "...единственная тема, которая его сейчас интересует, это о Сталине"⁷². Но то же он скажет и позже, 16 марта, в беседе с председателем Комитета по делам искусств Керженцевым, хотя беседа состоялась уже после того, как в "Правде" от 9 марта появилась редакционная статья о "Мольере" "Внешний блеск и фальшивое содержание" и все новые булгаковские постановки были сняты.

Больше вплоть до 1939 г. в дневнике Елены Сергеевны замысел пьесы о Сталине не упоминается. Преобладают записи такого рода: "Мучительные мысли у М. А. - ему нельзя работать"; "Разговариваем о своей страшной жизни, читаем газеты..."⁷³ Последняя запись (от 22 ноября) свидетельствует, что Булгаков связывал свою личную трагедию с тем, что творилось в стране (многозначие в конце намекает на события, о которых прямо говорить было опасно).

Теперь Булгаков возвращается к работе над "Записками покойника", замысел которых созрел в год первой катастрофы. Само название говорит об обреченности, о безнадежной судьбе мастера в советских условиях. И чарующий юмор, блистательные сатирические пассажи лишь усиливают трагизм всего повествования.

Начиная со 2 мая 1937 г., снова возникает мысль о письме Сталину. Елена Сергеевна записывает: "М. А. твердо решил писать письмо о своей писательской судьбе. Дальше так жить нельзя"⁷⁴. 12 мая: "М. А. сидит над письмом Сталину". (Быть может, побуждают сделать такой шаг благоприятные слухи, например: Сталин-де настаивает на том, чтобы везти "Дни Турбиных" на гастроли в Париж). Однако 5 октября 1937 г. появляется запись: "Надо писать письмо наверх. Но это страшно"⁷⁵. Раньше Булгаков бесстрастно писал Сталину. Но теперь, видимо, иллюзии развеялись, и он понял, что играет с огнем.

И все же 4 февраля 1938 г. он пишет Сталину письмо! Последнее. Но не о себе, а о драматурге Николае Эрммане,

который после трехлетней сибирской ссылки хотел вернуться в Москву. Булгаков просит генсека разрешить талантливому писателю "беспрепятственно трудиться в литературе". Я ни минуты не сомневаюсь в его искреннем желании помочь другу. Смелость Булгакова поражает. Но хотел он того или нет, в письме его между строк прозвучало напоминание и о своей участи, и горький упрек. Иронией проникнуты слова: "Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычайно ценны в нашем отечестве..."⁷⁶ Мог ли на самом деле питать подобную уверенность затравленный мастер?! Таково последнее его обращение к Сталину. Само собой разумеется, и оно осталось без ответа. Участь Эрдмана не изменилась.

* * *

Сталин перестает быть адресатом Булгакова, писатель теперь уже не ищет с ним контактов. Сталин становится - его персонажем! 16 января 1939 года Елена Сергеевна записывает: "Миша взялся, после долгого перерыва, за пьесу о Сталине"⁷⁷.

Среди исследователей нет единого мнения об этой вещи и о мотивах, побудивших Булгакова ее написать. Преобладает стремление "оправдать" Булгакова. Так, Э. Проффер, не исключая чисто практических побуждений, считает главным мотивом следующий: "...личности тиранов увлекали его /.../ наверное, Сталин интересовал его в том же плане, что и Людовик XIV или Николай I"⁷⁸. Споры нет, личность Сталина не могла не интересовать писателя. Но скорее всего, интерес к его личности и пробудил интерес к другим тиранам. Вряд ли образ молодого Джугашвили, созданный Булгаковым - образ романтический и героический, - как-то связан с этим интересом. Булгаков не мог не понимать, что в подцензурной пьесе нельзя глубоко и правдиво изобразить становление личности будущего вождя. Права М. Чудакова, которая пишет, что сам по себе

центральный образ революционера без страха и упрека противоречит отношению Булгакова к революции, о котором он говорил в письме Правительству⁷⁹. Уже одно то, что в "Батуме" отразилась положительная оценка революции, было компромиссом.

Другая трактовка "Батума" дана в работах Анатолия Смелянского и Мирона Петровского⁸⁰. Они усмотрели в пьесе скрытые намеки, придающие зловещий характер образу Сталина, и пришли к выводу, что Булгаков спрятал шипы в лавровом венке. Однако, по свидетельству С. Ермолинского, Булгаков всегда отрицательно относился к "якобы смелым злободневным намекам /.../ Он называл это "подкусыванием Советской власти под одеялом". Такому фрондерству он был до брезгливости чужд" ...⁸¹. И это подтверждается всем его творчеством.

Да было бы просто нелепо выступать с пьесой о "Великом Вожде" (и уже тем самым идти на компромисс!), а под шумок прятать в ней выпады. Если автор рассчитывал, что намеки пройдут незамеченными - зачем было вводить их в текст и вести рискованную (да к тому же и не очень честную) игру? Если рассчитывал, что хоть кто-то их заметит - зачем было ставить под удар не только себя, свою жену, но и театр? Он знал, как бдительно относится цензура ко всем его вещам. Елена Сергеевна рассказывает о мытарствах такой невинной комедии, как "Иван Васильевич": "Пять человек в Реперткоме читали пьесу, всё искали, нет ли в ней чего подозрительного? Ничего не нашли". После этого еще один ответственный цензор взялся за работу: "Сперва искал в пьесе вредную идею. Не найдя, расстроился от мысли, что в ней никакой идеи нет. Сказал: "Вот если бы такую комедию написал, скажем, Афиногенов, мы бы подняли на щит... Но Булгаков!..."⁸² Можно себе представить, как читали цензоры "Батум". И никто ничего не заметил? Не потому ли, что замечать было нечего? Об этом свидетельствует общий контекст пьесы. Если же ректор семинарии, исключая Джугашвили, в торжественной речи упоминает злого духа, а тюремщик ругает Сталина: "Демон проклятый!" - это не значит, что автор видит в герое Антихриста.

"Батум" прошел легко и быстро через все инстанции. Но почему же Сталин наложил на спектакль вето? Неужели он сумел разгадать намеки, для расшифровки которых потребовались изощренные изыскания литературоведов (кстати, нередко вольно обращающихся с текстом)? Но в таком случае Сталин, действительно, был "корифеем всех наук".

Дело явно в другом. Ведь Сталин ждал от Булгакова "хвалы", давно ее добивался. Но, видимо, в этой "хвале" что-то его не устраивало. Что?

Мотивы запрета приводятся разные. "Нельзя такое лицо, как И. В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова"⁸³. Елена Сергеевна цитирует и такую мотивировку: "Все дети и все молодые люди одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом Сталине"⁸⁴.

Не в этом ли слове "одинаковы" кроется объяснение запрета? О молодом Сталине писали и до Булгакова, но рисовали его особенным, гениальным. Автор же "Батума" придал ему обыкновенные человеческие черты. Он не прочь выпить, верит предсказаниям цыганки, кажется жалким, когда на глазах у зрительного зала его избивают. О нем говорят, что наружность его "никакого впечатления не производит". В сцене демонстрации обращение "Пастыря" к народу, прерывается разудалой солдатской песней, и это снижает пафос всей сцены.

Никто из панегиристов Сталина так не писал о нем. 1 января 1936 г. в "Известиях" были напечатаны стихи Бориса Пастернака, где о вожде говорилось: "А в те же дни на расстоянии, / За древней каменной стеной / Живет не человек - деянье, / Поступок ростом с шар земной". И далее: "Столетия так к нему привыкли, / Как к бою башни вековой..." И позже его образу приписывались сверхчеловеческие черты, вневременные и космические масштабы. Анна Ахматова в цикле "Слава миру" (1950) говорила о нем устами народа: "...где Сталин, там свобода, / Мир и величие земли". Леонидзе восклицал: "Ты высоко вознесся

над миром!" Джамбул Джабаев называл его "гением мира". Расхожим стало выражение: "Гений всех времен и народов".

В отличие от других, Булгаков стремился изобразить живого человека. И именно это привлекало его первых слушателей. В общем-то слабая, вымученная пьеса казалась им замечательной, оригинальной, так как она была непохожа на другие вещи о Сталине. Роль Джугашвили представлялась настоящей, не такой, как у всех. Н. Хмелев мечтал сыграть ее, так как считал, что булгаковская трактовка темы может перевернуть все вверх дном (об этом пишет в дневниках Елена Сергеевна).

Сотрудник литературной части МХАТа В. Виленкин вспоминает, что театр не случайно обратился к автору "Дней Турбиных" с предложением написать насущно необходимую для репертуара пьесу о Сталине: "Тем, что подобная тема предлагалась именно Булгакову, заранее определялась ее тональность: никакой лакировки, никакой спекуляции, никаких фимиамов; драматический пафос может родиться из правды подлинного материала".

Характерна история с заглавием пьесы. По словам Е. Булгаковой, директор МХАТа хотел придать названию сугубо политическое звучание. Драматург же отбросил высокопарные заглавия: "Бессмертие", "Рождение славы", "Комета зажглась" и т. п. И выбрал простое - "Батум", указывающее даже не на героя событий, не на их всемирно-историческое значение, а всего лишь на небольшой город, где они происходили. Это звучало полемически по отношению к уже сложившейся традиции. Булгаков взялся *изобразить* молодого Джугашвили, но не хотел *воспевать* Сталина. А вождь ждал хвалы!

Немаловажным представляется и такой факт. Булгаков приступил к работе над пьесой через три года после того, как родился ее замысел. В течение этих трех лет он работал литературным консультантом в Большом театре и писал оперные либретто, твердо решив отказаться от поприща драматурга. Он надеялся, очевидно, что работа либреттиста избавит его от необходимости писать пьесу

конъюнктурного характера (никакая другая не могла увидеть свет рампы, в этом он убедился). Но, увы, и как либреттист писатель не обрел свободы. Пришлось не только написать либретто оперы "Черное море" (о взятии красными Перекопа), но и сюжеты на темы из далекого прошлого ("Минин и Пожарский", "Петр Великий") приспособлять к концепциям советских историков. Однако, даже идя на компромиссы в этом второстепенном для него жанре, Булгаков не добился никакого успеха⁸⁶. И вот, убедившись в невозможности найти иной выход, он вернулся к замыслу трехлетней давности.

Судя по воспоминаниям современников и по дневнику жены, работа над "Батумом" давалась Булгакову не легко. И шла она на фоне все тех же тяжелых размышлений о его дальнейшей судьбе. Вот, например, одна из записей Елены Сергеевны, сделанная в начале этой работы (в ночь с 17 на 18 февраля 1939 г.): "...продолжение тяжелых разговоров о нестерпимом Мишином положении, о том, что делать?" Или запись от 5 июня в разгар работы: "...пришла Ольга - знаменитый разговор о Мишином положении и о пьесе о Сталине"⁸⁷. Тут - прямая связь между пьесой и судьбой писателя.

Будем смотреть правде в глаза. Незадолго до смерти (как врач, он знал, что она не за горами, даже год указывал - 1939-й), мучительно размышляя о судьбе вдовы, о судьбе своего любимого детища - романа "Мастер и Маргарита", уже почти законченного, Булгаков вернулся к отчаянной мысли, которая пришла ему в голову еще в тридцать шестом году - в поисках спасения. Но хвала не вышла из-под пера Булгакова. И у Сталина не было оснований праздновать победу!

* * *

С. Ермолинский вспоминал об эпохе создания "Батума": "...все ближайшее будущее страны - и собственная

жизнь и жизнь каждого - зависела, и с каждым дыханием все больше, от этого всемогущего человека. Он выросстал, как сила громадная, подавляющая. Можно ли было не думать об этом?"⁸⁸ Булгаков об этом думал, но мысли такого рода воплотились не в "Батуме", а в устной сатирической новелле о Сталине и о самом писателе, созданной примерно в 36-м году, и в неосуществленной пьесе "Ричард Первый", замысел которой созрел одновременно с работой над "Батумом". Мне кажется, булгаковеды не обратили должного внимания на эти вещи, где выражено истинное отношение писателя к вождю.

Известно, что Булгаков был мастером устного рассказа. Один из них - о Сталине - до нас дошел в двух вариантах: в записи К. Паустовского и в записи Елены Сергеевны. Между обеими версиями - существенная разница. И дело тут не только в том, что различным было восприятие записавших рассказ, но и в том, что Булгаков всегда варьировал свои устные новеллы. Существенно и то, что при всем различии обеих записей, образ Сталина в них явно отрицательный. Никак не могу согласиться с замечанием Паустовского: "И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен, даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя"⁸⁹.

В обоих вариантах главное в образе Сталина совпадает: он деспот, он всем внушает тотальный страх, грубо обращается со своими временщиками. Что касается дружбы с Булгаковым, это лишь каприз вздорного скучающего тирана. В записи Паустовского он жалуется: "Понимаешь, Миша, все кричат: гениальный, гениальный! А не с кем даже коньяку выпить!" Но человечности нет в нем ни на грош: узнав, что директор МХАТа умер от страха, когда генсек позвал его к телефону, Сталин усмехается: "Скажи, пожалуйста, какой нервный народ пошел! Пошутить нельзя!"

Более целостной и глубокой представляется версия, записанная Еленой Сергеевной. Прежде всего, здесь острее

самоирония. Ведь в устной новелле рисуется встреча с вождем, о которой так долго и так страстно мечтал писатель. Но каким жалким изображает он себя! Характерно, что Сталин называет его "мой писатель". Он же предстает перед генсеком оборванный, босой, а попав в милость, говорит тоном Иванушки-дурачка: "Да хыть бы годика через три..."; "Мне в Киев надоть бы поехать недельки бы на три"⁹⁰.

В версии Елены Сергеевны острее рисуется фарисейство вождя, его всемогущество и презрение к окружающим. Замечательно сатирическое изображение "коллегиального" совещания по поводу оперы "Леди Макбет Мценского уезда". (У Паустовского этот эпизод отсутствует.) "Я не люблю давить на чужие мнения, - открывает Сталин совещание, - я не буду говорить, что, по-моему, это какофония, сумбур в музыке, а попрошу товарищей высказать совершенно самостоятельно свои мнения". После этого Ворошилов бормочет: "Так что, вашество, я думаю, что это - сумбур". Молотов заикается: "Я, вваше ввеличество, ддумаю, что это ккакофония". К Кагановичу Сталин обращается: "Ну, а что думает наш сионист по этому поводу?" И слышит: "...это какофония и сумбур вместе". И лишь Буденный выражает оригинальное мнение: "Рубать их всех надо!" В заключение вождь заявляет: "Очень хорошо прошло коллегиальное совещание". А наутро в "Правде" появляется статья "Сумбур вместо музыки".

В новелле раскрывается и антисемитизм Сталина: Кагановичу он все время напоминает о его национальности ("брось свои еврейские штучки" и т. п.). Сильнее рисуется ужас, внушаемый Сталиным окружающим. Кто падает в обморок от его грозного тона, кто шатается. Шостакович появляется на премьере "белый, трясущийся". Холуй же Сталина вызывают в памяти стихи Мандельштама: "А вокруг него сброд тонкошеих вождей, / Он играет услугами полулюдей. / Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, / Он один лишь бабачит и тычет".

Таков образ "кремлевского горца" в устной новелле

Булгакова, которую он рассказывал примерно тогда, когда задумал писать пьесу о Сталине. (Напомню, что в дневнике Елены Сергеевны об этом замысле записано вскоре после разгрома "Леди Макбет Мценского уезда".) Современники замечают: из забавных устных рассказов Булгакова о МХАТе рождался "Театральный роман". Что могло родиться из новеллы о Сталине? Уж во всяком случае не "Батум"!

И еще один существенный факт. В период, когда писатель усердно работал над "Батумом", Елена Сергеевна записывает 18 мая 1939 г.: "Миша задумал пьесу ("Ричард Первый"). Рассказывал - удивительно интересно, чисто "булгаковская пьеса" задумана"⁹¹. Есть две записи неосуществленного замысла: одна принадлежит Елене Сергеевне, которой Булгаков не раз рассказывал содержание пьесы; другая - с ее же слов - сделана П. С. Поповым. Но, несмотря на некоторые расхождения, основная фабула и суть замысла идентичны в обеих записях.

Бедствующий писатель, доведенный до отчаяния, решает прибегнуть к покровительству всесильного временщика Ричарда и становится преуспевающим. (Не появилось ли имя Ричард по ассоциации с другим тезкой английских королей и героев шекспировских хроник - Генрихом Ягодой?) Однако Ричард уличен в измене, и писатель лишается всех благ, которых достиг путем унижения и сделки с совестью.

В обоих вариантах знаменательна сцена со Сталиным, в которой Ричард разоблачен: Сталин подслушал его разговор о бегстве за границу. В записи Елены Сергеевны: "Внезапно в темноте /.../ загорается огонек от спички. Раздается голос: "Ричард!" Ричард в ужасе узнает этот голос. У того - трубка в руках. Короткий диалог, из которого Ричард не может понять - был ли этот человек с трубкой и раньше в саду? - "Ричард, у тебя револьвер при себе?" - "Да". - "Дай мне". - Ричард дает. Человек с трубкой держит некоторое время револьвер на ладони. Потом медленно говорит: "Возьми. Он может тебе пригодиться". Ухо-

дит"⁹². В следующей картине - известие об аресте Ричарда и его самоубийстве.

Немного иначе - у Попова: "Сталин разговаривает с Ричардом самым простым и спокойным тоном и спрашивает: "Покажи свой револьвер, мне что-то мой револьвер не нравится". Всесильный человек дрожащими руками подает ему свой револьвер. Сталин поглядывает на своего собеседника, усмехается и, спокойно передавая револьвер обратно, говорит: "Ну, возьми, это хороший револьвер"⁹³. В обоих вариантах сцены с револьвером - весь Сталин с его выдержкой, коварством, мстительностью и страстью к игре в кошки-мышки.

В пьесе важно и другое: здесь типичная для произведений Булгакова коллизия - сложные взаимоотношения писателя с всесильным человеком. Но они оборачиваются по-иному, ибо образ писателя - меняется. Елена Сергеевна в своей записи отметила: "Писатель - типа В.". Вишневого? Или другого конъюнктурщика? Неважно. Знаменательна сама коллизия и то, что Булгаков снова возвращается к теме писательского долга, чести, независимости, но рисует на сей раз того, кто сдал свои позиции. И такой замысел зреет в пору, когда создавался "Батум"! В нем, в этом замысле, есть какое-то зловещее предчувствие.

В разгар работы над "Батумом", когда кругом все восторгались каждой новой сценой, только о пьесе и говорили, в дневнике Елены Сергеевны появляется такая запись (13 июня 1939 г.): "Настроение у Миши убийственное"⁹⁴. А после запрета "Батума" окончательно сразила Булгакова, очевидно, не столько очередная неудача (немало их уже было!), сколько то, что мучительно давшийся ему шаг ни к чему не привел: некто с "холодными и сильными глазами" не принял его жертвы. Особенно оскорбителен был слух, будто "наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым, как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе"⁹⁵. Он снова размышляет о письме "наверх". Но на это уже нет сил. Да и о чем писать? "У Миши состояние раздавленное, - отмечает Еле-

на Сергеевна 27 августа. - Он говорит - выбит из строя окончательно. Так никогда не было"⁹⁶. Помочь теперь могла только смерть...

Как же реагировал на столь трагический финал многолетней игры сам генсек? В феврале 1940 г. к нему обратились В. Качалов, А. Тарасова и Н. Хмелев через Поскребышева: "В настоящее время умирает писатель Михаил Булгаков /.../ Спасти его, по словам врачей, могло бы только радостное потрясение. Такое он уже однажды испытал, когда ему позвонил Иосиф Виссарионович Сталин. Мы просим Иосифа Виссарионовича позвонить Булгакову еще раз /.../"⁹⁷. Но звонок из канцелярии Сталина последовал не сразу, а лишь на другой день после смерти писателя (он умер 10 марта).

Когда его не стало, сделана была попытка создать "Булгаковское дело". В октябре 1940 г. арестовали С. Ермолинского. Он вспоминает: "...меня обвиняют в наглой пропаганде антисоветского, контрреволюционного, подосланного белоэмигрантской сволочью, так называемого писателя М. Булгакова, которого вовремя прибрала смерть"⁹⁸. Следователь требует, чтобы подследственный рассказал о "булгаковских сборищах", на которых "так называемый писатель" "нес антисоветчину". Ермолинский недоумевает: зачем посмертно против Булгакова плели клевету? И предполагает, что причиной было "трусливое желание оболгать загубленную жизнь, если не удастся забыть ее..."⁹⁹.

Однако делу Булгакова не был дан ход. Какова тут роль Сталина? Неизвестно. Быть может, для себя он сделал вывод: игра закончена. И из двух вариантов: объявить покойного врагом народа или предать забвению - был выбран второй. А в узких театральных кругах распространялась версия: "...мы и Булгакова научили на нас работать". Публикация в 1948 г. письма Сталина Биль-Белоцерковскому, написанного в 1929-м, подтверждала эту версию.

Но как бы ни хотел Сталин завершить свой поединок с бесправным мастером, завершен он был не "Гением Всех

Времен и Народов", а Историей. Да, конечно, великий художник написал пьесу о Сталине. Этого не скроешь и не изменишь, как бы ни старались почитатели Булгакова найти в ней некую крамолу. Но не забудем, что и Мандельштам посвятил Сталину "Оду", и Пастернак его превозносил в цитированных выше стихах, и Ахматова воспе-
ла вождя.

Тут ни убавить, ни прибавить,
- Так это было на земле.

Раздумья о Булгакове и Сталине уместно завершить словами рассказчика из "Господина де Мольера", обращенными непосредственно к нам: "Потомки! Не спешите бросать камнями в великого сатирика! О, как труден путь под неусыпным наблюдением грозной власти!"

ПРИМЕЧАНИЯ

1. А. Авторханов. Технология власти. "Посев", 1976, с. 321.
2. Воспоминания о Михаиле Булгакове. Москва, "Советский писатель", 1988, с. 24.
3. Анатолий Смелянский. Уход. (Булгаков, Сталин, "Батум"). М., "Правда", 1988 (Библиотека "Огонька", № 49). См. также развернутые примечания А. Смелянского к пятому тому собрания сочинений М. Булгакова. М., "Художественная литература", 1990.
4. Елена Булгакова. Дневник Елены Булгаковой. М., "Книжная палата", 1990, с. 270.
5. Михаил Булгаков. Письма. Жизнеописание в документах. М., "Современник", 1989, сс. 151-152. Письмо от 24 авг. 1929 г.
6. М. Чудакова. Михаил Булгаков и Россия. "Литературная газета", 15 мая 1991 г., с. 11. Дневник Булгакова опубликован в ж. "Огонек", 1989, № 51. и в ж. "Театр", 1990, № 2.
7. М. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. Москва, "Книга", 1988, с. 258.
8. Дневник Елены Булгаковой, с. 342.
9. Михаил Булгаков. Письма, с. 235.
10. Дневник Елены Булгаковой, сс. 364-365.
11. Там же, с. 66.

12. Там же, с. 66.
13. Там же, с. 153.
14. Там же, с. 175. Битков в пьесе Булгакова - агент III Отделения, которому было поручено постоянно следить за Пушкиным.
15. А. Смелянский. Уход, с. 15.
16. А. Вулис. Вакансия в моем альбоме. Рассказы литературоведа. Ташкент, 1989, с. 283.
17. Дневник Елены Булгаковой, с. 301.
18. И. В. Сталин. Собрание сочинений. Москва, 1948, том II, с. 326.
19. Там же, с. 328.
20. Там же, сс. 326-327.
21. Там же, с. 328.
22. Там же, с. 327.
23. Там же, с. 327.
24. Михаил Булгаков. Письма, сс. 148-149.
25. Там же, сс. 135-136.
26. Там же, сс. 147-148.
27. Там же, с. 149.
28. Там же, с. 152.
29. М. Яншин. Дни молодости - "Дни Турбиных". В кн.: Незданный Булгаков. Тексты и материалы. Под ред. Эллендеи Проффер. Анн Арбор, Ардис, 1977, с. 53. Эта фраза отсутствует в воспоминаниях Яншина, опубликованных в кн.: Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., "Советский писатель", 1988, сс. 268-275.
30. Михаил Булгаков. Письма, с. 333.
31. Там же, с. 160.
32. Произведения М. Булгакова цитируются здесь и далее по следующему изданию: М. А. Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах. М., "Художественная литература", 1990.
33. Дневник Елены Булгаковой, с. 125.
34. Михаил Булгаков. Письма, с. 255. Возможно, Горький имел в виду также жанр книги, необычный для серии ЖЗЛ. Но в его словах слышатся и более серьезные опасения.
35. Там же, с. 196.
36. Там же, с. 167.
37. Там же, с. 171.
38. Там же, с. 172.
39. Там же, с. 174.
40. Там же, с. 175.
41. Там же, с. 177.
42. Евгений Замятин. Сочинения. А. Neimanis Buchvertrieb und Verlag, 1970, том I, с. II.
43. Михаил Булгаков. Письма, с. 177.

44. Дневник Елены Булгаковой, 4 января 1956 г., с. 299.
45. Там же, 20 августа 1937 г., с. 163.
46. Анна Ахматова. Сочинения. Мюнхен, 1968, том II, с. 180.
47. Михаил Булгаков. Письма, сс. 546-547.
48. Там же, с. 203.
49. Там же, с. 204.
50. Там же, с. 205.
51. Там же, с. 190.
52. Там же, с. 205.
53. Там же, с. 195.
54. Там же, с. 196.
55. Там же, с. 198.
56. Дневник Елены Булгаковой, с. 300.
57. Там же, с. 56.
58. Михаил Булгаков. Письма, с. 216.
59. Там же, с. 216.
60. Там же, с. 218.
61. Там же, сс. 222-223.
62. М. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова, с. 392.
63. А. П. Бородин. Князь Игорь. Либретто. Москва. Изд. ГАБТ, 1935, с. 31.
64. Дневник Елены Булгаковой, с. 138.
65. Там же, с. 156.
66. Там же, с. 168.
67. Там же, с. 170.
68. Письмо Б. В. Асафьева к Г. П. Орлову от 17 дек. 1939 г., опубликовано в ж. "Континент", № 57, сс. 317-318.
69. Дневник Елены Булгаковой, с. 195.
70. Там же, с. 112.
71. Там же, с. 115.
72. Там же, с. 114.
73. Там же, с. 125.
74. Там же, с. 142.
75. Там же, с. 171.
76. Михаил Булгаков. Письма, с. 421.
77. Дневник Елены Булгаковой, с. 236.
78. Неизданный Булгаков, с. 8.
79. М. Чудакова. Михаил Булгаков и Россия, с. 11.
80. А. Смелянский. "Уход"; комментарии к "Батуму" в пяти-томном собр. соч. М. А. Булгакова; статья в ж. "Театр", 1988, № 12. Мирон Петровский. Дело о "Батуме", ж. "Театр", 1990, № 2.
81. Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 441.
82. Дневник Елены Булгаковой, с. 107.
83. Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 306.
84. Дневник Елены Булгаковой, с. 471.

85. Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 300.
86. А. Орлова, М. Шнеерсон. Из огня да в полымя. Еще раз о трагедии М. Булгакова. "Новое русское слово", 28 февраля 1992.
87. Дневник Елены Булгаковой, сс. 262, 240.
88. Михаил Булгаков. Письма, с. 469.
89. К. Паустовский. "Снежные шапки". Из "Повести о жизни". Цитируется по кн.: Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 109.
90. Дневник Елены Булгаковой, сс. 308-309.
91. Там же, с. 260.
92. Там же, с. 316.
93. Там же, с. 388.
94. Там же, с. 266.
95. Там же, с. 279.
96. Там же, с. 283.
97. А. Шварц. Заметки о Булгакове. "Новое русское слово", 1991, 17 мая, с. 26.
98. Сергей Ермолинский. Из записок разных лет. Москва, "Искусство", 1990, с. 130.
99. Там же, с. 160. Следует отметить, что Ермолинский все же был осужден.

Валерий СЕНДЕРОВ

Конец Петербурга

Придет день, когда прекратится существование последнего портрета Рембрандта и последнего такта моцартовской музыки, хотя, пожалуй, и будет еще существовать закрашенное полотно и нотный лист, так как не будет уже ни глаза, ни уха, которым был бы доступен их язык форм.

Освальд Шпенглер

Для многих, очень многих августовские дни стали точкой отсчета. Исторические, переломные - от эпитетов рябит в глазах. Спорят о шансах возврата к прошлому, о неизбежных рецидивах перекрасившегося коммунизма, о невероятных трудностях, путях преодоления их...

Однако именно исторического, т. е. отрешенного, отстраненного взгляда во всех этих рассуждениях и нет. Надо признаться: революции в мышлении явно не произошло. Оно, как обычно, понимает происходящее вокруг как прогрессивный линейный процесс, путь от "зла" к "добру". Безусловно, известное замечание Ницше о "гигантской экспериментальной лаборатории, в которой кое-что удастся, а в основном нет", было заостренно-полемическим: выросшая из учения мыслителя историософия во многом освоила морфологию культур, ввела адекватные накопленному материалу модели. Но филистерский разум до конца времен будет цепляться за абсурднейшую бес-

смыслицу "возрождения", трусливо зажмуриваться перед вечной мистерией: и в самом светлом обновляющем потоке гибнут прекраснейшие цветы.

Речь пойдет о послеоктябрьских судьбах петербургской культуры. Не будем возвращаться к многократно обсужденной бессмысленности самих петровских реформ, к динамиту антицерковности, заложенному великим Государем под фундамент возводимого им здания Империи. "Самым отвлеченным и умышленным городом" назвал Петербург Достоевский. "Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: "А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху - не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее. Финское болото, а посреди него, пожалуй, для красоты, бронзовый всадник на жарко-дышащем, загнанном коне?"

Не станем "передумывать" историю. Петровская Россия осуществилась, именно такой досталась нам наша культура: хрупким растением, с болезненно разметанными - от Дамаска до Геттингена - корнями. Идеалы ее были чересчур, безнадежно высокими; наверное, и без катастрофы она была обречена...

Как ни странно это прозвучит, но ленинско-сталинский кошмар не затронул самого существа культурного организма. Политика первых вождей была простой: Петербург надлежало истребить, выживших - заставить пресмыкаться. Всадить пулю в тех, кто никогда пулям не кланялся; выжать, выдавить полагающиеся слова из вполне безнадежных. Судьба Гумилева и Ахматовой исчерпывает сущность первых валов коммунистической культурной революции.

В действительности ВЕСЬ Петербург был неисправим. Ахматова тщетно пыталась спасти сына, Мандельштам - собственную жизнь... Но выбитые из них сталинским кастетом строки были изменой художественному БЫТИЮ, а не художественного БЫТИЯ. Культурного аспекта во всем этом нет, лишь моральный (если найдется кто-нибудь ки-

нуть камень). И потому ставку на физическое искоренение Петербурга следует признать вполне логичной.

Однако полного истребления не произошло. Помешала и оглядка на Запад. (Была она всегда. Но такой был и сам Запад: при Брежневе можно было, с учетом его общественного мнения, сажать тысячи, при Ленине-Сталине - убивать миллионы.) Главное же - в материалистической системе ценностей "надстройка" особого значения не имеет, и Сталин махнул на дело рукой, не доведя его до конца. Не то чтобы культуру оставили в покое: покой был недостижимой мечтой, раем булгаковского Мастера. Но всё-таки... Пастернак, Ахматова - можно ли представить, чтобы через десятилетия непроглядной ночи вождь и его подручные пустили пройти не великим художникам, а, допустим, самостоятельно мыслящим социалистам?

Более того. Фантасмагория советского ада "подпытывала" культуру, не только толчки палачей к смертной яме, но и творческие толчки по справедливости будут вписаны в историю сталинской эпохи. Стереотипы мышления мирятся с тем, что дюжина пьяных хулиганов стимулировала воображение Блока. Революционная романтика... Так не стоит же недооценивать великого злодея, весьма недурно разыгрывавшего псевдовизантийские роли. "Woland" - одно из редких имен лукавого; почему именно его "раскопал" Булгаков? Напишите "Мастер"; теперь сравните первые буквы слов... Перевернутое отражение. "Друг друга повторяют зеркала,/ Взаимно искажая отраженья..." Вспомним историю взаимоотношений Булгакова и Сталина - как реальную, так и выдуманную (неспроста же!) самим Мастером...

Метафизическая опасность первой фазы коммунизма для Петербурга была в ином: выковывалась новая культура, унижать и ломать ее не было нужды. Кажется, Роману Якобсону принадлежит точное замечание о Маяковском как последнем художнике, выполнявшем социальный ЗАКАЗ. Для советской культуры пришла уже иная пора: телефонных ПРИКАЗОВ и послушных, подчас вдохновенных исполнителей. Пример чистого, беспримесного экземпляра:

Эдуард Багрицкий. Коммунисты вегетарианской брежневской эпохи стеснялись доступно издавать наиболее открытые произведения этого талантливого поэта, и Бабеля, и Маяковского... Сегодня было бы очень полезно сделать это.

Но не они интересуют нас - вернемся к Петербургу. Десятилетия если не роднили, то сближали русскую и советскую культуры, тривиальные, но весомые обстоятельства способствовали этому: обе культуры дали талантливых представителей, обе подвергались уничтожению и травле. Эгалитарное перемешивание еще не произошло, но было оно подготовлено.

Оттепель и застой стали периодом нового цветения. Литературный Самиздат преследовался недостаточно, явочным путем он отстоял право на существование. Можно привести многочисленные исключения, Бродского прежде всего. Какой гениальной интуицией не умеющие читать функционеры "вычислили" именно этого поэта?

Впрочем, может быть, дело проще. Автор "Части речи" и "Конца прекрасной эпохи", возможно, не заинтересовал бы режим. Но ранний Бродский был популярен, не став еще до конца явлением, он сделался яркой частью возродившегося литературного процесса. Центром опять стал Петербург. Не будем идеализировать: лишь из начала 90-х самиздатские альманахи, поэтические подборки тех лет смотрятся с горьким чувством невосполнимой утраты. Но безусловно: были они еще частью литературы, в самом пьяном кошмаре не могли тогда померещиться шедевры перестройки - ни самим поэтам, ни тем, кто дышал строками их стихов.

Автор этой статьи пишет в основном о литературе, это связано с личными вкусами. Но последний Ренессанс коснулся многого. Что творилось, например, в Москве вокруг любого талантливого театра! Само доставание билетов было своего рода искусством...

Однако явная печать осени лежала уже на этом цветении. Петербург стал НЕЗАПРЕТНЫМ, от него перестало боязливо шараться "многое множество людское". Сра-

ботала мина замедленного действия: затыкал механизм подготовленной предыдущими десятилетиями эгалитаризации. Жители города на Неве прилежно именовали себя петербуржцами. Но немного времени было отпущено культуре, в которой органично сосуществовали Горбовский и Рейн...

Еще не завершившийся культурный процесс был уже надломлен, атомизирован. Удивительное явление - Михаил Генделев - осталось неоцененным. Стихи читали - в узких петербургских и московских кругах (в "соседних" культурных слоях просто не знали о них). А историософские размышления Генделева распространения практически не получили.

Продолжалось и давление режима - не столь уж малое для культуры с надорванным эстетическим и физическим потенциалом. Странно вспоминать своих сверстников, давно ушедших художников и поэтов: не очень древние даты рождения начертаны на плитах могил... Перепутавший историк выдаст когда-нибудь перечень этих потерь за очередной расстрельный список - но всаживать пули уже не было нужды. Иных выталкивали в эмиграцию, и нечего было им унести на подошвах сапог...

Последние удары, микротеррор первых лет 80-х... Занавес еще не пал, разыгрывалось завершающее действие: власти распахнули врата перестройки. Войти в них было некому: недобитая, даже еще слегка петербургская, испытания площадью культура вынести уже не могла.

87-й дал некоторый всплеск теоретических статей: религиозных, литературоведческих, историософских. Вновь появились толстые самиздатские журналы, в 88-м - 89-м непусты были даже страницы серьезных официальных еженедельников. К 1990-му всё кончилось: накоплено оказалось весьма немного, творить новое среди горячего бреда митингов было нельзя. А иммунитета разбавленная чандалой сбродная культура давно уже не имела.

Пишутся еще и сегодня книги, стихи, статьи. Сколько, с какой страстью сказано, например, о "незамеченном поколении" 50-х - 80-х!

И тема исчерпана. Право, есть что собирать в минувшей четверти века. Но невозможно стать частью литературного процесса, которого больше не существует.

Или войдите в театры: это сегодня совсем нетрудно. Чтобы понять происходящее, вам не придется досиживать до конца.

Конечно, все эти явления не носят математически доказуемого характера. С удивлением и интересом автор обнаруживает в толстых журналах статьи о Генделеве. Анализировать содержание большинства из них возможно лишь в устной форме, а удивление оправданно: читателей не может быть, и связано это отнюдь не с качеством опубликованного.

Туман разлетелся, город исчез, как дым. Возможно, долго еще что-то будет ставиться, писаться... Из могил погибших культур веками доносится бессвязное "бобок". Так, в работах некоторых современных греческих авторов филологи с интересом отмечают классический византийский подход к проблемам.

Что же? Всё это печально, но не более: повода для отчаяния нет. Быть может, новые цели стоят перед нами: эра цивилизации в нашей стране еще даже не началась. Задачи Сесилия Родса не ниже задач Шекспира. Они совершенно иные - только и всего.

Возможен и иной ход развития. Осуществится мечта Столыпина, экономическая самостоятельность возродит крепкое, с развивающимся чувством гражданственности крестьянство. Дети и внуки людей нового общества создадут и свою культуру. Но странными будут их чувства, если в руки им нечаянно попадет уцелевший сборник Георгия Иванова или Ходасевича. Изумление возрастет от того, что будут понятны многие слова, даже структура фраз: языковые корни культуры с большой вероятностью сохранятся.

Москва, сентябрь 1991 г.

Ростислав ЕВДОКИМОВ

Письмо из ВС-389/36

У этого документа несколько необычная судьба. Автор с конца 1983 по конец 1986 гг. заносил условным кодом в тетрадку, в которой он отмечал заказы по системе "Книга - почтой", все случаи помещения в ШИЗО (штрафной изолятор) или ПКТ (помещение камерного типа), а также другие примечательные события на 36-ой пермской политической зоне. Так, заказ в определенный день книги под названием: "Тит Ливий. История в 10 книгах. М., Наука, 1984" означал бы, что в этот день Тийт Мадиссон получил 10 суток ШИЗО. Затем эти сведения микроскопическим почерком переносились на папиросную бумагу, запаивались в несколько слоев полиэтилена и, если удавалось, проносились на свидание к родственникам несколько специфическим способом, о котором можно догадаться, если учесть, что перед свиданием ээка полностью переодевали, а заодно заглядывали в рот и другие части тела. Были трагикомические случаи, когда, к примеру, один из заключенных сумел вынести такую хронику на свидание, но принес тем же способом обратно, так как жена испугалась и не смогла ее взять.

Григорий Исаев из Самары, токарь-универсал, выточил из эбонита специальную отшлифованную капсулу, в которую можно было поместить сравнительно много таких листков без риска испортить здоровье. В конце 1986 г., когда обнаружилось, что свидания автору не дают, а никто другой не смог (или не захотел) капсулу вынести, эти записи были закопаны на зоне в надежном месте. Вскоре автора забрали в больницу на 35-ой зоне, а оттуда освободили. Почти через 6 лет, 14 июня 1992 г., во время встречи политзаключенных, организованной пермским отделением общества "Мемориал", капсулу удалось разыскать. К сожалению, в ней не поместилось окончание летописи (как раз самые драматические события 1986 г.: смерти, массовая "профилактика" в пермской пересыльной тюрьме, беспрецедентная двухнедельная забастовка 12-ти активистов летом этого, самого тяжелого для политэзков года и другое). Может быть, окончание

записей еще удастся разыскать. Но и сохранившееся многое говорит каждому, кто знает, что такое камера ШИЗО-ПКТ, перевод в тюрьму или смерть близкого человека.

Автор сожалеет, что стилистика записей далека от совершенства и принимает упреки за вольности в пунктуации и несколько грамматических ошибок (в одном месте неопределенная форма глагола написана без "ь", в другом в слове "Пермь" мягкий знак помещен после "р" и т. п.). Однако ради точности все оставлено без изменений за исключением использования отступа в начале абзаца, который в оригинале для экономии места обычно отмечался значком "]". Некоторая сбивчивость и перескакивание с темы на тему объясняются опять же соображениями экономии места и использования каждого миллиметра бумаги. Кроме того, текст на семи двусторонних листочках папиросной бумаги сгруппирован по хронологическому принципу с выделением в отдельные подглавки лишь тематически выбивающихся частей. Зато автор ручается за полноту отображения репрессий в пределах отраженных в тексте временных рамок. Несколько уточнений относительно упоминаемых в записях людей. Ишхан Мкртчян, как впоследствии выяснилось, трагически погиб в камере ПКТ. Есть основания предполагать, что он доведен до самоубийства "врачом" Пчельниковым или каким-то другим палачом в результате псевдомедицинского экспериментирования. Лагерный же врач довел до смерти Михаила Денисовича Фурасова. Диагноз "гипертонический криз" - ложь, призванная замаскировать истинную причину - "уремию на почве почечной недостаточности", диагностированную врачом-заключенным Степаном Хмарой, депутатом парламента Украины. Фурасов был честным человеком. Но отказ от борьбы за свои права в лагере убил его самого, ибо болезнь развилась у него из-за неукоснительного выполнения всех распоряжений администрации, а они не могли не быть преступными. Слишком старательно нося тяжести на ветру, он застудил почки. Лечение было символическим. А когда "врач", якобы, разрешил ему ходить на работу в бушлате, лагерное начальство заявило, что соответствующая справка должна лежать на столе у администрации, а ее нет. Одно из двух: или "врач" ее преступно не передал, или администрация столь же преступно ее не запросила. Ведь заключенным никаких документов на руки выдавать было нельзя. Пусть же этот случай напомним, что жизнь отдельного человека, как и жизнь всего человечества, зависит от того, сумеет ли каждый из нас везде и при любых условиях противостоять человеконенавистнической коммунистической идеологии. Бобыльков зарезан на операционном столе в Чистопольской тюрьме (или в самом городе?).

Их памяти и памяти миллионов других жертв коммунизма посвящаются эти записки.

Автор предупреждает, что готов по суду ответить на возможные обвинения в клевете.

1.

1) ул. Салтыкова-Щедрина, дом 5, кв. 24. Вогак Оксана Владимировна. Тел. 273-43-03;

2) Ее сестра Литвинцева Евгения Владимировна - рядом: Манежный переулок, дом 2, кв. 18;

3) Рядом: Авилушкина Людмила Владимировна (но только не ее сестра Софья) - ул. Фурманова, дом 1, кв. 35;

4) Лесниченко Наталья Владимировна - ул. Зины Портновой, дом 30, кв. 45; тел. 254-54-18 (или ее муж Юлий)* Пусть Вогак копии своих писем сыну посылает в Прокуратуру (с просьбой указать, где же здесь "Условности в тексте" или "Подозрительно по содержанию"). А в самих письмах указывает, что копии посланы к прокурору.

Подателю сего попытаться устроить посылку с Запада для возмещения проезда в Л-д и обратно. Показать Ленинград

После освобождения Ю. Федорова на особой зоне остается 21 чел.: 14 в камерах и 7 на льготных условиях Ленинградский чекист говорил, будто "Голос Америки" презрительно отзывался о Погорилом Валентине. Если так, то напрасно. В середине мая 85 г. ленинградцев Мейлаха, Евдокимова, Погорилого спрашивали, не передавал ли им кто-либо незнакомый в Л-де на улице какого-либо пакета, не были ли свидетелями беспорядков. Администр периодически повторяет кампанию по срыванию нательных крестиков, ссылаясь на Указ 1929 г. о запрете пользования предметами культа в "государств., обществен. и кооперат. учреждениях". Но магазины и рынки тоже такие учреждения. Значит ли это, что и там нельзя носить кресты?

* Имеется в виду Юлий Андреевич Рыбаков, бывший политзаключенный, ныне - председатель комиссии по правам человека Петербургского горсовета.

2.

Огородников - 6 мес. ПКТ с 26 ноя 1983, в мае 1984 - 12 ст* ШИЗО, затем ШИЗО 10 ст (20.VI), 10 ст (25.VII), 15 ст (26.X), 14 ст (19.XII). Всего 324 ст ШИЗО, 574 ст. голодовок (из них 63 - в последнее ПКТ, 1 ст. - сухая)

Черных Борис Иванович ШИЗО 10 ст зимой, 5 ст (15.V), 10 ст (20.VI)

Нукрадзе Ник.** (ст 64 УК) - ШИЗО 10 ст (15.V), 10 ст (24.VII), увезен 1 авг на 35 зону (?)

Донской Дм. Игор (ст 64 УК) - ШИЗО 3 ст (28.VI), 10 ст (31.X), 8 ст (26.XII)

Лубман Леонид ШИЗО - 20 ст (28.VI), 7 ст (14.IX)

Бобыльков Анатолий прибыл с мордов. зоны за побег. 2 судимости, потом через КНДР (там бежал из корейск. тюрьмы) ушел в Китай. В Китае 3 года в тюрьме, затем 3 года работы в разведке: одна ходка в СССР успешна, на второй взяли. Ст 64 УК - 15 лет, в Мордовии неудачно бежал - еще 2 года. Прибыл, будучи в ПКТ, 5.VII, ШИЗО 45 ст 22.IX, без выхода в зону отправлен в тюрьму на 3 года 5.XII.

Мадиссон Тит*** Хербертович - ШИЗО 6 ст (7.VII), 45 ст (5.IX) - двух ст. не досидел и отправлен в ссылку

* В данном случае "ст" означает "суток". Там, где говорится об УК (Уголовном Кодексе) - "статья". Определяется по контексту.

** Ленинградец. Боксер. Впоследствии, уже в ссылке зарезан уголовниками при невыясненных обстоятельствах.

*** Летчик из Азербайджана, бежавший в Иран и выданный шахом. Он сам признавался в стукачестве и каялся. После этого к нему некоторое время не было претензий. Однако вскоре опять возникли подозрения. Твердых доказательств не было, поэтому предпочитали воздерживаться от прямого обвинения. Освобожден досрочно по персональному помилованию - редчайший случай.

Дзабирадзе Вахтанг - прибыл 10.VII - 3,5 года по ст. 70 (Грузинск. Республ. Партия)

Зосимов - ШИЗО 10 ст (24.VII) - пользуется многими льготами от администр.*

Гогия Сулико (в быту Зураб) Сергеевич - ШИЗО 12 ст (27.VII) - отказ от работы в ШИЗО

Малышев** - увозили ранее, судили, якобы по уголовн. ст и добавили 6 лет, прибыл 17.VII, ШИЗО 6 ст (24.VIII)

Нилов прибыл с 35 зоны 1.VIII (объявлен бойкот политз/ками)

Григорян Норайр Ашотович???? - ШИЗО 10 ст (22.VIII), 10 ст (31.X) - из-за заявлений по поводу червей в супе (завелись в сухой картошке) и плохой рыбы. Писали многие (нрзб 8-10 знаков) только он.

Исаев Григорий Зиновьевич ("Рабочий центр" из Куйбышева - 6 + 4) - 16 ст ШИЗО (17.VIII)

Мкртчян Князь Мкртичевич (в быту паспортное "Князь" заменил армянским переводом "Ишхан" - ШИЗО 30 ст (29.VIII - из них 1 день сух голод.), 6 мес ПКТ 15.XI. Наблюдат. комиссии заявил, что считает себя военнопленным, при помещении в ПКТ ДПНК стар лейт. Гатин не дал ему книги, продукты питания, фотографии, письма. Мкртчян на это отказался раздеваться. Раздет насильно. Отказался одеваться. Брошен голым в камеру и следом - одежда.

Беликов из Киева ст 70 УК (62 Укр. УК) 7 лет + 5 ссылки прибыл 29.VIII

* Сын сталинского наркома. Сам занимал крупные посты на Украине. Честный и простой человек.

** Лейтенант КГБ. Из идейных соображений предложил свои услуги ЦРУ, категорически отказавшись от вознаграждения, что вызывало особое негодование чекистов: продавшийся из-за денег был бы ближе и роднее бескорыстного врага. Пользовался репутацией авторитетного и опытного политз/к.

Быков Андрей из Москвы, служил в ГДР, помогал бежать другу (дал часы) - ст 64 УК, 4 г. прибыл 9.IX.

Рахим Халиков из Таджикистана - уходил в Пакистан, ст 70 УК. ШИЗО 5 ст (14.IX)

Хмара Степан прибыл с 35 зоны 18.IX.

Слободян из тюрьмы был отправлен, якобы по ошибке, на уголовн. зону в Красноярск. крае, был там год, прибыл 23.IX. и с карантина отправлен дальше на 37 зону

Попадюк Зорян - ШИЗО 15 ст (4.X) Не дают жениться и не было писем от больной матери, объявил голодовку - 8 ст, из них 3 ст в ШИЗО, в ШИЗО узнал о смерти матери

Шашерин Вадим из Перьми, рабочий, ст. 70 УК за письма в сов. газеты, в которых возмущался их, по его мнению, вопиющей ложью - 3 года. ШИЗО 1 ст (10.X), 15 ст (18.X)

Стейблис - "за войну" из Литвы ШИЗО 5 ст (18.X)

Гудовский Роман Яковлевич, ст. 64, прибыл с 35 з до-сигивать ШИЗО (7 ст) 26.X.

Погориный Валентин из Л-да, кончил муз. училище, работал рабочим на заводе. 6 лет, один подельник 4 года, другой - в дурдоме. Освобожден от ответственности (доносчик?) Косолапкин Павел. Прибыл 29.XI. (Найдены химикалии для взрывчатки и газов)

Семенов прибыл из Чистополя 23.XII. (ст. 64 УК)

Вардан Арутюнян и Иосиф Бегун прибыли с 37 зоны 3 янв. 1985 г. Бегун в карантине получил 5 ст ШИЗО (7.I).

Федоренко прибыл с 37 зоны 16.I.85.

Евдокимов Р. Б. ШИЗО 10 ст (5.I) - за проект заявл. в Мадрид, 10 ст (15.II.84) якобы за организ. забастовки (3 сут в нач. февр. из-за холода в цехе - 10°C - стихийно 10-15 чел), в действит. из-за провала Шевченко с передачей хроники на свидании. Там была копия заявл. Евд. по поводу срыва с него нателън. крестов 29.XI и еще 3 раза; 7 ст ШИЗО (5.VI) - якобы за организ. отказа от ужина всего первого отряда (вместе со "стариками" "за войну" из-за издевательств ДПНК стар. лейт. Гатина и прапор. Илюхина, а за невыход 10го отряда на проверку в ливень в дежурство стар. лейт. Гатина и прап. Илюхина через несколь-

ко дней, 5 ст. ШИЗО (21.VI), 6 мес. ПКТ (26.VI), 25 ст. ШИЗО (19.XII)

Смирнов Алексей Олегович ШИЗО 7 ст (4.VI), 6 мес ПКТ (22.VI), 15 ст. ШИЗО (19.XII)

Шевченко Ал-др Мих. из Москвы ст. 64 прибыл в янв. ШИЗО 10 ст. (16.II) - якобы за пресеченную попытку передачи хроники жене на свидании. После ШИЗО (сидел отдельно от Евдокимова) пользуется льготами, работает один на жил. зоне в отдельн. комн. и т. п.*

Фурасов из Киева прибыл в мае, ст 70 УК (62 - Укр.) - о сути дела не говорит, т. к. обещал молчать суду и адвокату**

Фрейманис Гуннар прибыл из Риги в мае, третья судимость по 70 ст. - 4 года.

Буранов - "старик" "за войну". Особые льготы, лучший в соц. соревновании, кузнец, на больнице (35 зона) врач сказал, что работать кузнецом - не доживет до освобождения в 1985 г., вернувшись отказался работать кузнецом, за что - 5 ст. ШИЗО, пошел после этого работать в кузню

С зоны освободились Микола Руденко, Мирослав Маринович, Волков, Мадиссон - по ст. 70 и др.

1 апреля повышены нормы (панели с 795 до 825 и соответственно остальное) и снижены расценки так, что при прежних условиях труд возрос, а заработок ост. прежним.

* Шевченко вполне разоблачил себя как стукач. То, что он был помещен в ШИЗО, означало, что ему пытаются создать образ преследуемого. Но он находился в ШИЗО отдельно от одновременно бывшего там Евдокимова, и это позволяло ему создавать ему спец. условия: бушлат, горячий и крепкий чай и т. д.

** Впоследствии выяснилось, что он много лет состоял в группе, распространявшей антикоммунистическую литературу. Будучи кандидатом технических наук, разносил листовки по почтовым ящикам, но оставался вне подозрений. После ареста полностью покаялся, но не назвал ни одного человека из своих друзей. Этого ему так и не простили. В тексте написано "из Киева". Возможно, это ошибка. Кажется, он из Харькова.

В нач. года увезли токарные станки, во второй половине - перестройка производства

Голодали 30.X.84* - 12 чел.: в ШИЗО Огородников, в ПКТ Евдокимов, Смирнов, на зоне: Гогия, Григорян, Донской, Лубман, Мадиссон, Мкртчян, Сваринскас, Хмара и Ал-др Шевченко; голодали 10.XII.** 8 чел.: в ПКТ - Евдок, Мкрт., Смирн; на зоне Огородников, Донской, Лубман, Сваринскас, Быков Андрей.

В ПКТ лишались ларька - дважды Евдокимов, по разу Смирнов и Мкртчян

9.X. прибыл Мейлах Михаил Борисович из Л-да (Донской? Евдокимов? - нрзб.) имел еще 10 сут ШИЗО в нач весны 84 г.

Прибывший 16.I.85 г. (нрзб) Федоренко (с 37 зоны) имел 15 ст. ШИЗО, здесь еще 10 ст. ШИЗО (нрзб) крышкой параши разбил осветит. плафоны и нары. Требуется курава и табл. от головн. боли, частично получил.

Вадим Шашерин получил 10 ст. ШИЗО 18.I.85 г. за отказ от работы в кочегарке.

Говоря о том, что жалобы не рассматриваются и возвращаются самой администрации, отец Альфонсас Сваринскас*** задал замполиту Долматову риторический во-

* 30 октября было принято отмечать голодовкой День советского политзаключенного. Голодовка считалась действительной, если объявлялась письменным заявлением на имя администрации или в прокуратуру.

** 10 декабря - Международный день прав человека, провозглашенный ООН. Отмечался так же, как и 30 октября (см. предыдущее прим.).

*** Отец Альфонсас Сваринскас, ныне кардинал, проводил на зоне подпольные причастия и крещения одинаково - католиков, православных или униатов, литовцев, русских или украинцев. Критерий был один: честность, надежность, твердость. Наверно, это и есть истинный экуменизм и истинная дружба народов. Первый же провал означал бы для отца Альфонсаса новую судимость и новый лагерный срок. Но провалов не было.

прос: "Куда же жаловаться, в Вашингтон, что ли?", на что тот ответил: "жалуйтесь в Вашингтон". Мы поступаем согласно его рекомендациям, обращаясь к Совещанию экспертов по правам человека в Канаде в мае 1985 г. Тот же Долматов на слова о том, что летом в ПКТ так темно, что трудно играть в шахматы, сказал: "играйте ощупью". В середине года возникла практика перед свиданиями залезать пальцем в задний проход з/к и их родственникам, женщин, кроме того, распинали на гинекологич. кресле - без всяких прокурорских санкций. Проверял з/к и руководил проверкой родственников "доктор" Пчельников. Активисты неоднократно заявляли, что не позволят этого издевательства с собой. В конце года эта практика приостановилась. "Доктор" Пчельников прежде, чем дать освобождение от работы, советуется по телефону с администрацией, иногда при больном, можно ли освобождать такого-то. Активистов не освобождает даже при приступах радикулита или при открытых ранах на пальцах от сборочных работ. Сам называет себя "представителем администрации". Некомпетентен. Назначает малознакомые лекарства, порой по существу экспериментирует на з/к. Когда к Алексею Смирнову приезжал чекист из Москвы, местный куратор зоны майор КГБ Вакулишин сказал, что врач, по его мнению, назначая лечение, должен учитывать, что перед ним не свободные люди, а осужденные.

Полит з/к не общаются с Черепановым*

* Трагическая личность. В 1968 г. он был совсем молодым юношей. В Москве вышли на площадь, протестуя против советского вторжения в Чехословакию, 6 человек. В Вильнюсе одновременно с ними и независимо от них вышел один единственный Вячеслав (в паспорте, по его словам, именно так) Черепанов. Надо ли объяснять, что ему было в 10 раз труднее! После отбытия первого срока пытался уехать к жене-иностранке. Папачекист не позволил. Перешел финскую границу. Финны избили и выдали. Стал жевать "колеса" (медикаменты), т. е. впал в токсикоманию; сломался морально и физически.

3.

Генеральному прокурору СССР от Евдокимова Ростислава Борисовича (618263, Пермская обл., Чусовский р-н, п/о Копально, учр. ВС-389/36) Заявление.

(нрзб - 10 декабря?) 1984 г. я направил администрации учр. ВС-389/36 заявление, в котором указывал, что 10 дек. объявляю мотивированную, обоснованную голодовку по причинам, изложенным в отдельном заявлении на Ваше имя. В этом последнем заявл. я писал, что отмечаю таким образом принятый ООН и СССР Междунар день прав человека, а также протестую против конкретных нарушений моих прав: невыдачу в ПКТ вещевой бандероли, в частности. На следующий день, 11 дек. вещ. банд. была мне, наконец, выдана, что фактически подтверждает обоснованность моих требований по крайней мере по этому пункту.

18 дек. в камере ПКТ, где я содержался вместе с двумя другими осужденными, ДПНК стар. лейт. Гатин проводил обыск. При этом начался обыск минут через 10 после выдачи нам ужина, ктр. я еще не успел съесть. Двое других были выведены из камеры, а я остался, т. к. еще ел, а кроме того практиковавшиеся ранее Гатиным обыски в отсутствие осужденных приводили к пропаже личных вещей (журналов). Ранее лично у меня из подсобных помещений ПКТ пропала книга, полученная мною по системе "Кн - почтой" и вообще не выдававшаяся мне на руки (Герхардт М. Искусство повествования. Лит. исследование "1001 ночи", М, Наука, 1984). Она до сих пор мне не возвращена и убыток не возмещен. Стар. лейт. Гатин изъяс на обыске две тетради с записями и только что принесенные хлебные пайки на том основании, что они не были еще съедены и лежали на отопительной трубе

19 дек. к нам приходил прокурор из Перми, ктрму я в присутствии нач. учр. майора Журавкова* пожаловался на действия ст. лейт. Гатина, причем прокурор разъяснил,

* Вскоре умер от рака. Заменен майором Долматовым, тоже сдохшим от рака.

что обыск следует производить в присутствии кого-л. из осужденных. Однако вечером того же дня 19 дек. я был помещен в ШИЗО на 15 суток. В постановлении указывалось две причины. Первой была названа якобы необоснов. голодовка 10 дек., причем отмечалось, что на вопрос замполита майора Долматова о мотивах, изложенных в заявл. Ген. прокурору СССР, я отвечать отказался. Обращаю Ваше внимание, что таким образом Постановление документально подтверждает факт попытки м. Довлатова выведать содержание жалобы прокурору, что, кажется, незаконно. Обоснованность же по меньшей мере одного из мотивов голодовки видна из первого абзаца настоящего заявления.

Второй причиной моего помещения в ШИЗО называлось мое поведение на обыске 18 дек., причем в прилагаемом акте указывалось, что обыск начался через 20 мин после начала ужина, что я не встал, не вышел из камеры и не хотел отдавать "сухари". Обращаю Ваше внимание на то, что сам текст этого акта полн противоречий: хлебная пайка не могла превратиться в "сухари" хотя бы и через 20 мин; выходить из камеры, когда там больше никого из осужденных не было, я не был должен (кстати, ст. лейт. Гатин сам же отменил это первоначальное распоряжение), доел ужин, я, естественно, встал. Других обвинений нет.

Таким образом, складывается впечатление, что я был помещен в ШИЗО, во-первых, за попытку отметить доступными мне средствами Международный день прав человека, отмечаемый ООН и СССР, а во-вторых, за жалобу прокурору в присутствии администрации, т. к. именно содержание этой жалобы оказалось вторым и последним названным в Постановлении обвинением.

Прошу разобраться.

21 янв. 85 г. Евдокимов Р. Б.*

* Грошовое требование вернуть хлебную пайку и книгу или возместить стоимость последней на практике имело большое значение. Бесспорная доказательность факта хищения книги самими охранниками привела к тому, что майор Долматов (судя

Шашерин за отказ от работы в ШИЗО еще 15 ст (28.I.85 г.); Гудовский Роман Яковлевич 7 ст ШИЗО (31.I.85) - репутация плохая, полит з/к обычно не разговаривают; Иосиф Бегун - 10 ст ШИЗО (13.II) и 3 года крытки 3.IV. - при этом проглотил могендовид*, ктрый хотели отнять, поэтому задержан с отправкой. Лубман 7 ст ШИЗО 13.II. Черных 15 ст, из них 5 голодовки с 14.III + 15 ст. с 19.IV. из них 23.IV голод, продлено, сколько именно - потом. Кириченко Сергей 64 ст. УК из Киева, переведен с 35 з. Досиживает 4 ст. из 7 ст ШИЗО - 16.III. Донской Дм. 64 ст УК из Л-да 3 мес ПКТ с 22.III; Огородников и Евдокимов 7 ст ШИЗО 13.IV за организацию Пасхи. Огородникову еще 3 ст. за отказ от работы в пасхальную ночь. (Евд. работал днем). Григорян - 7 ст. 19.IV. 25.IV - Привезен Нукрадзе с 35 з., Григорян увезен на 35 зону, Мкртчян из ПКТ уволен, видимо, на 37 зону. Руслан Луганский из Донецка, солдат, ст 64 УК, осужден в Грузии, прибыл 17.II. Клим Семенюк из Киева, ст. 70 УК прибыл 4.IV, тогда же Гогбаидзе Гурам из Рустави и Утеев Тимур (казах) с 35 з. Огородников в ПКТ в 1984 г. трижды вскрывал вены. Непосильны нормы на штамповке контактов 28. При попытке выполнить на 60% эту норму в февр.-январе получили травмы Сваринскас, Арутюнян, Андрей Быков. Нормы не сняты, но выполнения сейчас не требуют. В феврале 85 врачом Пчельниковым Евгением (Анатольевичем?) была устроена эпидемия

по всему, как раз и оказавшийся воришкой) предлагал возмещение из собственных денег. Но в том-то был и смысл, чтобы, поймав воров-в-коммунистическом-законе за руку, заставить их выплатить эти жалкие 2-3 рубля **официально**, через бухгалтерию, по статье расходов, требующей крайне неприятных объяснений с начальством, чтобы в следующий раз воровать было неповадно. В конце концов, этого все же удалось добиться.

* "Крытка" - тюрьма. Стальной могендовид Бегуну и крестики христианам совершенно бесплатно и постоянно рискуя делал тот же Григорий Исаев, что выточил из эбонита капсулу для этих записок.

гриппа. Первые заболевшие не изолировались, а выгонялись на работу. Переболела почти вся зона. Этот же врач обслуживает особую зону, где умер Тихий. Луганский - 10 лет по 64 ст. Все ст УК по УК РСФСР указываются (если нет оговорок)*

Семенюк Клим Васильевич, рабочий, 1931 г. рожд., урожен. с. Золотолин на Ровенщине. В 1952 г. 22 марта арест. и осужд. закрыт. судом к 10 г + 5 ссылки, ст 54, ч. II УК УкрССР. По жалобе снижено до 5 лет и освобожд. 9 мая 55 г по амнистии 1953 г. С тех пор проживал: Киев, ул. Корнейчука 16, кв. 128. В 1958 г. 19 июня арест, осужд. открыт. судом 5 лет + 5 высылки + 5 поражений по ст 196 УК Укр. Вышел 9 мая (опять) 1961 - обмен кодекса. 6 мес. без прописки и работы. В связи с образованием. Укр. Хельсинки с 29 дек. 1978 г. - слежка, тайные обыски, задержания на улицах. 19 дек 1980 при обыске по делу Василия Разлуцкого изъяты №№ Бюллет. Хроники Укр. Хельс., а 14 мая обыск по делу № 5 (В. Стуса) и допрос. Угрозы. 26 окт 1984 арест. п/полковником Слобоженюком. Следоват. майор КГБ Лукьяненко Анатолий Игнатович, обвинен по ст. 62 УК Укр., 4 февр. 85 осужден Киевск. гор. судом к 7+5 (закрыто), спецпублика. Позднее допущены жена, сын, брат с женой. Свидетели выдворялись. В следствии не участвовал, виновным не признал. На три вопроса к свидетелю (Кострицкий Василь) отвечал судья, не дали закончить объяснения по показаниям свидет. На слова: "Вы меня лишаете права голоса" - "Нет. Садитесь". По делу допрошено 42 чел., из них Иваница, Кострицкий и Масюк вербованные агенты ГБ. При допросах цель - очернить, особенно п/полковником Минником (Ровенское ГБ) свидетелей села Золотолин, где Семенюк не жил уже более 30 лет. 12 дек. 85 г. при

* В каждой из республик СССР были формально самостоятельные Уголовные Кодексы, в действительности отличавшиеся главным образом нумерацией статей. Так, российской ст. 70 УК ("антисоветская агитация и пропаганда") соответствовала ст. 62 УК Украины и какие-то еще номера в других республиках. Так как этих вариаций могло быть до 15, а смысл был один, то во избежание путаницы удобнее было использовать УК РСФСР.

обыске в селе Сычевка Киев. обл. в доме Лелюх Олены Н. был изъят его док-нт на 99 стр. "Обращение ко всем рабочим мира" или "На пути к коммунизму" в 5 разделах, с призывом спасти человечество от полного уничтожения, нац. положен. укр. народа в СССР, положен. религии в СССР, сельск. хоз., внешн. и внутр. полит. КПСС. Верующий - православный.

Черных в апр.-мае еще 1 ст. ШИЗО за отказ от бесед с адмицистр. 1 день голодал, чтобы дали бушлат ночью в камеру при $t^{\circ} < -18^{\circ}\text{C}$. Мкртчян не работал 24 апр. в день армянск. резни, тогда же увезен, возможно в больницу (странности в поведении). 6 мая Семенов Анатолий взят с вещами и получил 15 ст ШИЗО. Гогбаидзе Гурам из Рустави - трое детей и 190 руб. иск. Сообщить в Грузию об иске, хорошо бы покрыть

5.

Р. Евдокимов на вопрос судьи о виновности отвечал: "Виновником инкриминируемых мне действий был я и только я". Раскаивался, что недостаточно проверял свои источники. В обвинит. заключ. сказано: "Заявил о раскаянии, но действий своих не осудил". В ходе суда клеветы не признал и антисов. характера деятельности - тоже*.

Семенюк Клим - из 42 свидет. 31 спрашивали каким языком он пользуется в быту, т. е. пользование родным яз. стало предметом разбирательства КГБ.

Ишхан (Княз**) Мкртчян осужден с 15 мая 1985 г. к 3 г. тюрьмы - не могу простить побега из Ростовской-на-Дону тюрьмы. Отбиты все внутренности.

Огородников 24 мая 85 г. - 10 сут. ШИЗО за неразгрузку шлака без спецодежды и приглашение на чай людей из

* Откровенную и недвусмысленную иронию чекисты-судейские предпочли не понять и сделали вид, будто поняли буквально.

** Так в армянской транскрипции, в русской - "Князь".

другого отряда. Могут раскрутить на ПКТ до конца срока*. В ШИЗО при t° 3-4°C на улице и без отопления не дают бушлат, провоцируют на акции.

За месяц до конца срока (20 июня) взят на этап Ал-др Никонович Лазарук - УПА. Сидит второй раз по одному делу (как и многие другие). Репутация у з/к хорошая.

7 мая голодал Лубман в честь открытия встречи в Оттаве и Дня прав человека. Лишен ларька (каждый месяц лишают 2-3 чел. из "отрицалова"***). С 11 по 16 мая частично голодал Симокайтис, добиваясь возможности писать жене в США. Безуспешно***. В конце мая перев. с особого реж. Моисеенко. На особом за посл. год умерли Валер. Марченко, Тихий и Литвин по ст. 70 УК (Литвин кончил собой, перерезав вены рук и ног), а по ст. 64 Керимов (азерб), Курка и Мамчич. "Врач" Пчельников Евгений Аркадьевич (ранее ошиб. указ. "Анатольевич"). Мейлаха в мае 85 безосн. лишили свидания. Чекист из Л-д уверял что на него дает показания его друг психиатр Андрей Васильев, осужденный якобы за хулиганку на 4 года. Маловер. Видимо, Мейлаха хотят сломать, т. к. он высказывает определенную робость перед администрацией****.

* В дальнейшем получил новый срок по внутрилагерной статье, который отбывал на уголовной зоне. Оттуда и освобожден.

** Те, что отрицали свою вину и право коммунистических властей считать их уголовными преступниками. Активисты.

*** "Частичная голодовка" - такой же бред, как "частичная забастовка". Означает, что наш герой расхвастался о голодовке перед эками, а возможно, даже сказал что-то администрации. В столовую не ходил. Но спокойно ел в жилом бараке то, что у него было из ларька или из домашних передач. Конечно, успеха быть и не могло.

**** Мейлах впоследствии был неоднократно пойман на "крысятничестве", т. е. на воровстве продуктов и одежды у заключенных. Сев за то, что торговал запрещенной литературой, на зоне требовал через чекиста перечисления денег от тех, кто

1 июня 85 г. лишен свидания Сваринскас, видимо, уже после того, как администр. отправила его брату телеграмму, чтобы тот не приезжал (уточнить у брата). Если так, то документально подтверждается, что лишение свидания было запланировано заранее. Предлог - невыполнение нормы на операции, где до того 4 чел. (сам Сваринскас, Нилов, Быков и Халиков (?)) - ранее указывалось) получили производственные травмы. С 27 апр. на 10% повышены нормы на "новые панели" и ряд операций 1985 г. В середине июня прибыли Юр. Павлов из Л-да (ст. 64, 15 лет + 5 ссылки) и Мих. Кукобака из Белоруссии (ст. 70, 6 лет + 4 ссылки). У Кукобаки нет родств., а переписке с друзьями препятствуют*. Дело поддельное. Главное обвинение - две рукописи, написанные рукой уголовного, будто бы переписавшего его рукопись, но этой последней нет и авторство Кукобака отрицает. Внушает особые опасения судьба Ишхана Мкртчяна (Князя Мкртичевича - по паспорту). Сведения об отправке в тюрьму недостоверны. Последний раз его видели живым 24 апр. в ПКТ, когда в день армянск. геноцида он не вышел в 8.00 на работу. Бывшие в ШИЗО Григорян и Черных, встав в 10.00 после

не успел с ним расплатиться на воле, закладывая их таким образом. В конце срока составил благодарственное письмо главному чекисту всех трех зон Афанасьеву с обещанием сотрудничать и дальше. /.../ Кандидат филологических наук.

* Михаил Кукобака отбывал до этого очередной срок по ст. 190¹ УК РСФСР. Не выходя на свободу, был осужден по ст. 70 УК РСФСР и препровожден в ВС-389/36. По закону о его новом местопребывании власти обязаны были сообщать только родственникам, которых у него не было. Дружил же он с московскими диссидентами, от которых его судьбу и адрес пытались скрыть. Поэтому обычные поздравления в несколько строк цензура у Кукобаки конфисковывала с формулировками "условности в тексте" или "не соответствует действительности". Однажды въедливый Кукобака вложил в конверт со своим обратным адресом абсолютно чистый лист бумаги. Это "письмо" было конфисковано с формулировкой "подозрительно по содержанию"! Ему удалось наладить переписку лишь после того, как его адрес стал известен из других источников.

ночной смены, звали его, но он не откликался. Вызвали ДПНК* и спросили: "Сумели ли врачи помочь Ишхану (Мкртчяну)?" ДПНК сказал: "Я на этот вопрос отвечать не готов". На 35 и 37 зонах его нет. В серед. июня было две кампании в поддержку Л. Малышева. У него воспалился и гноился глаз, сильные боли, грозила потеря глаза. Сперва 12-14 чел. написали заявления, требуя окулиста. Его прислали. Определил переохлаждение глазного нерва. Но лечение не помогло. Положение ухудшилось. Новые заявл. (~ 20 чел.) с требованием госпитализации. Малышева госпитализировали. За организацию этих кампаний (формально за мелочи) Огородников 10 сут. ШИЗО 22.VI. и 13 сут. ШИЗО 3.VII. Позднее ему же 2 мес. ПКТ 16.VII. и 7 сут. ШИЗО 28.VIII. С 1.IX. голодовка уже неделя. Евдокимов за организацию поддержки Малышева 23 сут. ШИЗО 29.VI. Позднее 15 сут. ШИЗО 14.VIII. Лубман за это же 15 сут ШИЗО 3.VII., а позднее 15 сут. ШИЗО 16.VIII. Бедарьков за то, что ударил старика Стейблиса, 5 сут. ШИЗО 30.VI., потом увезли с зоны. Мейлах за норму 5 сут. ШИЗО 3.VII. Гудовский за плохой характер и попытки сачковать за счет других 5 сут. ШИЗО 20.VII. и 15 сут. 30.VII. Халиков Рахим 1 сут. ШИЗО 20.VII. Черных Бор. Ив. 30 сут ШИЗО 14.VIII. На зоне была однодневная голодовка 1 авг. в 10-летие Хельсинкских соглашений: Гогбаидзе, Евдокимов, Кукобака, Погориный, Сваринскас, Смирнов. По состоянию здоровья по общему решению ограничился заявлением Клим Семенюк. Ограничились заявлениями Донской и Лубман, причем Лубман ранее один отголодал в мае в день съезда экспертов по правам человека в Оттаве. Огородников был в ПКТ и об акции не знал.

* ДПНК - Дежурный помощник начальника колонии. В тот день им был капитан Ляпунов.

Он ушел в Россию

Кто-то вошел в класс и объявил, стараясь говорить спокойно, страшную весть: "Убит король Александр" - 9 октября 1934 года в Марселе выстрелом из пистолета был убит король Югославии.

Всех нас охватило отчаяние: было жаль короля, его страну, жаль молодую королеву и трех еще маленьких сыновей.

А у меня, тринадцатилетней школьницы, жившей последние годы в напрасном ожидании писем из России от отца, слово "убит" ассоциировалось в сознании с мыслью: "наше дело погибло". Не стало короля, преданного памяти погибшего российского императора. Не стало белого рыцаря, единственного верного друга России.

Король Александр, сам окончивший Пажеский корпус, с большим участием принимал к себе воинов разбитой Добровольческой Армии. Нашли в его стране приют и помощь многие русские беженцы, в том числе и учащиеся нескольких кадетских корпусов и девичьих институтов. Русской молодежи были созданы условия для продолжения школьных занятий. Жизнь русской эмиграции постепенно налаживалась. Повсюду: в Сербии, Хорватии, Словении русские люди находили радушный прием. Многие из них включались в дело восстановления разбитой войной страны.

Но были и отдельные участники Белого движения, которые с целью продолжения борьбы с антинародной властью на родине нелегально туда возвращались. В их числе был и мой отец Глеб Тимофеевич Скуратов. Большевики страшились возрождения Белого движения и вели с

ним беспощадную борьбу как в стране, так и за границей. Принятие моим отцом такого решения было естественным выводом из всего его жизненного пути.

Г. Т. Скуратов был кадровым офицером. Родился он в Карсе в 1870 г., где его отец (участник русско-турецкой войны) служил в гарнизоне крепости. Учился Г. Т. в Варшаве в Суворовском корпусе, а затем в Александровском военном училище в Москве. С детства он мечтал о Сибири, хотел там служить и получил назначение в 30-й Сибирский пехотный полк в Омске. В Сибири он женился на молодой привлекательной польке. Вскоре началась война, и его полк был направлен на фронт, где сразу принял участие в боях. Осенью 1914 года подпоручик Скуратов был тяжело ранен и надолго выбыл из строя. Он тосковал от вынужденного бездействия вдали от славных своих сибиряков. Но еще больше угнетала его атмосфера в тылу, где уже шла деморализация армии и населения. Солдаты, в основном из крестьянских и рабочих семей, подвергались в лазаретах предвзятой недобросовестной пропаганде. Казалось, по стране, как ядовитый туман, уже стлалась ложь и ширилась клевета. Ход судьбоносных событий с каждым месяцем ускорялся.

Не пощадила Г. Т. и его личная судьба. С женой они разошлись, и сын Костя остался у матери.

После отречения Государя начался уже полный разгул враждебных России разрушительных сил.

Усложнившееся при Временном правительстве неустойчивое положение на фронте и в тылу повело к стихийному образованию в Петербурге инициативных офицерских групп. По мере сил эти группы налаживали связь между отдельными частями армии. После октябрьского переворота члены этих военных ячеек работали для маскировки на разных предприятиях, фирмах, поддерживаемые материально и морально сочувствующей их делу, активной частью общественности. В небольшой фирме в Петербурге, куда устроился мой отец, работала машинисткой молодая уральская казачка Людмила Николаевна Мизинова - моя будущая мать.

После захвата власти большевиками развал армии пошел по всем фронтам, и одновременно по всей стране начался красный террор.

Весной 1918 года в Сибири, на Кавказе, на Дону стали возникать очаги сопротивления и формироваться Добровольческая Армия. Молва, доносившая имена военачальников: Алексеева, Корнилова, Деникина и других, будила надежды. Весть о гибели царской семьи - новый удар. И, несмотря на отчаяние, со всех концов России усилился поток добровольцев. Офицеры, юнкера пробирались на юг, преодолевая большие расстояния и рискуя головами при прохождении территорий, захваченных большевиками. Собралась в путь и петербургская группа отца. Г. Т. и Л. Н. накануне отъезда, в августе месяце, обвенчались. При расставании пришла к ним и первая жена Г. Т. с Костей, чтобы отец мог проститься с сыном. Мама потом говорила мне, что Мария Викторовна была обаятельная женщина, а Костя - очень славный мальчик, и добавляла: "и бровки у него, как у тебя".

Путешествие на юг было трудное и опасное. Их группа ехала врозь, по два-три человека. Потом члены группы, неся службу связи севера с югом, еще не раз совершали этот рейс. Командиром их был Василий Васильевич Тихомиров.

Во время походов Г. Т. зачастую выручало из опасного положения умение говорить простонародной речью, которую он очень любил.

Когда же наступила пора окончательного отступления и добровольческим войскам пришлось эвакуироваться, Г. Т. с женой покинул родину и взял с собой своего верного боевого товарища, простого солдата Константина Николаевича Григорьева. Прибыли они в Королевство Сербов, Хорват и Словенцев. Мои родители поселились в окрестностях Загреба, в дачном поселке. Им была предоставлена небольшая дача, а соседи обеспечили их всем необходимым, проявив заботу и внимание.

В 1921 году родилась я. Первые мои воспоминания свя-

заны с видом фруктового сада перед домом и уходящим за ним в солнечную даль цветущим лугом. Второе воспоминание - это русская песня, которая звучала в нашем саду. У нас охотно собирались друзья, брат матери Михаил Николаевич знал много старинных песен, прекрасно играл на гитаре, и с ним разные голоса гармонично вплетались в стройное пение хора. Каждая нота, казалось, говорила о России, по которой все тосковали. Мама рассказывала потом, что разговор обычно соскальзывал на тему о желанном возвращении на родину и с грустью добавляла: "Я не думала тогда, что это может стать действительностью".

Потом мы переехали в Загреб. Приближалось время поступления в школу. Говорить по-хорватски я научилась, играя с детьми на нашей улице в Горнем граде (старая часть Загреба). Я тогда уже знала, что мы - русские и живем в изгнании, потому что в России произошла революция и там много погибло народу, что были убиты царь, царица, молодые княжны и больной царевич. Знала, что у нас в Югославии король Александр, который любит Россию и учился там в школе. Поэтому я никак не могла понять, почему у нашей ворчливой соседки вместо портрета короля висит портрет какого-то Франца Иосифа.

Когда я заканчивала 1-й класс хорватской школы, мама сказала мне, что нам предстоит разлука с отцом, что он должен куда-то уехать. Отъезд отца прошел совсем незаметно, не было друзей, не было проводов. Я не плакала, прощаясь с ним, и не видела слез матери, всё прошло как-то спокойно, буднично. Они ушли вдвоем - уехал отец вместе с дядей Костей (своим другом и соратником Г. К. Григорьевым, о котором я упоминала выше). Мама мне рассказывала, что по дороге на вокзал они зашли помолиться перед чудотворной иконой Божией Матери "Каменных врат". Мы с нею и потом там бывали, это ведь было на нашей же улице, перед крутым спуском в нижний город. Там стоят древние ворота - "каменита врата", ведущие в центр старого города.

Мне в память врезался один момент последнего дня. Мне надо было застегнуть пуговицы платья на спине, я вскочила на тахту, и отец все пуговицы, как всегда, не очень ловко, но старательно застегнул. Тут же, соскакивая с тахты, я, быстро обернувшись, на лету, вдруг увидела, что папа плачет. Это было так неожиданно и непонятно, но я не подала виду, что что-то заметила.

Без отца стало тоскливо и пусто. И уж совсем грустно, когда мама заболела плевритом. Мать моих подруг, с которыми я играла в большом саду нашего дома, заметила, что мама не зовет меня к обеду. Она поинтересовалась, где она, и узнав, что она больна, тотчас же пошла к ней и в течение всей болезни за ней ухаживала.

Как-то, уже после того, как мама немного поправилась, в доме появилась какая-то женщина, я видела ее впервые. Она стала громко выражать свое возмущение моим отцом, как он мог так бросить бедную жену и маленькую дочку. Мать порывалась несколько раз ее утихомирить, но это были тщетные попытки, и она молча ждала, пока та уйдет. Когда же эта тетка исчезла, мама бросилась ко мне и стала быстро говорить: "Доченька, это всё неправда, что она говорит, папа не бросил нас, он любит нас, он жалеет нас, но он жалеет и тех бесчисленных русских людей, которые страдают сейчас безмерно, это невозможно описать словами, мы всегда должны за них молиться и горячо молиться за нашего папочку и за дядю Костю".

Потом, когда я немного подросла, мама приносила мне из французской библиотеки книги о французской революции, но не о той славной революции, которую принято восхвалять, а о той, какую она была на самом деле. Тогда еще не было книг с описанием русской революции, "какую она была на самом деле".

Моя мать давала частные уроки французского языка и этим зарабатывала себе на жизнь. Нам бывало нелегко, особенно в летние месяцы, когда у нее не было уроков. Но мама никогда не жаловалась, а мне говорила в утешение: "Зато теперь мы всё время с тобой неразлучны".

Весной 1929 года мы расстались с отцом, а осенью настал час нашей разлуки с ней. Меня повезли в русскую школу, размещенную в большом старом замке "Пановиче" среди лесов Словении. Там я провела два года, а потом училась в Донском институте, где начальницей была Н. В. Духонина, вдова последнего главнокомандующего российской армии ген. Н. Н. Духонина, убитого большевиками.

Осенью 1929 года пришло с оказией первое письмо от отца. Их сохранилось немного - писем, присланных из России между 1929 и 1932 гг. Глебом Тимофеевичем Скуратовым жене и дочери.

Первое письмо датировано писавшим, но дата зачеркнута цензурой организации, ведшей тогда подпольную работу на территории Советского Союза. Есть дата цензуры. Вверху письма красными чернилами надписан адрес получательницы, внизу первой страницы стоит: *"Цензуровано в интересах автора письма - ради его безопасности"*. (зачеркнутые цензурой места обозначены в тексте [...] - *Ред.*). В конце письма опять той же рукой дан связной адрес для ответа в Россию. Письмо написано чернилами по старой орфографии, несколько строчек вычеркнуто цензурой. Г. Т. Скуратов перешел границу СССР в Бессарабии в июле 1929 года.

Цензуровано 14/VIII-29

XXXXXX

Милая моя мамушка,

вот уже две недели я на родной земле, но пока еще чувствую себя чужим. Заехали далеко, некоторое время отдыхал там [...] теперь двинулся дальше, знакомлюсь с работой и сотрудниками. Всё производит самое хорошее впечатление: нет болтовни, к которой привыкли у вас. Ты замечаешь, я пишу "у вас", я боюсь так и останется у нас с тобой "вы" и "мы". Но все-таки я надеюсь если и не скоро и не надолго приехать к вам. Вряд ли уж останусь у вас, ведь я добился, наконец, того, к чему стремился все эти 9 лет.

Письмо от тебя получил только одно. Если ты еще писала, то получи и остальные. Хотелось бы получить ответ и на это письмо, но для этого тебе необходимо не откладывать в долгий ящик, а засесть теперь же, так как после не будет okazji. Пиши по последнему адресу, какой я тебе указал в Р(Б). Не называя собственных имен, можешь писать всё.

Часто думаю о тебе и Люлюшке; также люблю вас, но не жалею, что вы не со мной. Ты не представляешь себе всю разницу жизни "здесь" и "там". Это страна мрачных нищих, но нищих, которые не замечают своего убожества, которые думают, что "там", за пределами их страны, люди живут еще хуже, еще больше нуждаются и только грызутся между собой. Правда, здесь грызни не видно, но это потому, что одни совершенно загрызли других и уже не грызут, от того ли, что больше незачем или боятся, Бог их знает; эти же "другие" хотя и не рыпаются пока, но, кажется, крепнут.

Ну да ладно, Бог даст, увидимся, поговорим, а теперь прошу тебя не дальше как завтра написать мне поподробнее о всем, что меня может интересовать, конечно, если у тебя будет желание писать. Передай привет г-ну Мартину и В. И.

Крепко целую тебя и Люлюшку.

Твой Глеб.

2-е и 3-е письма обращены к дочери. Одно датировано цензурой 20/III, года нет, вероятно, 1930. Второе датировано цензурой же. Письма жене не сохранились. Письма написаны чернильным карандашом крупными буквами.

Дорогая моя дочурочка, надеюсь, письмо застанет тебя в Загребе, а если нет, то мама перешлет его тебе.

Я очень соскучился без тебя и каждый день вспоминаю свою девочку. Ты, наверное, приехала к маме на Рождество, а у нас здесь нет ни Рождества, ни Пасхи; зато есть много других хороших вещей, и детям живется весело и

интересно. Мне очень хочется, чтобы ты с мамой приехала сюда. Напиши мне письмо. Ты, вероятно, уже хорошо пишешь по-русски, а раньше ведь писала только по-хорватски. Напиши, как тебе живется и часто ли тебя наказывают. Я думаю, что часто, так как ты всегда была большая шалунья. Но это не беда; главное, будь доброй и умной девочкой, какой ты была в Загребе.

Крепко, крепко целую мою славную девчурочку.

Любящий тебя папа.

Цензура 6/VI-30

Дорогая моя девчурочка, крепко тебя целую и поздравляю с днем рождения. Очень жалко, что не могу на самом деле поцеловать тебя.

Я всё мечтаю о том, когда привезу тебя сюда. Здесь хорошо и люди хорошие - русские. Желаю тебе быть здоровой, умной и доброй девочкой, а для этого ты должна больше есть, больше прыгать, не очень лениться в школе и не огорчать маму. Константин Николаевич шлет тебе привет и поздравления.

Еще раз целую тебя и мамушку.

Твой папа.

4-е письмо жене не датировано, но из содержания письма можно вывести, что оно было написано осенью 1930 года. Письмо написано чернильным карандашом.

Дорогая Людмилушка, последний раз мне привезли целую кучу писем от тебя и Люлюшки; большое спасибо за них. Я очень рад, что вы это лето провели не так скучно, как прошлое, а главное, что выбрались из этого противного Загреба. В особенности доволен за дочурку. Воображаю, как она там носилась, задравши хвост; не могу только представить эту егозу за удочкой. Было бы странно, если бы она поймала хотя одну паршивенькую рыбку.

Вполне понятны ее слезы перед отъездом в пансион, но что же делать? В данном положении это единственный выход.

Напиши, получила ли ты уроки, справляешься ли с деньгами?

Мне очень больно, что я не могу помогать тебе регулярно и в достаточной степени, хотя я сам всегда одет, обут и сыт. К счастью, начальство у меня внимательное, оно опять обещало выслать тебе денег.

Очень хорошо, что ты занимаешься немецким, хотя, по-моему, целесообразнее изучать английский. Я думаю, что ты быстро добьешься хороших результатов.

О себе много писать не могу; здоровье мое превосходно, настроенце также.

Конечно, очень хотелось бы повидать тебя и дочурку, но в настоящее время это невозможно - масса работы. Здесь положение хорошее: "лед тронулся", и это должно принести нам хорошие результаты, а, может, и завершение нашей задачи.

Страна находится в том же состоянии хаоса и руины, как и в 20-м году, если не хуже. Все без исключения предметы первой необходимости и продукты выдаются по карточкам, да и то, главным образом, рабочим и коммунистам. Остальная масса населения, в том числе и крестьяне, живет как придется. Жалкие кооперативы пусты - нет ни мануфактуры, ни обуви, нет табаку, сахара, мыла, да и вообще ни черта нет. Понятно, что народ дошел до белого каления. Среди коммунистов на этой почве идет грызня; большая часть рабочих также недовольна. Озlobившийся народ только ждет какого-нибудь толчка, чтобы подняться и уничтожить этих бесталаных "строителей коммунизма".

Как видишь, положение серьезное, приходится усиленно работать и готовиться; ни о каких личных делах не может быть и разговора. Развлекаюсь, как и ты - книгами. Вот чего здесь много и дешево - это всевозможной литературы, правда, большая ее часть пишется по "со-

циальному заказу", но есть и много талантливых новых писателей; много также хорошей переводной литературы.

Ну, я что-то разболтался сегодня, пора кончать. Следующее письмо пошлю, вероятно, нескоро. Увидишь дочурку, крепко расцелуй ее за меня. Да! Ты так и не написала мне о загребских сплетнях, а нас это очень интересует, напиши о них подробнее, хотя бы и без указания источника. Будь здорова.

Твой Глеб.

Р. С. Сейчас появился Костя. Он и передаст это письмо дальше. Он всё такой же, только лысиной скоро догонит меня. Шлет тебе свой привет.

Цензура 5/VI-31

17-V-31

Наконец, после долгого перерыва имею возможность написать тебе, милая Люленька. Зимой было затишье, поэтому и сам не мог писать, и от тебя ничего не получил. Последнее письмо твое помечено октябрём, но зато теперь я предвкушаю удовольствие получить сразу кипу твоих, так необходимых мне, писем.

Жаль только одного, если я не найду в них ничего, кроме упреков и жалоб на мои короткие и холодные послания.

Правда, они короткие, но ты же понимаешь, что многого, что хотелось бы, я не могу написать, а размазывать и рассусоливать на десятках страниц какую-нибудь ерунду попросту не желаю.

А уж относительно холодности моей и нежелания видеть тебя и Люлюшку ты и совсем несправима: ты должна верить, и даже не верить, а знать, что, кроме Родины, которой я отдал всего себя, у меня в жизни есть только ты и Люлюшка, причем Родина, конечно, на первом месте, и я уверен, что в твоих же глазах я потерял бы всякое уважение, если бы было наоборот.

Конечно было бы очень хорошо совместить и дело и

заботу о вас, но, к сожалению, в данное время это невозможно.

Не думаю, что тебе легко в той обстановке и полном одиночестве бороться с жизнью, но ведь я же тебя не связываю; опять повторяю, что я был бы счастлив, если бы ты устроила свою личную жизнь; ведь ни ты, ни Люлюшка от этого ничего не потеряете: для дочурки я по мере сил и умения буду хорошим отцом, а для тебя всегда останусь верным и любящим другом.

Тебя, конечно, интересует, когда же окончится наше дело?

Трудно, дорогая, сказать. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сейчас мы идем, что называется, тихой сапой: внешне, как и должно быть, наша работа незаметна, но она движется успешно, я сам тому свидетель; затем последует взрыв и решительная атака. Поэтому никаких сроков не назначаем, но, видя всю проделанную работу, твердо уверены в нашей конечной победе. И вот тогда, я надеюсь, мне можно будет подумать о себе или, вернее, о тебе и Люлюшке.

Вероятно, дочурка уже приехала к тебе. Воображаю, какая она большая! Как бы мне хотелось посмотреть на нее, погулять с ней. Я очень любил ходить с ней в город, только всегда было страшно за эту егозу - того и гляди попадет под трамвай или автомобиль.

Тебе, вероятно, в этот раз передадут 15 д.; все-таки это немного поможет тебе.

Ты много писала насчет фотографий, но до сих пор ничего не прислала; а мне очень отпадно было бы иметь твою и Люлюшкину карточки; только посылай размером не больше открытки, предпочтительно было бы, конечно, любительские - терпеть не могу "художественные произведения" фотографов.

Будь здорова. Крепко целую тебя и дочурку.

Любящий тебя Глеб.

Р. С. О получении денег и письма, конечно, лучше нико-

му не говори и ответь немедленно. Если переменишь свой адрес, сообщи об этом в Б. г-ну А.

Здравствуй моя родная девочка. Поздравляю тебя с днем рождения. Собственно говоря, ты уже не девочка, а большая девица. Ведь тебе уже целых 10 лет. Не выросла ли ты больше мамы?! Я думаю, ты уже ростом, как мадам Боярская?! Напиши, как тебе живется в пансионе, как учишься и сколько дней в году тебя не наказывали? Я думаю, их легко сосчитать.

Вообще напиши больше о своих шалостях, а то мама всегда пишет только, что ты очень хорошая девочка, а о твоих проказах молчит. Напомни маме, чтобы прислала твою и свою карточки.

Не озорчай маму и больше помогай ей: ведь бедной мамуле сейчас очень тяжело; а также не забывай горячо любящего тебя папу.

(Приписки другим почерком.

Деньги Вам будут переданы на днях (15 долларов).

Если Вы на это письмо ответите немедленно, то Ваши ответы будут скоро доставлены.)

И последнее, после долгого перерыва, письмо отца из России. Скорее всего - это 1932 год.

г. Загреб. Мдте Скуратовой

Здравствуй родная моя Люлюша. Ты, вероятно, удивляешься, а может, волнуешься, что так долго не получала моих писем. Но, как видишь, я пока жив и здоров, но в свою очередь беспокоюсь о тебе и Люлюшке маленькой, так как с августа прошлого года не имею от тебя никаких известий. Правда, в ноябре твои письма уже были почти у меня в руках, но тут вышел маленький камуфлет, так что письма пропали, а почтальон еле-еле выка-

рабкался. Ты понимаешь, что у нас здесь бывают разные случаи, и благодаря другому подобному случаю я сам с июля прошлого года не мог написать тебе. К счастью, с письмами это случилось впервые, но всякими другими случайностями наша жизнь весьма богата.

Чтобы отделаться от собственной персоны, повторю, что я жив и здоров, хотя рука моя побаливает чаще; эту зиму болела почти еженедельно, но в общем чувствую себя прилично. Правда, плоховато насчет жратвы, несмотря на то, что "мы" засеяли в прошлом году на 25 миллионов гектар больше, чем до войны. Хлеб, как и все остальные продукты, выдается только по карточкам, аптекарскими дозами, на базаре же самого поганого качества стоит 5 и больше руб. кило; сахар в этом году можно достать, да и то с большими трудностями, за 15-20 руб. То же самое можно сказать и насчет "ширпотреба" (так называются здесь паршивые штаны, юбки, носки, ботинки и прочее). Продукция по "нашим" вычислениям выросла, кажется, в 3 раза, а все ходят в отрепьях, конечно, за исключением избранных; словом, постройка социализма идет вперед быстрыми шагами.

Тебя, вероятно, интересует вопрос, когда же я уеду из этого социалистического рая. На это скажу тебе, что, с одной стороны, возвращаться в ваше "чистилище" тоже нет особенной охоты, тем более, что я боюсь нарушить твой покой, а с другой, и это, конечно, главное, обстоятельства сложились так, что возвращение мое в настоящее время весьма затруднительно.

Ну, о себе я, кажется, слишком расписался; давай поговорим о тебе и Люлюшке. Ты в своих письмах о себе ничего не пишешь, а мне кажется, что наше такое длительное и довольно близкое знакомство дает мне право рассчитывать на твою откровенность и знать, как ты живешь и чем дышишь, но ты, повидимому, другого мнения. Ну, что ж, я не в претензии, тем более, что в этом своем праве я тоже сомневаюсь. Во всяком случае прошу тебя писать о себе хоть что-нибудь.

Теперь о Люлюшке. Ты писала, что прошлым летом

ей собирались делать операцию и кроме того что-то насчет пребывания в институте. Вероятно, ты потом писала обо всем этом, но благодаря вышеупомянутому камуфлету я ничего не знаю и, понятно, беспокоюсь о вас. Пожалуйста, не ленись и напиши об этом еще раз. Постарайся ответить немедленно, чтобы я смог получить твое письмо с этой okazji. Вообще пиши подробнее и чаще и о себе и о Люлюшке. Неплохо будет, если напишешь вообще о загребчанах, а, главное, о себе.

Имей ввиду, что я, выражаясь высоким штилем, несмотря на свои усиленные занятия чрезвычайно ответственными делами огромной политической важности /.../ никогда не забываю о двух Люлюшках, а люблю их, кажется, еще больше.

Ну, пора заткнуть свой фонтан. Крепко обнимаю и целую тебя и Люлюшку.

Всегда твой Глеб.

Р. С. Деньги переишлют, как и всегда. Привет всем, кто помнит меня.

Целую. Глеб.

Тоталитарность и соборность: два лика русской культуры

Проблема, сформулированная в заглавии, изначально нуждается не только в обосновании, но и, так сказать, в "оправдании". Дело не только в реальной неподъемности заявленной проблемы (с позиций строгого академизма, даже ее постановка, может быть, слишком поспешна и слишком преждевременна).

В поляризованном сознании нашего общества оба первых слова, прилагаемые к русской культуре (как, впрочем, и к русской истории), не просто решительно и нейтральны, но и аксиологически окрашены совершенно противоположным образом. Нисколько не утрируя, можно утверждать, что для одних наших соотечественников соборность русской культуры является лишь синонимом ее врожденного тоталитаризма (либо, по крайней мере, еще одним кирпичиком в тоталитарной ее твердыне, которую можно и должно сломать - хотя бы для блага остального человеческого сообщества). Для других же само употребление понятия тоталитарности по отношению к культуре России является изначально предвзятым методологическим приемом (в лучшем случае, некорректной экстраполяцией).

В первом случае акцентируется как бы самоочевидное подавление свободы личного "я" двумя родственными сверхличными силами, во втором - постулируется априорный приоритет "общего дела" перед личным индивидуалистическим началом.

Мы изначально вынуждены отказаться от всякой утопической попытки "примирения" этих полярных позиций. Возможно ли "примирить" христианина, для которого *безличность* человека означает забвение им Божественного образа (лика) в себе, и атеиста, понимающего стремление к Богу именно как *обезличивание* (все идут в "одну сторону", называют себя "рабами Божиими", пишут слово "Бог" с большой буквы, а "человек" - с маленькой и т. п.)? Суть противостояния, увы, не в значении слов, которые стоит лишь по-декартовски "уточнить" - и тогда как будто мир избавится от множества заблуждений. В нашем случае совершенно очевидным образом невозможно избавиться от "знаменателя", порождающего эти и другие "заблуждения": от разницы *менталитетов*.

Полагаем, что полярный разброс в оценках того или иного культурного события зачастую определяется глубинными основами различных поведенческих структур, осознаваемых или не осознаваемых нами. Полярных не потому, что мы как субъекты восприятия "неправильно" или же "каждый по-своему" оцениваем, например, возвращение к массовому читателю "Слова о Законе и Благодати" митриполита Илариона, а поскольку мы - по большей части все-таки подсознательно - "помещаем" то или иное событие в принципиально *разные* ментальные контексты с их несовпадающими "плюсами" и "минусами".

Освободиться от своих контекстов, по-видимому, все-таки невозможно. Эта глубинная субъективность особого рода, которая совершенно неистребима, "как сама природа", по словам Окуджавы. Возможно лишь, осознав собственную ментальность, собственную "предрасположенность", учесть ее и попытаться скорректировать, интерпретируя тот или иной культурный феномен. Насколько же удачной может быть такая попытка, можно судить лишь с позиции внеположной позиции интерпретирующего...

Пожалуй, главный аргумент сторонников типологической идентификации соборности и тоталитарности - это

доминирующая в той и другой системах идея некой могущественной сверхличной ценности, по отношению к которой индивидуумы как бы *уравниваются* между собой и, тем самым, нивелируются. Идея *равенства* людей, которая, строго говоря, конечно, не имманентна только лишь русской культуре, однако в самом деле очень специфически проявила себя именно в России.

Несомненно, сопричастность *высшей* инстанции - родовая черта советской литературы на русском языке. Выбор иллюстраций к этому тезису совершенно неограниченный. Наверное, писатели третьего ряда общеродовую черту потока выразили в своих произведениях даже намного рельефнее, нежели другие. Но остановимся на лучшем поэте советской эпохи, остановимся у *истоков* нового отношения к миру (или, по крайней мере, декларируемого в качестве нового). Ю. Карабчиевский совершенно прав, указывая на главную заслугу В. Маяковского перед коммунистическим режимом: "он дал этой власти дар речи"¹. Но насколько новое отношение к миру, проявившееся в "речи" поэта, действительно новое?

Нас интересует, прежде всего, степень приближения Маяковского к соборному началу как к определенному типу сверхличного единения людей². Не вызывает сомнений полная самоидентификация с частью какого-то могущественного целого:

"Я счастлив,

что я

этой силы частица,

(здесь и далее выделено нами. - И. Е.)

что общие

даже слезы из глаз".

("Владимир Ильич Ленин")

Чрезвычайно важно, что далее подчеркнут момент *приращения* "этой" высшей сверхличной силе.

Сравним типологический механизм проявления лирического восторга в этом тексте и, например, стремление лирического героя Федора Глинки

"Туда, к надзвездному престолу,
Отколе веет *сила сил*,
И свет неведомых светил
Струями чистыми стремится".

(*"Молись, душа"*)

На первый взгляд, мы имеем совершенно идентичные установки. Ведь и в последнем случае налицо *радость* от чаемого растворения в чистых струях сверхличного, от самой возможности "погрузиться в *тот* светоносный океан".

Но зададим "детский" вопрос: в чем *главное* отличие (если оно, конечно, вообще имеется) *"этой силы"* Маяковского от *"того океана"* Глинки? В том ли, что "счастье" Маяковского сполна реализовано в настоящем, а стремлении Глинки - это порыв и вознесение (*"Молись, душа моя, молись! И за молитвой возносишься"*), хотя и предполагающее возвращение на землю (*"но возвратясь в земной туман"*)?

Мы не сумеем ответить на "детский" вопрос до тех пор, пока не сформулируем его иначе (безотносительно к Глинке и Маяковскому): отличается ли стремление к Богу и служение Ему от служения дьяволу? Если Добро и Зло - две сверхличные силы, то является ли типологическая общность (*сверхличное*) достаточным основанием для их неразличения? Если менталитет исследователя русской культуры таков, что для него эти полярные силы *едины* в своей могущественной несоизмеримости с силами отдельного человека, то для него, разумеется, вопрос чьей "силы частица" ("той" Глинки или "этой" Маяковского) является уже в самом деле второстепенным. Тем более, и Маяковский ведь *тоже* призывает к сакральной (хотя, можно сказать, и *клановой*) *чистоте* особого рода причастия:

"Сильнее

и чище

нельзя причаститься

великому чувству

по имени

класс!"

(*"Владимир Ильич Ленин"*)

Правда, даже Н. А. Бердяев, стремившийся акцентировать особенности именно *русского* коммунизма, имманентного российской истории (и на этом основании даже свяителя Иоанна Златоуста называвшего "совершенным коммунистом"³), тем не менее, определил современный ему коммунизм как "исповедание определенной веры, веры *противоположной* христианской. Вся советская литература утверждает такое понимание коммунизма. Коммунисты любят подчеркивать, что они *противники* христианской, *евангельской* морали, морали любви, жалости, сострадания. И это, может быть, и есть самое страшное в коммунизме"⁴. Государство же, насаждающее эту особого рода мораль "есть единственное в мире последовательное, до конца доведенное тоталитарное государство"⁵.

Однако тоталитарное государство с верой "противоположной христианской" (то есть *антихристианской*) является в строгом смысле слова не абстрактно "атеистическим", но именно тотально *антихристианским*. Разрушение храмов Божьих в той самой стране, где совсем недавно православие было государственной религией - лишь внешнее проявление новой веры. В конечном же итоге, мы видим проникшее во все сферы официальной идеологии целенаправленное и методичное стремление к тому, чтобы "советский народ" евангельскую систему координат (с этикой любви, жалости и сострадания) изменил не просто на иную, новую (советскую), но на *прямо противоположную* старой.

Ю. Карабчиевский, полушутя-полусерьезно рассуждающий о сатанизме Маяковского, зачарованный личностью своего героя, упускает одно: в лучшем поэте советской эпохи лишь лучше всего проявились ментальные черты этой эпохи. Поэтому влияние Маяковского, которое он находит у многочисленных его советских продолжателей, отнюдь не всегда имеет чисто поэтическую природу.

Ведь, например, хрестоматийное поэтическое донесение фотопортрету Ленина:

"Товарищ Ленин,
 работа адовая
будет
 сделана
 и делается уже",

- может быть хорошо дополнено не менее известной прозой.

"Вл. Ленин был человеком, который *так* помещал людям жить привычной для них жизнью, как *никто* до него не умел сделать это". Не правда ли, формулировка нашего главного пролетарского писателя Горького (очерк "В. И. Ленин") не менее чеканна и замечательна.

Еще две цитаты, взаимно комментирующие и выгодно оттеняющие одна другую, - о том же герое. В обоих его деяния рассматриваются в интересующем нас ментальном аспекте.

"Как будто
 сердце
 с-под слов выматывал,
как будто
 душу

тащил из-под фраз"
 ("Владимир Ильич Ленин")

"А сегодня гладить по головке никого нельзя... и надобно бить по головкам, бить безжалостно... Гм-гм, - *должность адски трудная. [...]* Потирая руки, он шутил: "Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а - перевернется!" (очерк "В. И. Ленин").

Оба текста созданы в двадцатые годы, оба автора рисуют явно демонический портрет своего героя. Причем для каждого стоящий за совершенно проходными как будто синтаксическими конструкциями демонизм злого гения России является, тем не менее, предметом эстетического и этического любования. Каждый просто вызывается на роль Архимеда, чтобы, найдя наконец точку опоры в

последовательной антихристианской позиции своего могущественного героя, непременно перевернуть если не мир, то хотя бы христианскую систему ценностей.

Советские авторы постоянно как бы *проговариваются* в экстазе упоения тоталитарным злом, воплощенном в фигуре вождя тоталитарного государства. Так, одна из финальных фраз Горького из того же очерка ("Вл. Ленин большой, *настоящий человек мира сего*") будто бы совершенно произвольно, но с пугающей неумолимостью вызывает в сознании читателя образ иного субъекта "мира сего", отнюдь не человека... Собственно, здесь контаминированы *две* дефиниции (и сама контаминация - факт замечательный): "настоящего человека" советской ментальности и князя "мира сего".

Так ли случайно объединены обе сущности в одном герое? И механическая ли это контаминация, простое склеивание двух различных начал? Не есть ли это отзвук постромантического идеала Горького, где в целостном виде явил себя симбиоз Сатаны (вторая часть формулы писателя) и человека (первая часть определения)? Если это так, то в самом строгом смысле слова перед нами не что иное, как классическое определение Антихриста. Ведь антихрист - это "человек греха", воплощающий в себе абсолютное отрицание заповедей Бога... посланник сатаны"⁶.

Сомнения в случайности горьковской оговорки усиливаются, если рассматривать ее в контексте очерка. Несколькими страницами ранее Горький в очередной раз, снова и снова подчеркивая *уникальность* советского вождя, проводит какие-то странные, двусмысленные параллели, характеризуя тот русский менталитет, который и явился полигоном для его героя. "В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство "спасения души" (кавычки горьковские - И.Е.), я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы *ненависть, отвращение и презрение к несчастью, горю, страданиям* людей. В моих глазах эти чувства... особенно высоко под-

нимают Владимира Ленина, человека страны, где во славу и освящения страдания написаны самые талантливые евангелия..." Итак, презрение к страданиям людей (равно как и к "спасению души") истолковано как высшая моральная добродетель, "особенно высоко" поднимающая героя очерка на фоне именно *христианской* страны.

Для Горького прославление "настоящего человека мира сего", полностью отрицающего христианские догматы⁷ в православной стране, в высшей степени органично и отнюдь не конъюнктурно. Еще в 1905 году в знаменитых "Заметках о мещанстве" он утверждал, что "вся наша литература - настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивности". Поэтому, например, Толстой и Достоевский, "два величайших гения... однажды оказали плохую услугу своей темной, несчастной стране". Чем же? "Проповедью терпения, примирения, прощения, оправдания", - отвечает Максим Горький, то есть именно утверждением христианских *соборных* ценностей...

В статье времен первой русской революции писатель еще не мог (или не захотел) прямо идентифицировать христианскую этику с "апологией пассивности". В статье же 1930 года, "дозрев", он уже сделал это.

После подобных откровений и оговорок основоположника социалистического реализма поневоле и стихотворные строки, характеризующие вождя ("душу ташил"), воспринимаются не только как поэтические метафоры.

По-новому осознаются и иные переключки русских и советских поэтов. Остановимся на одной из них.

Ф. Тютчев:

Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.

В. Маяковский:

Для нас
это слово
могучая музыка

могущая

мертвых

сражаться поднять.

Особенно характерно собирательное "мы", как бы наглядно демонстрирующее противоположность русского и советского менталитетов. Ведь эти "мы" этически совершенно полярно ориентированы. Для Тютчева восставшая нежить - антагонист "мы", а для Маяковского - союзник.

Но какова сила поэтического пророчества! Ведь непосредственный повод для написания тютчевского стихотворения - польское восстание 1863 года, однако "безобразный сон" сбывается *буквально*, хотя и спустя более чем полвека. Метафорические "мертвецы" Тютчева словно в самом деле оживают, пробуждаемые дьявольской "музыкой" (воскресение, таким образом, свершается, но именно как бы в качестве "опровержения" Нового Завета, *посрамления* победы Христа над смертью, в качестве *реванша* антихриста).

"Осьмой" месяц сражений ("Осьмой уж месяц длятся эти битвы") материализовался в размененный тоталитарной властью восьмой десяток лет сатанинской борьбы с "правдой Божьей":

И целый мир, как опьяненный ложью,
Все виды зла, все ухищренья зла!..
Нет, никогда так дерзко правду Божью
Людская кривда к бою не звала!..

И этот клич сочувствия слепого,
Всемирный клич к неистовой борьбе,
Разврат умов и *искаженье слова*
Всё поднялось и всё грозит тебе,

О край родной! такого ополченья
Мир не видал с первоначальных дней...
Велико, знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!

Разве эти строки не о позднейшем "ополчении" бесовства, использовавшего и использующего "все ухищренья зла"?

Разве "это слово", при помощи которого Маяковский надеется "мертвых... поднять" на сражение с теми, "для кого коммунизм - западня" не является именно намеренным и сознательным "искажением Слова" Божьего? Не та ли это "замена", звучащая в другом тексте:

Заменим

звоном

шагов в коллективе

колоколов

идиотские звоны.

Мы пафосом новым

ульёмся дõпьяна.

("Два опиума")

Замена соборного единения тоталитарным коллективизмом как частное проявление общей *подмены* Божественного - дьявольским связана здесь с мотивом "ульёмся дõпьяна". Ведь это образ мира "опьяненного ложью" из сновидения Тютчева, в котором мы пребываем - только наяву.

Разве бесовский "клич к неистовой борьбе" с "правдой Божьей" (то есть с христианской этикой) не реализован в упившемся дõпьяна ложью советском мире:

Не справимся

с богом

газетным листком -

несметную силу

выставим против.

("Надо бороться")

Разве, наконец, рвущаяся к бою "несметная сила" не напророчена еще полвека назад ("Всё поднялось и всё грозит тебе, О край родной! такого ополченья Мир не видал с *первоначальных дней*")?

"Первоначальные дни", дни сотворения мира, как будто совершенно неуместно используются Тютчевым в качестве точки отсчета для указания на вселенский масштаб зла.

Однако тютчевский мотив подхватывается и, тем са-

мым, подтверждается тем, кто осознает себя "частицей" несметных сил зла:

Ленин с нами
бессмертен и величав,
по всей вселенной (! - И. Е.)
ширится шествие
мыслей,
слов
и дел Ильича.

("Ленинцы")

Вселенский характер "такого ополчения" и в некотором смысле нечеловеческое бессмертие его предводителя (вспомним, что в русском фольклоре бессмертием наделен именно inferнальный герой - Кощей) заставляет еще и еще раз - с некоторым замиранием сердца - вспомнить ту самую, навсегда вошедшую в наше сознание строку Тютчева: "В крови до пят, мы бьемся с мертвецами".

Бахвальство Маяковского, его невообразимая дерзость:

Нынче
нами
шар земной заверчен.

("Владимир Ильич Ленин")

уже поневоле воспринимается не как бездарное политизированное стихотворение, а вновь как *голос* злой силы, подтвердивший еще пушкинские опасения ("В поле бес нас водит видно Да *кружит* по сторонам... *Закружились* бесы разны...").

Верчение "шара земного", совершаемое от имени коллективного "мы" (вспомним и мандельштамовское "Всё, Александр Герцевич,/ Заверчено давно", составляющее, согласно Н. Харджиеву, пародийную переключку с "Молитвой" Лермонтова)⁸, может быть, и является той самой "работой адовой", о выполнении которой Маяковский докладывал изображению Ленина - двойнику христианской иконы? Между прочим, неслучаен и открытый рот сакра-

лизуемого вождя ("Рот открыт в напряженной речи"). За этим скрывается и совершаемый посмертно "всемирный клич к неистовой борьбе", и *искажение* норм православной иконописи. Молитва-донесение, адресованная "фотографии на белой стене", вполне соответствует демоническому изображению:

Мы их
всех,
конечно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасно трудно.

Любопытно, что прозвище Ленина, отмечаемое Горьким, - "Синьор Дринь-дринь" - звучит как искажение и замена пушкинской звукописи в "Бесах" ("Колокольчик дин-дин-дин... Страшно, страшно поневоле"). Хочется верить в утвердительный ответ на вопрос каприйских рыбаков из горьковского очерка: "Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?" Надо думать, душа "синьора Дринь-дринь" давно заняла подобающее ей место, что иной Царь воздал наконец по заслугам герою советской эпохи, предоставив ему возможность "работу адову" совершать не опосредованным, а самым непосредственным образом.

В тютчевском стихотворении не только предсказана эра тоталитаризма, но и постулируется уверенность в неодолимости "правды Божьей". Религиозная устойчивость и неподатливость подчеркнуты тремя финальными глаголами, каждый из которых по-своему *антонимичен* бесовскому мельтешению и верчению: "Мужайся, стой, крепись и одолей". Последняя строка представляет собой не что иное, как совершаемое для одоления зла крестное знамение, сопровождающееся начальной молитвой. После трех взаимно поддерживающих друг друга глаголов следует союз "и", несколько дистанцирующий финальное слово, но вместе с тем и придающий ему особую семантику, вытекающую из уверенности в конечном одолении

бесовского "ополчения", а поэтому эквивалентную итоговому: "да будет так".

Надежда на итоговое одоление сил зла передана здесь, словно в древнерусской иконе, отнюдь не изображением физической победы в битве с "мертвецами". Напротив, в финале "не чувствуется истерического восторга, а есть глубокое внутреннее горение и спокойная уверенность в достижении цели; именно этой-то кажущейся физической неподвижностью ("стой". - И. Е.) и передается необычайное напряжение и мощь неуклонно совершаемого духовного подъема: чем неподвижнее тело, тем сильнее и яснее воспринимается тут движение духа..."⁹ Но это сказано вовсе не о стихотворении Тютчева, а о древнерусской иконе...

Дело в том, что одоление сатанинского наваждения и натиска в русской культуре всегда связывалось с *соборным* началом. Е. Н. Трубецкой, характеризуя "центральную идею всей русской иконописи", писал, что "мы имеем здесь тварь *соборную* (выделено автором. - И. Е.) или храмовую... Храм не есть внешнее единство общего порядка, а живое целое, собранное воедино Духом любви. Единство... дается новым жизненным центром, вокруг которого собирается вся тварь... Образ Христа и есть то самое, что сообщает всей этой живописи и архитектуре ее жизненный смысл, потому что собор всей твари собирается во имя Христа"¹⁰.

Таким образом, соборность как "действие Духа Божия в братьях, объединенных любовью"¹¹, как видим, изначально связана с *христоцентризмом*. Обе названные темы являются, как показывает Н. С. Арсеньев, основными и для русской религиозно-философской мысли, "вдохновившими ее внезапный расцвет в середине 19-го века и продолжавшими ее вдохновлять в нынешнем 20-м веке"¹².

В какой мере соборность и христоцентризм характеризуют русскую классическую литературу? Ведь тот же Горький считал ее "самой пессимистической литературой Европы"... Почему - в самом деле - тот, кого школьное литературоведение называет "положительным героем", так мало представлен в русской классике?

Ответ на этот вопрос можно найти, лишь обратившись к истокам русской культуры. Религиозный характер древнерусской литературы слишком очевиден, чтобы этот тезис заново аргументировать. Столь же хорошо известно, что русская литература первых семи веков своего существования отчетливо христоцентрична, то есть изначально ориентирована, прежде всего, на Новый Завет. Это качество древнерусской литературы объединяет ее с литературой других православных стран. Но характерная именно для "русской святости" (С. Аверинцев) "попытка принять слова Христа о любви к врагам, о непротивлении злу, о необходимости подставить ударившему другую щеку абсолютно буквально, без оговорок, без перетолкований"¹³ - это и есть проявление того христоцентризма, который, как мы полагаем, констатирует единство древнерусской литературы и русской классики Нового времени. Возможно, что глубинная, тесная и никогда не прерывающаяся связь с Новым Заветом - *главное*, что констатирует и единство русской культуры в целом. Может быть, "скрытое воздействие не прекращается и тогда, когда о православной традиции и не вспоминают"¹⁴.

В древнерусской литературе соборное начало проявляется *эксплицитно*, ведь главное назначение этой литературы - воцерковление человека. Церковный год, связанный в православии с Пасхой и вытекающий из нее, утверждает конечную победу над смертью и придает тем самым осмысленность жизни каждого христианина на пути его к Богу. Советские литературоведы-медиевисты, выделяя важнейшие особенности поэтики древнерусской литературы, вынуждены были избегать подчеркивать ее религиозную семантическую доминанту. Тогда как совершенно очевидно, что, например, отмечаемая как особенность этой литературы высота нравственного идеала имеет отчетливо новозаветный ориентир, а "ансамблевое строение" литературы (Д. Лихачев) - подчеркнуто основывается на идее православной соборности.

Отметим, что в самом выборе конфессии (и соответ-

ственно, *этической* системы координат) *эстетический* момент (красота Богослужения) едва ли не явился важнейшим; по крайней мере, в сознании древнерусского книжника.

Добро и красота в русской культуре изначально не только не противостоят друг другу, но и совершенно неотделимы друг от друга. Сакральное эстетизируется, поэтому позднейшее "красота спасет мир" означает, помимо всего прочего, еще и *восстановление* православной традиции, то "возвращение к религиозной первооснове жизни", о котором писал Г. Федотов¹⁵.

В классической русской литературе XIX века евангельский христоцентризм проявляет себя как прямо (например, в "Воскресении" Л. Толстого), так и, гораздо чаще, *имплицитно*: авторской этической и эстетической ориентацией на высший нравственный идеал, каким является Иисус Христос. При этом сам центральный персонаж Нового Завета часто остается как бы за скобками повествования, но незримо присутствует при этом в сознании автора и читателей: слишком жива еще прошлая установка древнерусской литературы на непосредственное введение образа Спасителя в ткань книжных текстов.

Отсюда постоянное ощущение *несовершенства* всех других изображаемых персонажей (давшее повод Горькому говорить о пессимизме), критицизм социальный и нравственный - при *проецировании* "реальной" жизни героя произведения на идеальную жизнь героя Нового Завета, даже если таковая проекция и не осознавалась до конца самим автором произведения. Наложение христианского идеала (морального абсолюта в его православной чистоте и "ортодоксальности") на реальную жизнь в России (как, впрочем, и в любой другой стране) оттеняло неизбежную *неполноту* этой жизни.

Христоцентризм - та сверхличная цель, к которой должно только приближаться, что всегда нелегко. При этом следует со всей определенностью подчеркнуть, что подобное стремление отнюдь не феномен утопического сознания

(это утопия лишь для атеистически ориентированного менталитета, утопия в самом буквальном смысле как стремление к "месту, которого нет"). Для человека же православной ментальности, напротив, это "место, которое уже было". Иисус Христос был явлен миру и как Спаситель, искупивший грех ветхозаветного Адама, и как образец нравственной высоты.

Отсюда же отчасти понятны максималистские этические требования к герою литературного произведения в русской классике, намного более строгие, нежели в западноевропейской того же периода, где "планка требований" намного ниже и, так сказать, "реальной". Православно ориентированные русские писатели не желали (а может быть, и не могли) уступать требованиям секуляризованной жизни. Да и сама секуляризация русской культуры явление более "мягкое", более позднее и не завершившееся даже к двадцатому веку, если сравнить этот процесс с аналогичным в Западной Европе.

Поэтому в русской классической литературе так мало центральных героев, выдерживающих сопоставление с заданной древнерусской книжной традицией нравственной высотой. А. Солженицын, рассуждая о "потерянных мерках" высокостойкости русских людей, сетует, что "по русской литературе XIX почти нельзя понять: на ком же Русь простояла десять столетий, кем же держалась?"¹⁶ Но мы, кажется, начинаем понимать - кем...

Можно понять и наших писателей: любой человек "хуже" Христа, отсюда так мало удачных "хороших" героев: в сознании автора всегда присутствует "наилучший". А вот в литературе советской героев, вполне "устраивающих" автора, чрезвычайно много. Воистину, легион. Каждая профессия обязательно имеет своего героя (а то и нескольких). Этическая планка приемлемости опущена до уровня, внятного социалистическим представлениям о человеке: разбегайся и прыгай! Горький добился своего: советская литература как полный антипод русской стала самой оптимистической литературой в Европе. Характер-

но, кстати, что атеистические журналы 20-30-х годов параллельно общему снижению нравственного порога особенно и планомерно пытались дискредитировать в сознании своих молодых читателей даже не столько религию как таковую, а именно саму личность Иисуса Христа.

Постоянная боязнь духовного несовершенства перед лицом Святой Руси (которая, как показал, С. Аверинцев в цитированной выше статье, является отнюдь не национально-географическим пространством, а именно нравственно духовной субстанцией), страх несоответствия низкой наличной данности этой высокой заданности делает все другие земные проблемы человеческой жизни второстепенными и малозначительными. Так, извечная неустроенность и незавершенность (как бы бесформенность) российской мирской жизни (если ее сопоставлять не с позднейшим советским беспределом, а со стройной уютностью и удобной оформленностью европейского быта) своеобразно преломились и в литературе, где иной раз доминирует не иерархический порядок, а органический лад.

Оборотной же стороной духовного максимализма русской литературы явилось столь же полное и безусловное *приятие* Божьего мира. По словам Д. Лихачева, "первые русские произведения полны восхищения перед мудростью вселенной"¹⁷. Это восхищение - в той или иной форме - всегда присутствует в русской культуре. Перед Богом равны все - как рабы Его. Дистанция между грешниками и праведниками, безусловно, имеется, но и те, и другие в *равной* мере недостойны Его. Однако это же означает, что *все* достойны любви, жалости и участия. Отсюда та не совсем понятная человеку иного менталитета (скажем, советского) любовь к убогим, юродивым, нищим и каторжникам. Отсюда поразительная терпеливость и эстетизация этой терпеливости, взбесившая Горького. Это эстетизация любви к ближнему своему при всем понимании его несовершенства.

Может быть, именно этой двунаправленной установкой, вмещающей в себя ориентацию на этический абсолю

и столь же абсолютное приятие мира таким, как он нам дан, объясняется феномен, который так поразил М. Эпштейна. Исследователь, рассуждая о соотношении между образами Башмачкина и Мышкина, приходит к выводу, что "вряд ли в какой-либо другой литературе мира так коротка дистанция между самым ничтожным и самым величественным ее героями, которые представляют здесь, по сути вариацию *одного типа*. Между униженным из униженных и возвышенным из возвышенных то глубочайшее сродство, которое и составляет, быть может, неотразимую прелесть и притягательную силу русской литературы"¹⁸.

Герои отечественной классики представляют собой вариации соборного устремления к герою Нового Завета. Именно поэтому, с нашей точки зрения, иной раз и возникает ощущение, что "не целая литература перед нами, а одно, богатое замыслом и переливами смыслов произведение"¹⁹. Произведение, добавим мы, имплицитно ориентированное в своем внутреннем "замысле" на другую Книгу - точно в такой же степени, как древнерусский корпус текстов ориентирован на эту же Книгу эксплицитно.

Ведь и "древнерусская литература существует для читателя как *единое целое*, не разделенное по историческим периодам"²⁰.

Не являются ли констатации исследователей лишним аргументом в пользу искомого глубинного, трансисторического родства отечественной литературы, основанного на соборности и христоцентризме? Может быть, духовное освоение Нового Завета (как, разумеется, и всего корпуса Библии) и составляет *нерв* русской культуры? Освоение, которое в древнерусской книжной традиции ориентируется больше на "внешние" стороны проявления благодати, а в русской классике Нового времени уже приближающееся к некоему внутреннему ядру ее? Нет ли здесь, далее, значимой (хотя и очень относительной) аналогии с соотношением Ветхого и Нового заветов?

Нельзя ли объяснить потрясение, испытанное западными писателями, философами и просто читателями при

встрече с литературой нашего XIX столетия, как раз ощущением присутствия в ней того живого чувства соборности, которое давно утеряно секуляризированной культурой Запада? Может, мы имеем дело с феноменом узнавания "своего другого" (М. Бахтин), то есть последовательно христианского взгляда на мир, а вовсе не с праздным любопытством по поводу экзотической "русской души"?

Внешняя *бесформенность* русской классики (например, куски будто бы "лишнего" текста в "Войне и мире", а теперь вот и в "Красном колесе"), *полифония* Достоевского и *уклонение* от окончательной формулировки "последней правды" в произведениях Чехова при всей разнице видения мира столь разными авторами имеют общий знаменатель: христианское отношение к миру. Это суть разные *проявления* соборного начала.

И на уровне построения текста, и на уровне завершения героя автором мы наблюдаем как бы трепет перед властью над Другим (героями), трепет перед собственной возможностью окончательной и последней завершенности мира (пусть и художественного), неуверенность в своем праве на роль судьи ближнего своего (пусть и выступающего всего лишь в качестве вымышленного персонажа).

Ведь сказанная окончательно "правда" о Другом, зафиксированная текстом произведения, отнимает у него надежду на преобразование и возможность духовного прозрения, которые не могут быть отняты, пока Другой *жив*. Претензия на завершение героя - это как бы посягательство на последний суд над ним. Тогда как только Бог знает о человеке высшую и последнюю правду. В пределах же земного мира, воссозданного в художественном произведении, "никто не знает настоящей правды", как это формулирует в "Дуэли" Чехов. "Не знает" не потому, что она релятивна и "настоящей правды" вовсе не существует, а поскольку даже Богу последняя правда о человеке становится известной лишь после его смерти. До этого же рубежа всегда остается *надежда*, отнимать которую у Другого в некотором смысле означает совершать по отношению к нему антихристианский акт.

Знаменитая полифония романов Достоевского, открытая М. Бахтиным, и "равноправие" голосов автора и героев, как нам представляется, имеют те же глубинные - соборные - истоки, укорененные в русской духовности. Автор и герой в самом деле *равноправны* - но именно перед лицом той абсолютной, а не релятивной правды, которую во всей полноте дано знать только Богу. Именно по отношению к этой высшей правде любая другая - релятивна, любая "изреченная" на земле мысль *"есть ложь"*.

Кто знает, не осознание ли фактической невозможности создания действительно конгениального Новому Завету единого "произведения" русской литературы (где авторские художественные миры являлись как бы ее главами) приводило отечественных писателей - от Гоголя до Толстого - к совершенно неожиданному, в зените славы, отказу от собственно писательства ради непосредственного служения этой Высшей Правде - комментированием ли Божественной литургии, миссионерской ли деятельностью.

Советская литература внешне как бы подхватывает *оба* пучка соборного сознания русской культуры. Так, изображаемое знаменитое равенство ("простые советские люди") и вместе с тем не менее знаменитый "новый образ положительного героя - борца, строителя, вожака"²¹ - это ли не рассмотренное выше единство перед Богом и своего рода отзвук былого христоцентризма? При желании можно найти десятки и сотни аргументов, доказывающих, что тоталитарность советской литературы - это, так сказать, осознавшая себя соборность в ее революционном развитии... Быть может, такая формулировка и примирит правых советских патриотов и левых ниспровергателей? А *знаки* (противоположные) этой идентификации можно будет отнести к "оттенкам", лишь подчеркивающим согласие. Поверим на секунду, что функции красной звезды, в общем, те же, что и символика православного креста, а лужа на месте бывшего храма Христа Спасителя - это лишь подобие Светлояра, укрывшего град Китеж. Иными словами, поверим, что советская культура - продолжение культуры русской.

Нам будет неоставать - при сотне типологических аналогий - только одного атрибута человеческой личности, отсутствию которого, впрочем, при ином менталитете можно и не придавать особого значения: *души*.

Той самой души, которую "тащил" главный герой поэмы Маяковского. Надо признать, что превращение одушевленного субъекта в неодушевленный объект, которым можно манипулировать по собственному произволу, видимо, свершилось. По крайней мере, в советской литературе. Значимое отсутствие бессмертной души - едва ли не главная особенность изображаемого героя социалистического реализма.

Поэтому с такой уверенной легкостью автор может сказать о *продолжении* энтропийного процесса превращения органического в неорганическое: "Гвозди бы делать из *этих* людей, Не было б в мире прочнее гвоздей". Или: "мозг не думал, а скрежетал" (А. Платонов).

Однопорядковость живого и неживого демонстрируется и от противного - при помощи наделения органическими атрибутами тех или иных механизмов. Вообще, механизм и организм (в том числе и человеческий) в советских текстах часто суть одно и то же²². Не отсюда ли развернувшаяся вдруг на газетных страницах "Комсомольской правды" времен "застоя" дискуссия вокруг целесообразности спасения материальных ценностей ценой человеческих жизней в мирное время?

Можно говорить о трех ступенях овнешнения личности: лишение души - превращение живого в неживое - отождествление органического и неорганического. Это этапы энтропии *обратной* христианской космогонии.

В качестве иллюстраций приведем тексты, хронологически весьма удаленные друг от друга. Зато они позволяют говорить о преемственности советской культуры, подчеркивающей единство советского менталитета. Иллюстрации наши замечательны абсолютной искренностью авторов текстов и их общей убежденностью в уникальности выведенной новой генерации людей. Прозаическая цитата взята

из журнала "Пионер" (№ 5, 1938), поэтическая уже была использована до нас в книге В. М. Пискунова "Знаменосцы: Образ коммуниста в советской литературе" (1962) в качестве эпиграфа к одной из глав.

"В нашем Советском Союзе *люди не рождаются*, рождаются организмы, а *люди у нас делаются* - трактористы, мотористы, механики, академики... Я не родился человеком".

Принципиально важно, что высказывание никак невозможно приписать ни лирическому герою, ни некоему абстрактному "советскому человеку". Академик Т. Лысенко, цитируемый нами, доказывая свой тезис о неорганическом происхождении людей "в нашем Советском Союзе", апеллирует к собственному "я"! И мы - опять с некоторым холодком в сердце - обязаны *поверить* столь авторитетному свидетелю, на собственном примере убеждающему юных читателей "Пионера", что в Советском Союзе люди уже "не рождаются". Как и в то, что сам уважаемый академик не рожденный человек, по вырвавшемуся, но как бы торжествующему признанию, а человек *сделанный*. Наш герой вновь, подобно своим предшественникам, невольно *проговаривается*, уточняя: "люди у нас делаются". Любопытны и называемые подклассы *сделанных "у нас"* людей. Тем самым совершается реестровое наполнение (все-таки имеем дело с академической наукой) уже известного нам по лихой строке поэта процесса переплавки человеческого материала. Теперь только на адском этом конвейере организовано более сложное и разнообразное производство: из органического сырья ("рождаются организмы") "делаются" уже не "гвозди", а "трактористы, мотористы, механики, академики".

Если не рождаются люди, то какова же сущностная природа сконструированных, сделанных *монстров*, каков их инвариантный генетический код - после изъятия у них души? Ведь в советской литературе постоянно звучит мотив избранничества, несомненного превосходства над "ненастоящими людьми", не принявшими новую систему оценок. Даже гвозди наши, сделанные из наших же людей,

квалифицируются как самые прочные гвозди в мире. Каковы критерии оценок более сложных конструкций?

Только тот партбилета достоин,
для кого до конца его лет
партбилет - это сердце второе,
ну, а сердце - *второй партбилет*.

(Е. Евтушенко)

Боже, да ведь это и в самом деле сошедший с конвейера в качестве *идеального* образца ("*только тот...* достоин") настоящий, а отнюдь не метафорический монстр, мутант с двумя сердцами! К тому же этот *управляемый* чужой волей (да отнюдь не Божьей) гомункулус имеет в своей конструкции заложенную программу - именно на месте упраздненного сердца ("сердце - второй партбилет"). "Партбилет" и "сердце" амбивалентны, они способны заменять друг друга.

После стихотворения Е. Евтушенко еще раз убеждаемся в точности формулировок академика Т. Лысенко: люди с двумя сердцами, но и с двумя партбилетами сразу, не "рождаются", но именно "делаются".

Правда, нельзя не отметить дальнейшее усовершенствование управляемого механизма. Это усовершенствование не обошли вниманием советские литературоведы, изучающие советскую же литературу, говоря о "преемственности" и в то же время о "творческом развитии". В программе евтушенковского робота можно наблюдать некоторый плюрализм: предусмотрено, по крайней мере, два режима работы. Сказано ведь: "*второй партбилет*", следовательно *первый* тоже - на всякий непредвиденный случай - оставлен. Время прочных и однозначных гвоздей миновало.

Что же "деревенская" наша проза, уж она-то сохранила христианское отношение к миру? Увы. Ее апологеты как-то не заметили одного небольшого отличия этой прозы от русской классики XIX века. Его трудно было заметить: ведь как будто *всё сохранилось*. Остался круглый земледельческий год как фон жизни героев, осталось знакомое

нам по прошлому веку решительное предпочтение идиллической цикличности перед линейно-историческим "прогрессом". Осталось и многое другое. В сущности, советская литература, обращаясь к деревенской тематике, *очень* походит на русскую литературу.

Исчезло же - опять - главное: живое ощущение присутствия Христа, одухотворяющего и этизирующего извечный природный земледельческий цикл, наделяющего его духовным сверхличным смыслом и стоящего в центре этого круга. Для русских писателей крестьянская жизнь с ее более осмысленной и непосредственной, нежели в городе, ориентацией на православный месяцеслов была синонимом *христианской* жизни. Земледельчески-трудовой и православный годовые циклы как бы взаимно поддерживали друг друга. В советский же период круговой ход времени все еще осознается как доминирующий, но сам *центр* этого круга мало-помалу совершенно выветрился в сознании, перестал быть нравственным ориентиром и для самой трудовой деятельности. Жизнь человека, поддерживаемая лишь едва ли не языческой архаикой циклического времени, приобретает те же черты советского *автоматизма*, если не большие.

Круговое движение вокруг зияющей пустоты может, разумеется, быть эстетизировано, однако претензии на непрерывность христианской традиции при этом вряд ли уместны. Мы наблюдаем ту же дьявольскую *подмену* живого центра мертвой пустотой, пусть и совершаемую совершенно искренне и из самых лучших побуждений. Если же уповать на сохранение Бога героями лишь в сердце своем, то незачем тогда говорить о *православной* соборности: ведь подобная сублимация сигнализирует о своего рода протестантизме, пусть и патриархально окрашенном.

По крайней мере, изображение подобной ампутированной в самих ее основах крестьянской жизни как *должного* нравственного состояния (хотя и разрушаемого, либо угасающего *должного*) вряд ли совместимо с православным менталитетом. Главное же, и это лишь более мягкий, но

только *вариант* рассмотренного нами выше феномена механического существования со значимым отсутствием вынутой ранее души.

Рассматривать тоталитаризм как злокачественное перерождение соборности при советском режиме, тем не менее, вряд ли корректно. Эти понятия охватывают в сё пространство русской культуры. Тоталитарность и соборность едины - в той мере, в какой могут быть единими противоположные полюса одной антиномии, полюса единого культурного целого России.

Их отношения друг к другу - отношения тезиса и анти-тезиса. Используя же иную терминологию, это частный случай противостояния Христа и антихриста; противостояния, которое действительно в различные исторические эпохи по-разному себя проявляло в русской культуре.

Так, из нашего изложения, где мы пытались уловить проявления *аксиологических доминант* русской и советской культур, отнюдь не вытекает вывод о том, что тоталитарность была нехарактерной для отечественной культуры дооктябрьского периода. Тоталитаризм - в том или ином его виде - всегда присутствовал в русской культуре, но всегда осознавался как опасность, грозящая взорвать не только эту культуру, но и саму жизнь. Для христианского сознания тоталитарность - это лишь *псевдоним* бесовства, уже к концу XIX века теснящего соборное сознание и пытающегося из *маргинальных* областей культуры прорваться в ее сердцевину, к самому ее алтарю.

Маргинальные течения русской литературы, представленные в своих вершинных проявлениях творчеством таких авторов, как Салтыков-Щедрин и Чернышевский, далеко не случайно так любимы не только советскими литературоведами, но и их многочисленными либеральными предшественниками. Маргинальная ветвь культуры, чреватая вирусом тоталитаризма, не внеположна ее стволу, вырастающему из зерна православной традиции: она *враждебна* христоцентризму и не приемлет соборного сознания. Сама эта враждебная антихристианская устремленность

была угадана, названа и описана Ф. М. Достоевским в "Бесах".

Таким образом, вирус тоталитаризма не был чужд русской культуре, но духовное ядро ее в своих вершинных проявлениях, в соборном своем единстве, мыслимом как единая книга, устремлено к совершенно иному полюсу, природу которого мы пытались в данной работе обозначить.

Несомненно, что триумф тоталитарной культуры приходится наблюдать уже в послеоктябрьский период. Сам же механизм превращения маргиналий русской культуры, пораженных тоталитарным недугом, в эпицентр до сих пор таит в себе загадку и нуждается в изучении. Но признание этой загадочности еще не может быть достаточным основанием для диагностирования тоталитарной ущербности отечественной культуры в целом. Если же и сам христоцентризм представляется уже недостаточным противоядием чуме XX века, то это упрек не по адресу. Многие из высказываемых ныне претензий, адресованных русской классике прошлого столетия, на самом деле исходят из принципиально скептической позиции исследователей даже и не по отношению к действенности и жизнеспособности православной этики в целом, а по отношению к возможностям христианства как духовной силы - в ее противостоянии злу. Ничего не поделаешь: мы читаем книги, а книги читают нас - и прочитывают лучше нас самих нашу ментальность - тоталитарную или соборную...

Неистовым патриотам советской истории и культуры (типа Э. Лимонова), упрекающим своих оппонентов в "простой смене плюсов на минусы" в ходе ревизии советской истории, следовало бы помнить, что их подзащитные - "мастера советской культуры" - семь десятилетий назад (променявшие колокольный звон на шутовские бубенцы, уже тогда) совершили и все эти десятилетия пытались "узаконить" подмену духовных ориентиров.

Глобальный характер произошедшей метаморфозы, превратившей живой организм культуры в мертвый остов

ее механизма, увы, настоятельно требует столь же кардинального пересмотра. Нынешняя "замена знаков" при всей ее порой откровенной спекулятивности и болезненности - это в глубинной основе своей не что иное, как попытка возвращения к культуре, основанной на христианской этике. Это может нравиться или не нравиться, но это так. Другое дело, будет ли удачной такая попытка после семи-десяти лет отступничества и греха...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ю. Карабчиевский. Воскресение Маяковского. - "Театр", 1989, № 7, с. 185.
2. См., например: "Русская религиозно-философская мысль XX века", Питтсбург, 1975, сс. 101-103.
3. Н. А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма, М., 1990, с. 140.
4. Там же, с. 135.
5. Там же, с. 152.
6. "Мифы народов мира", т. I, М., 1987, с. 85. Разумеется, мы имеем в виду не реальное воплощение, а именно неосознаваемую писательскую установку на подобное воплощение, жажду и прославление его. Этим мистическая устремленность Горького отличается, скажем, от комической надежды юного Н. Бухарина, самоотожествлявшего себя с противником Христа.
7. Ср.: "Антихрист воплощает в себе абсолютное отрицание христианской веры" ("Мифы народов мира", т. I, с. 85).
8. См.: О. Э. Мандельштам. Сочинения, т. I, М., 1990, с. 511.
9. Е. Н. Трубецкой. Три очерка о русской иконе, М., 1991, с. 16.
10. Там же, с. 29.
11. "Русская религиозно-философская мысль XX века", с. 20.
12. Там же, с. 18.
13. С. С. Аверинцев. Византия и Русь: два типа духовности. - "Новый мир", 1988, № 9, с. 231.
14. Там же. Подчеркнем, что С. Аверинцев в данном случае имеет в виду не единство русской культуры, а антиномию "грозы" и "ласковой" святости, "лежащую в самих основах "Святой Руси" (там же).
15. Г. П. Федотов. Борьба за искусство. - "Вопросы литературы", 1990, № 2, с. 223.
16. А. И. Солженицын. Малое собрание сочинений, т. 5, М., 1991, с. 137.

17. Д. С. Лихачев. Величие древней литературы. - "Памятники литературы Древней Руси: Начало русской литературы. XI-начало XII века". М., 1978, с. 8.
18. М. Н. Эпштейн. Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX - XX веков, М., 1988, с. 80.
19. Там же.
20. Д. С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы, М., 1979, с. 20.
21. "Краткая литературная энциклопедия", т. 7, М., 1972, стлб. 96.
22. См. блестящую статью С. Бочарова "Вещество существования" (С. Г. Бочаров. О художественных мирах, М., 1985, сс. 249-296), где исследователь интерпретирует важнейшие особенности поэтики Платонова. Нас же интересует здесь общий механизм вытеснения Духа Святого "духом эпохи".

Прот. Виктор ПОТАПОВ

"...молчанием предается Бог"*

4. Самооправдание или покаяние?

Не за то, братья, будем мы осуждены на вечном суде, что не совершали мы чудес, что не югословствовали, но за то будем осуждены, что не плакали о грехах своих.

Преп. Иоанн Лествичник

"Заповеди человеческие", о которых говорит пророк Исаия, подменяют покаяние *самооправданием* и угождением человеческим слабостям, учат служить земному более, чем небесному.

Яркий пример этому подал прошлой осенью сам руководитель Московской Патриархии Алексей II. Будучи в вашингтонском Джорджтаунском университете, он сказал:

"Я мог выступить с публичным осуждением антирелигиозных гонений. Я даже не думаю, что при Хрущеве меня бы за это отправили в тюрьму - я бы просто окончил свои дни где-нибудь в монастыре, как это произошло с одним из моих братьев-архиереев (какой ужас, монаху окончить свои дни в монастыре! - В. П.). Но я помнил в то время и о другом. Господь, призвавший меня к епископству, неразрывно связал меня с моей паствой, сделал меня ответственным за нее. И я до сих пор с ужасом думаю о том, что было бы с моей паствой, если бы своими "решительными" действиями я оставил ее без Причастия, без возможности посещать храм, оставил детей без Крещения, умирающих - без последнего напутствия. [...] Я знаю: великий, несмы-

* Окончание. Начало: "Грани" № 166(4), 1992.

ваемый грех совершил бы я, если бы, заботясь о своем нравственном реноме, ушел от управления епархией и предал свою паству, позволив богоборцам обезглавить ее и глумиться над ней" ("Из выступления Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Джорджтаунском университете 15 ноября 1991 г.", "Независимая газета", 7 января 1992 г.).

Снова перед нами излюбленная теория Московской Патриархии: компромисс спас Церковь. Сделка с совестью предоставила Церкви возможность совершать Таинства. Не Церковь нуждается в нашем "спасении" Ее, а мы, все мы нуждаемся в том спасении, которое только Она дарует.

А как насчет паствы упомянутого в патриаршей речи опального епископа, который "окончил свои дни... в монастыре", выступившего с "публичным осуждением антирелигиозных гонений" - она что, осталась без Таинств? Если довести мысль патриарха до логического конца, то получается, что заточенный в монастырь епископ совершил "великий, несмыаемый грех" тем, что возвысил голос свой против гонений на Церковь. Неужто можно допустить, что в пору гонений сей иерарх "предал свою паству", заботясь лишь "о своем нравственном реноме"? Нет! Тысячу раз нет! Опальный святитель поступил так, как повелел всем служителям Церкви Пастыреначальник Христос - *Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец* (Иоан. 10, 11).

Иерарх, которого имел в виду патриарх, но не назвал по имени, не кто иной, как епископ-исповедник Ермоген (Голубев)¹⁰. Архиепископ Ермоген - единственный иерарх Русской Церкви, который в период хрущевских гонений (конец 50-х - начало 60-х годов, когда нынешний патриарх начал свой головокружительный взлет по иерархической лестнице) добился того, что ни один храм в его ташкентской епархии закрыт не был.

Спасибо патриарху Алексию II, что не дал нам забыть про владыку Ермогена. Уверен, что будущие поколения православных россиян с любовью и признательностью будут вспоминать архиеп. Ермогена как человека, пожертвовавшего собою для блага Церкви Христовой и как

живой пример иерарха, который, несмотря на тяжелое время, в котором он жил, преодолел соблазн сергианства.

В "Русском вестнике" (№ 13, 25 марта - 1 апреля 1992) статья "Встреча с Патриархом" завершается обсуждением проблемы причастности иерархов и клириков Московской Патриархии к тайной деятельности КГБ. Патриарх высказался в этой статье по этому поводу однозначно:

"Мы не принимаем голословных обвинений, пусть подтвердят их документами. Любой иерарх в прошедшие годы общался с властями, тем более сотрудниками Совета по делам религий при правительстве, где представителей КГБ было более чем достаточно. Если будет доказано, что связь того или иного священника, либо епископа причинила ущерб Церкви или ближнему, - это грех, и за него придется понести ответственность. Но если такого ущерба не было, то о чем и зачем тогда шум, каковы подлинные причины кампании по "разоблачению" священнослужителей?"

Что ж, мы вовсе не хотим, чтобы патриарх принял голословные обвинения. Придется предъявить документы. Вернемся к делу владыки Ермогена.

22 декабря 1967 г. нынешний патриарх, тогда Управляющий делами Московского Патриархата архиеп. Алексий Таллинский и Эстонский направил архиеп. Ермогену резолюцию патриарха Алексия I (Симанского), в котором говорится, что опальный епископ был уволен "на покой" в Жировицкий монастырь в 1965 году, так как

"в то время не было соответствующей вакантной кафедры. Ряд кафедр за эти два года освобождался, но были и кандидаты на эти кафедры, более подходящие (читай: преданные сергианцы. - В. П.), чем Преосвященный Ермоген, у которого неизменно возникали осложнения в епархиях, которые он последовательно занимал (Ташкент, Омск, Калуга), и нам приходилось каждый раз брать на себя хлопоты по их разрешению и заботиться о перемещении его на новую кафедру.

[...] В Жировицком монастыре для него (вл. Ермогена. - В. П.) были созданы самые благоприятные условия как в бытовом отношении, так и в отношении беспрепятственного служения и проповедания Слова Божия. Однако Преосвященный не был доволен созданными для него условиями, неоднократно выражал свое неудовольствие и тем смущал церковную общественность проявленной, якобы, к нему несправедливостью.

[...] В настоящее время дело обстоит так, что настроение Пресвященного, как видно по тону и характеру его заявлений, не дает надежды на то, что не будет повторения того, что было у него в Ташкенте, Омске и Калуге, и потому от него самого зависит дать возможность Синоду прекратить его пребывание на "покое" и назначить его на епархию" ("Вестник РСХД" № 87-88, 1968, с. 8).

А что, собственно, произошло в епархиях, которые архиепископ Ермоген занимал, какие же это были "неизменно возникающие осложнения"? О них говорит владыка Ермоген в обстоятельном ответе патриарху Алексию I, опубликованном в том же номере "Вестника РСХД":

"Я должен особо подчеркнуть, что моя церковная деятельность, как архиерея, во всех епархиях, где мне приходилось служить, всегда протекала в пределах закона, против меня никогда не выдвигалось ни одного легального обвинения, и я никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Правда, у меня бывали "осложнения" с уполномоченными, но во всех случаях "осложнений" на моей стороне был закон, на стороне уполномоченных - произвольные, не обоснованные на советском законе требования.

Наибольшие "осложнения" были в Ташкенте. Но какие причины были для этих осложнений?

Первой причиной осложнений был мой отказ уполномоченному Вороничеву "помочь" ему закрыть храм в с. Луначарском под Ташкентом. И храм этот за отсутствием законных оснований к его закрытию остался открытым и по сей день. За все время управления мною Ташкентской епархией в ней не было закрыто ни одного храма, в то время как по ряду епархий уже прокатывались волны массовых закрытий церквей.

Второй причиной "осложнений" была постройка в Ташкенте Кафедрального собора. Постройка эта явилась самым крупным церковным строительством в нашей Церкви за истекшее 50-летие по восстановлении патриаршества.

[...] За время моего служения в Омске не было вообще никаких осложнений. Ведь нельзя же принимать за "осложнение" вызов меня в качестве свидетеля по делу старосты одного из закрытых храмов в связи с посылкой ею жалобы Н. С. Хрущеву на незаконное закрытие храма!!! И ставить гражданина в вину вызов его в качестве свидетеля - юридический абсурд.

Служение мое в Калужской епархии проходило при двух уполномоченных, сперва при В. А. Смолине и затем при Ф. П. Рябове (тот самый Рябов, который в уже перестроенное время всячески противился открытию Оптиной пустыни. - В. П.). [...] В

основном осложнения стали возникать по вопросам пополнения священнослужительских кадров епархии и замещения свободных священнических мест" (с. 9-15).

Если архиепископ Ермоген отказался поставить себя в положение слепого исполнителя велений врагов Церкви и за это лишился кафедры, то послушные безбожникам иерархи Московской Патриархии полностью отдали себя во власть богоборцев, исполняя всякое их желание и поручение. Порою эта поработченность принимала абсурдные формы. Архиепископ Ермоген в том же ответе патриарху Алексию I рассказывает о совете, данном ему ныне покойным митрополитом Крутицким Питиримом:

"Во избежание всяких осложнений поступайте так: когда придет к вам на прием священник или член приходского совета по какому-либо церковному вопросу, выслушайте его, затем направьте его к уполномоченному с тем, чтобы, побывши у него, он опять вернется к вам. Когда он вернется и вам доложат об этом, вы позвоните уполномоченному и спросите, что он сказал вашему посетителю. И то, что сказал ему уполномоченный, то же самое скажите ему и вы" (там же, с. 10).

Таким образом старейший после патриарха митрополит указывал епархиальному архиерею, каким в церковном управлении он должен быть для своего духовенства и тасомых рупором для исполнения указаний безбожника и врага Церкви.

Из вышесказанного явствует, кто "приносил ущерб Церкви и ближнему", а кто пользу... Напомним слова патриарха Алексия II:

"Если будет доказано, что связь того или иного священника либо епископа причинила ущерб Церкви или ближнему, - это грех, и за него придется понести ответственность".

Позволительно спросить: кто же понесет ответственность за гонения на архиепископа Ермогена?

В своем выступлении в Джорджтаунском университете патриарх говорил о самосохранении Церкви, как об одном из важнейших принципов ее жизни. Но действительно ли в этом ее главная забота? Обратимся по этому поводу к мысли богослова, на которого патриарх любит в своих

речах ссылаться - ныне покойного протопресвитера Александра Шмемана:

"Не для себя существует Церковь и не в самосохранении внутренний духовный двигатель ее жизни. И потому в ней всегда пребывает очень тонкая, огромным числом "церковников" слишком часто не замечаемая, черта, отделяющая подлинное и праведное *охранение* Церкви от соблазнительного *самосохранения*: когда церковное общество начинает, почти бессознательно, служить себе, а не назначению Церкви в мире. Когда верующие начинают ощущать Церковь как существующую только для них и для удовлетворения их "религиозных нужд", и в этих нуждах, в своих церковных навыках, в своем духовном удовлетворении полагать мерило всего в жизни Церкви. Когда по видимости все остается таким же - благолепным, молитвенным, духовным, утешительным, а на глубине уже искривлено тонким - самым тонким из всех! - духовным эгоизмом и эгоцентризмом. И потому главной заботой церковной совести не должна ли быть не забыта эта черта, чтобы праведное охранение Церкви не превращалось в духовно-опасное, ибо двусмысленное и соблазнительное, самосохранение?" ("Вестник РСХД" № 106, 1972, с. 256).

Священномученик митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) в 1922 году в письме-завещании писал своим ученикам и сопастырям:

"Странны рассуждения некоторых, может быть, верующих пастырей, - надо хранить живые силы, т. е. их ради поступиться всем. Тогда Христос на что? Не Платоновы, Вениамины и т. п. спасают Церковь, а Христос. Та точка, на которую они пытаются стать, погибель для Церкви. Надо себя не жалеть для Церкви, а не Церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда. Люди и ради политических убеждений жертвуют всем... Надо ли христианам, да еще и иереям, не проявить подобного мужества даже до смерти, если есть сколько-нибудь веры во Христа, в жизнь будущего века?!" (Прот. М. Польский. "Новые Мученики Российские". Джорданвилль, Нью-Йорк, 1949, т. 1, сс. 60-61).

Во время пребывания патриарха Алексия II прошлой осенью в США ни в одной из его многочисленных биографий не был упомянут тот немаловажный факт, что Его Святейшество без малого четверть века служил Управляющим делами Московского Патриархата. И ни для кого не секрет, что в доперестроечное время занимающий это кресло являлся фактически первой персоной в Церкви.

Следует отметить, что патриарх Алексей II в свою бытность Управляющего делами Патриархии не только передал опальному владыке Еρμοгену Указ Синода, отправляющего его в монастырь на покой и затем телеграммой запретил епархиальным архиереям сообщаться с изгнанным архипастырем. Кроме того, нынешний патриарх был тот, кто передал постановление Патриархии о запрещении в священнослужении отцов Николая Эшлимана и Глеба Якунина за то, что они (кстати, с благословения архиеп. Еρμοгена, за что, по свидетельству о. Глеба Якунина, владыка и был сослан в монастырь) дерзнули возвысить свои голоса в защиту Церкви, сказав своим архиереям горькую правду (см. прим. 7).

"Сегодня действия церковных властей, которые гнали мужественных московских священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина, никем не осуждены, - пишет о. Георгий Эдельштейн в статье "Читая и перечитывая классику" (Брошюра. Изд. Monastery Press, Монреаль, 1991). - Эти гонители по-прежнему заседают в Священном Синоде. Эти гонители утверждают, что именно они, номенклатурные единицы ЦК КПСС, те, кто явно и тайно сотрудничали с КГБ и партийно-государственной элитой, являются духовными наследниками Новомучеников и Исповедников Российских, что именно они своим твердым и непоколебимым стоянием в сергианстве спасли Церковь. Они пытаются убедить нас, что если бы все епископы противостояли коммунистической системе, людоеды ни одного епископа не оставили бы в живых и Церковь на Руси сегодня бы не существовала".

Руководители Московской Патриархии попирают неложное обетование Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: *Созижду Церковь Мою и врата ада не одолеют ее* (Мф. 16, 18).

Деятельность епископов и священнослужителей, построенная на компромиссах с богоборцами, привела к нравственному растлению внутри Московской Патриархии. Компромисс со злом не может дать мира духовного. "Мир", достигаемый таким путем, есть ложь. Для лжи нет места в Церкви, как нет в ней места Сатане, отцу лжи. Нет ничего страшнее, чем мириться со злом и привыкать к нему.

"Да не подумают, однако [...] что всяким миром надобно до-
рожить, ибо знаю, что есть прекрасное разногласие и самое па-
губное единомыслие; но должно любить добрый мир, имеющий
добрую цель и соединяющий с Богом [...] Нехорошо быть и слиш-
ком вялым и чрез меру горячим, так чтобы или по мягкости
нрава со всеми соглашаться, или из упорства со всеми разногла-
сить [...] Но когда идет дело об явном нечестии, тогда должн
скорее идти на огонь и меч, не смотреть на требования времени
и властителей и вообще на все, нежели приобщаться лукавого
кваса и прилагаться к зараженным. Всего страшнее - бояться
чего-либо более, нежели Бога, и по сей боязни служителю исти-
ны стать предателем учения веры и истины" (святитель Григо-
рий Богослов).

За годы советской власти был выращен новый, совер-
шенно неизвестный истории Церкви тип епископа - полити-
кана и администратора, хотя епископ не столько админи-
стратор: основная его задача - учительная. Епископ при-
зван учить примером своей жизни. Апостол Павел в посла-
нии к Титу пишет, говоря о назначении епископа, что он
должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не
дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолю-
бив, но страннoлюбив, любящий добро, целомудрен, спра-
ведлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного
слова, согласного с учением, чтобы он был силен и настав-
лять в здоровом учении и противящихся обличать (Тит. 1,
7-9).

Хиротонии епископа предшествует особый чин его "на-
речения", торжественное исповедание им своей веры перед
церковным народом, а также принесение особой присяги, в
которой, в частности, говорится:

"К сим же обещаюся ничтоже творити ми по нужде, аще и от
сильных лиц или от множества народа нудиму, аще и смертию
ми воспретят, веляще что сотворити ми вопреки божественным
и священным правилам".

(Русский текст: также обещаю, что я ничего не буду делать
по принуждению, хотя бы принуждали меня сильные лица [т. е.
власть имущие] или множество народа, даже если они станут
грозить мне смертью, требуя, чтобы я сделал что-нибудь вопре-
ки божественным и священным правилам.)

Многие считали и утверждали, что патриарх Алексей II

был избран свободным волеизъявлением архиереев Московской Патриархии. Однако, согласно вновь открытым документам, в дни подготовки Поместного Собора 1990 г. руководитель КГБ и будущий путчист Крючков разослал по всем управлениям КГБ специальную зашифрованную телеграмму, предлагавшую управлениям способствовать избранию на патриарший престол митрополита Ленинградского Алексия (Ридигера). Смели ли собранные на собор церковные агенты послушаться своего шефа?

За все последние годы ни один "Дроздов", "Антонов", "Аббат", "Михайлов", "Адамант", "Островский" и другие, еще не раскрытые, - ни один из этих "агентов в рясах" не подал примера покаяния! Ни один!

Владыки Московской Патриархии не только не подают примера покаяния, но идут еще дальше по пути самооправдания. На Архиерейском Соборе (в Свято-Даниловом монастыре в конце марта - начале апреля 1992 г.) нынешний глава Московской Патриархии договорился до того, что назвал клеветой неопровержимые факты сотрудничества иерархов с КГБ. Так, в первый день Собора, задавая тон всему дальнейшему ходу соборной дискуссии, Патриарх заявил, что многие проблемы церковной жизни "в большой степени искусственно создаются извне с целью отторжения от Церкви народа Божия. [...] Некоторые средства массовой информации [...] участвуют в неблагоприятной кампании клеветы на Церковь, очернения ее служителей".

Итак, по словам патриарха проблемы церковной жизни "...искусственно создаются извне"! Кто же их создает? Что за неведомые силы "отторгают от Церкви народ Божий"? Эти проблемы рождены сергианством и нераскаянностью в нем, и именно это отторгает чад Божиих от Церкви.

В связи с этим создается Комиссия по расследованию связей иерархов и клириков с КГБ из восьми молодых епископов, рукоположенных в перестроечное время. Руководство Московской Патриархии не только прикрывается этим фактом, подчеркивая свою мнимую свободу от влия-

ния КГБ, но и продолжает свой позорный путь, "подставляя" этих самых молодых иерархов. Перед молодыми епископами возникает естественная альтернатива: либо найти способы оправдания "деяний" иерархов-агентов, подтвердив заявление Алексия II о развернутой прессой клеветнической кампании против Церкви и уличив ее (прессу) во лжи; либо, признав важность и жизненную необходимость дать ответы на прямо поставленные вопросы, тем самым лишиться покровительства тех, против кого выдвинуты эти страшные обвинения, то есть, выражаясь словами Патриарха, получить возможность "окончить свои дни где-нибудь в монастыре", вдали от епархиальных кафедр.

Сотрудничающие с КГБ иерархи, с помощью созданной на Соборе комиссии, стремятся оттянуть время и, подобно страусу, прячут голову в песок. Но ведь наша совесть не перед людьми, а перед Самим Богом. По слову преп. Ефрема Сирина: "Если нам стыдно людей, то насколько больше должно стыдиться, а вместе и бояться Бога, знающего все тайные человеческие! Ведь Он будет судить весь мир и воздаст каждому по делам его".

"Сейчас надо не критиковать Патриарха и Московскую Патриархию, а помогать им. Нельзя злорадствовать их положению". Согласен. Избави Бог, злорадствовать! Но как помочь? Делать вид, что все в порядке, что мы более не замечаем иудина греха предательства, доношительства и лжесвидетельства или убеждать выйти на светлый путь покаяния? *Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознаётся и оставляет их, тот будет помилован*, - читаем мы в Писании (Притч. 28, 13).

Страницы сегодняшних отечественных периодических изданий тут и там пестрят разнообразной информацией на религиозные темы: от рубрики "Заглянем в святцы" в "Коммерсанте" до довольно объемистых статей в "Известиях", "Неделе", "Московских новостях".

В последние месяцы стало весьма популярным имя диакона Андрея Кураева, опубликовавшего несколько статей, в которых он честно и откровенно признается, что не

только он, получивший богословское образование в Московской семинарии и Духовной Академии в Румынии, а ныне состоящий референтом при патриархе, но и добрая половина священников Московской Патриархии так или иначе сотрудничала с КГБ (см. "Русская мысль" от 28 февраля 1992 г.). Диакон Кураев признает: да - грех, да - было... Но ведь каждый второй! Да и КГБ преувеличивает - им тоже свойственны приписки. И вообще, это все их провокация - сами идут ко дну, и нас, православных, за собой тянут, черня и пороча ("Посмертный триумф комитета". "Московские новости" 8 марта 1992 г.). И ни в одной из своих статей не пишет диакон Андрей Кураев о необходимости каяться!

Если это действительно, как Вы, о. диакон, пишете, "наш общий национальный и народный грех, который лишь в лице церковных пастырей сконцентрировался более ясно, полно и печально", не должно ли пастырям явить *пример покаяния* тем, кто не знает, что это такое?!

Хочется спросить диакона Андрея Кураева: Как Вы, считающий себя православным, что обязывает Вас жить в духе истины и силе правды, встали на путь негласного сотрудничества со службами госбезопасности, в чем Вы признаетесь со страниц Ваших статей? Что заставляет Вас заниматься не только самооправданием, но оправданием и защитой своих учителей - владык Московской Патриархии, имеющих за плечами 30-40-летний стаж работы в КГБ? Ваша публичная *полуисповедь* - свидетельство "последнего триумфа Комитета", пример блестящего решения одной из задач безбожников ослабить Церковь извращенным исповеданием веры.

Современный нам исповедник Борис Талантов¹¹ в своей статье "Порождение ехиднино" (август 1967 г.) обличал лжепастырей и призывал русский народ:

"Возглавители Патриархии предают Церковь, не следуя светлому исповедничеству Патриарха Тихона, митрополитов Петра Крутицкого, Кирилла Казанского, Иосифа Петроградского и сонма других исповедников, которые не допускали использования церковного управления в целях внешней и внутренней политики богоборческой власти.

Возглавители Патриархии предают Церковь, не защищая права православного большинства российского народа на христианское воспитание детей и молодежи [...]

[...] *Сохраняя единство, они (чада Церкви. - В. П.) должны начать асенародное обличение развращенных лжепастырей и очистить от них Церковь*" (выделено мною. - В. П.).

Если у главителей Московской Патриархии нет сил для того, чтобы стать примером для паствы в покаянии *пусть тогда уйдут в сторону*, как предлагали соловецкие епископы митрополиту Сергию и уступят свои кафедры архиереям, способным стать на этот узкий путь.

Прав священник Георгий Эдельштейн, писавший:

"Сергианцы лгут вовсе не потому, что их на лесоповал могут отправить, и не потому, что пистолет к затылку приставлен, а только потому, что они - *сергианцы*, доктрина у них такая, они веруют и исповедуют, что Церковь необходимо спасти ложью. Это их первая и большая заповедь" ("Читая и перечитывая классику". Брошюра. Изд. Monastery Press, Монреаль, 1992 г.).

Единственный способ покончить с этой ложью - истинное покаяние. Но в любом случае эти иерархи не освобождаются от духовного суда, который может и должен состояться в условиях соборной полноты Русской Православной Церкви, потому что о духовном суде внутри Московской Патриархии говорить не приходится: в самой ее структуре беспристрастный духовный суд отсутствует. Синод держит полноту власти над церковной жизнью в своих руках, как это делает итальянская мафия или политбюро. Поскольку, согласно Уставу РПЦ, функции духовного суда (разбор жалоб, неканонических действий епископов и духовенства и т. п.) отнесены к самому Синоду, было бы наивно полагать, что его члены осудят самих себя.

Возглавивший церковную Комиссию по расследованию документов КГБ епископ Костромской и Галичский Александр в свое время высказал опасение, что раскрытие всех грехов Московской Патриархии смутит "малых сих". Но ведь упорное самооправдание в очевидных грехах еще больше смущает "малых сих", а других вообще отторгает от Церкви!

Всем известно выражение - не выносить сор из избы. Но если слишком долго держать в избе этот сор, она непременно наполнится невыносимой затхлостью и не только дышать, но и жить в этом доме станет невозможно. Наступает время, когда жизненно необходимо вынести накопившийся мусор из русской избы, проветрить и основательно помыть ее. Церковь учит нас постоянно, через покаяния, очищать мусор из своих изб - наших человеческих душ.

Надежда на земных "спасителей" и умалчивание правды ради ложного мира, приводящее к попиранию Закона Божьего, подготавливает мир к приходу антихриста.

[...] Тайна беззакония уже в действии [...] откроется беззаконник [...] которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду (2 Фес. 2, 7-12).

И если не покается весь русский народ в своем "неприятии любви истины" и не исповедует Истину, подобно Новомученикам, то как приняли молча лжевождей Московской Патриархии, так примут они и антихриста. *Устами исповедуют ко спасению* (Рим. 10, 10), а *"молчанием предается Бог"* (свят. Григорий Богослов).

5. Московская Патриархия и экуменизм

"...Не называю любовью, но человеконенавистничеством и отпадением от Божественной любви, когда кто помогает еретическому заблуждению на еще большую гибель тех, кто держатся этого заблуждения".

Преп. Максим Исповедник

В контексте нашего разговора нельзя не коснуться другой чрезвычайно важной темы, которая является кам-

нем преткновения на пути к объединению Русской Зарубежной Церкви и Московской Патриархии. Это - экуменизм.

В культурно-общественном, национальном и международном общении любви и милосердия к пребывающим вне Церкви открываются для нас бесконечные горизонты братского и полезного сотрудничества. Как было бы своевременно и полезно христианам единым фронтом подняться и возвысить свой голос за возрождение поруганной культуры всего человечества в его лучшем отборе, встать на борьбу со всяким безбожием, во имя защиты права, чести и достоинства духовно-разумной личности человека, которая попирается в мире, лежащем во зле.

Нужно приветствовать отход от вековой разделенности христиан, но в том только случае, если это совершается с целью раскрытия сокровищ Православия и для возврата отпавших от Церкви, к единству в Православии.

Именно с этой целью еще до Революции 1917 года Русская Православная Церковь вела активный диалог и с англиканами, и со старокатоликами. В эмиграции иерархи и богословы Русской Зарубежной Церкви продолжили эти дискуссии и даже участвовали в качестве наблюдателей на некоторых экуменических форумах. Отношение Зарубежной Церкви к экуменизму всегда носило трезвый, строго православный характер, в соответствии со святоотеческим учением. Ее взгляд был с особой определенностью высказан при назначении 31 декабря 1931 г. своего представителя в Комитет Продолжения Всемирной Конференции о Вере и Порядке:

"Сохраняя Веру в Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, Архиерейский Синод исповедует, что Церковь сия никогда не разделялась. Вопрос в том только, кто принадлежит к ней и кто не принадлежит. Вместе с тем, Архиерейский Синод горячо приветствует все попытки инославных исповеданий изучать Христово учение о Церкви в надежде, что через такое изучение, особенно при участии представителей Святой Православной Церкви, они в конце концов придут к убеждению в том, что Православная Церковь, будучи столпом и утверждением истины (1 Тим. 3, 15), полностью и без каких-либо погреш-

ностей сохранила учение, преподанное Христом Спасителем Своим ученикам. С этой верой и такой надеждой Архиерейский Синод с благодарностью принимает приглашение Комитета Продолжения Всемирной Конференции о Вере и Порядке" (цит. по "Скорбному Посланию" митрополита Филарета (Вознесенского) 14/27 июля 1969 г. "Православная Русь" № 15, Джорданвилль, Нью-Йорк, 1969 г.).

Такова была неизменная многолетняя позиция Русской Зарубежной Церкви по отношению к экуменическому движению. Но с 1962 года, т. е. с того времени, когда в эту организацию вступила Московская Патриархия, заявления, издававшиеся Всемирном Советом Церквей (ВСЦ) приняли настолько радикально-левый богословский тон и наполнились столь прокоммунистическим содержанием, что дальнейшее присутствие на этих межконфессиональных форумах Русской Зарубежной Церкви стало невозможным.

Экуменическое движение, в котором Московская Патриархия играет виднейшую роль, принимает за руководящий принцип протестантское видение Церкви. Протестанты считают, что нет единой истины и единой Церкви, но всякая из многочисленных христианских деноминаций обладает частицей истины, и эти относительные истины можно, путем диалога, привести к единой истине и единой Церкви. Один из способов достижения этого единства, в понимании идеологов экуменического движения, это - проведение совместных молений и богослужений с тем, чтобы со временем добиться причащения из единой чаши (intercommunion).

Православие никак не может принять такую экклезиологию, ибо верует и свидетельствует, что не нуждается в собирании частиц истины, ибо именно Церковь Православная является хранительницей полноты Истины, дарованной Ей в день Святой Пятидесятницы.

Православная Церковь все же не запрещает молиться за находящихся вне общения с Нею. По молитвам св. прав. Иоанна Кронштадтского и блаженного архиепископа Иоанна (Максимовича) получали исцеление и католики, и про-

тестанты, иудеи и мусульмане, и даже язычники. Но, действуя по их вере и просьбе, эти и другие наши праведники одновременно поучали их, что спасающая Истина только в Православии.

Замечательный образ правильного православного подхода к инославному миру дает нам протопресвитер Флор Жолткевич:

"Евангельский Отец, быть может, не раз выходил на дорогу посмотреть, не возвращается ли его сын, но сам не ушел из своего дома, а ждал его возвращения. Так и единая Вселенская Церковь терпеливо ждет всех в свое лоно. И мы, верные Ее чада, постоянно молимся: да придет весь инославный мир в разум вселенской, вечной, непогрешимой и неизменной Истины Христовой, да и тии с нами славят пречистое и великолепое имя в Троице славимого Бога" ("Православная Русь", "Православие и экуменизм", Джорданвилль, Нью-Йорк, № 16, с. 4).

Для православных совместные молитва и причащение на Литургии являются выражением уже существующего единства в пределах Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Св. Ириней Лионский (II век) лаконично сформулировал это так: "Наша вера находится в согласованности с Евхаристией и Евхаристия подтверждает нашу веру". Святые Отцы Церкви учат, что члены Церкви создают Церковь - Тело Христово, тем что в Евхаристии они причащаются Телом и Кровью Христовой. Вне Евхаристии и Причастия нет Церкви. Совместное причащение явилось бы признанием, что все причащающиеся принадлежат Единой Апостольской Церкви в то время, как реалии христианской истории и нашего времени, к сожалению, указывают на глубокое вероучительное и экклезиологическое разделение христианского мира.

Сколько раз мы слышали и читали в официальных заявлениях Всемирного Совета Церквей о необходимости проявить христианское сострадание к нуждающимся в мире. Это, несомненно, прекрасно и вполне в евангельском духе, против чего никак нельзя возразить. Хорошо выражать сочувствие к черным в ЮАР или к страдающим от столкновений на Ближнем Востоке, в Индокитае и в дру-

гих местах нашей планеты. Но разве этим исчерпывались человеческие страдания в те годы? Всемирный Совет Церквей был очень хорошо проинформирован о положении верующих в СССР, но он не промолвил ни одного слова о миллионах замученных христиан и не выступил в защиту тех, кто подвергался преследованиям от коммунистических режимов Хрущева и Брежнева.

Характерный момент. В 1975 году в Найроби состоялась Пятая Ассамблея ВСЦ. Руководство Совета было крайне смущено помещенным в газете Ассамблеи полным текстом письма священника Глеба Якунина и Льва Регельсона. Письмо было озаглавлено "Обращение от имени преследуемых христиан". Авторы письма сетовали на то, что ВСЦ не возвышает свой голос в защиту наполовину разрушенной Русской Православной Церкви и полностью уничтоженных церквей Албании. В письме упоминался позорный факт, что ВСЦ ничего не сказал даже тогда, когда в Албании расстреляли священника за то, что он покрестил новорожденного. Якунин и Регельсон пытались убедить представителей ВСЦ не питать иллюзий по отношению представителей Московской Патриархии во Всемирном Совете Церквей, которые осуществляют задачи советского правительства и стратегических целей компартии СССР.

Несколько робких попыток ряда делегатов на этой ассамблее выпустить официальное заявление о проблеме преследования верующих не увенчались успехом из-за противодействия генерального секретаря Всемирного Совета Церквей Филиппа Поттера и московской делегации во главе с митрополитом Ювеналием (он же агент Адамант)¹². А жаль! Была упущена уникальная возможность проявить подлинный экуменизм - заступиться за гонимых христиан в духе братской любви и милосердия. Даже когда авторы "Обращения от имени преследуемых христиан" были арестованы, Всемирный Совет Церквей позорно промолчал.

Упомянем в этой связи о деяниях последующих двух ассамблей Всемирного Совета Церквей. Мы взяли эту информацию не из православного источника, а из лютеран-

ского еженедельника "Крисчиан ньюз" (1-8 апреля 1991 г.). В журнале опубликован отчет лютеранского богослова Джона Миллхэйма об этой экуменической встрече, который раскрывает духовное банкротство ВСЦ:

"Когда гости и делегаты 7-й Ассамблеи ВСЦ собрались под большим шатром для молитвы вечером в день открытия, их приветствовали мужчины-aborигены танцем "коррборэ" (праздничным танцем, исполняющимся при праздновании племенных побед и подобных событий). Они танцевали вокруг костра, из которого исходило большое облако дыма, сквозь которое прошли молящиеся (т. е. христиане). Им (собравшимся молящимся) было сказано, что таким образом, *проходя сквозь это очищающее облако дыма, духовность аборигенов соединилась с христианской духовностью* (выделено автором. - В. П.).

Далее в своем отчете Джон Миллхэйм напоминает, что подобного рода языческое открытие экуменического собрания было на 6-й Ассамблее ВСЦ¹³ в Ванкувере, Канада, в 1983 году:

"...Североамериканские индейцы той местности (провинция Британская Колумбия. - В. П.) вырезали для ВСЦ Столб Тотем, который Генеральный Секретарь ВСЦ Филипп Поттер и другие высоко подняли в знак празднования единства богослужения. *Когда этот Тотем был передан собранию ВСЦ, то собравшимся было сказано, что индейцы со своим духом бога пришли приветствовать и участвовать в ассамблее ВСЦ* (выделено автором - В. П.). Кроме того, само открытие ванкуверской ассамблеи сопровождалось индейскими танцами и молением.

Странный дым, Тотем, вызывание духов мертвецов являются неотъемлемой частью религиозного плюрализма и язычества, что можно ожидать на каждой ассамблее ВСЦ.

Это смешение нехристианской религиозной практики с христианством является типичным направлением и настроением ВСЦ, согласно его повестке 90-х годов".

Другая статья, опубликованная в том же выпуске "Крисчиан ньюз", добавляет некоторые подробности к вышеприведенному отчету о встрече ВСЦ в Канберре (Австралия). В ней рассказывается о выступлении Чунг Хиун Киунг, женщины-пастора пресвитерианской церкви в Южной Корее:

"Ее представление началось церемониальным танцем с

двумя мужчинами-аборигенами и несколькими корейцами. Она пригласила присутствовавших "ступить со мной (с ней) на святую землю, сняв предварительно обувь, пока мы танцуем, чтобы приготовить путь духу". Многие псовиновались.

Затем она, с зажженной свечой по обеим сторонам, стала вызывать духов. Она прочла имена умерших духов с напечатанного листа, который позднее сожгла и развеяла пепел по воздуху. Среди тех мертвых духов, которых она вызывала, были: Хагар, Урия, мальчики-младенцы, убитые Иродом, Жанна д'Арк, евреи, убитые в газовых камерах, Махатма Ганди, Стив Бико, Мартин Лютер Кинг, Малколм Экс и, наконец, Дух Освободителя, нашего брата Иисуса, замученного и убитого на кресте".

Далее в статье в "Крисчиан ньюз" рассказывается о том, как Чунг Хиун Киунг славословила корейский спиритизм, женских богинь, особенно Бодхизатва, которая дает силы "плыть к берегам Нирваны", и богиню Кван Ин, которую она отождествила со Святым Духом. Согласно Чунг Хиун Киунг, Бодхизатва ждет, чтобы вся вселенная просветилась, и тогда люди, деревья, птицы, горы, воздух, вода смогут вместе погрузиться в Нирвану, где они смогут жить в коллективе в вечной мудрости и сострадании. Чунг Хиун Киунг к этому добавила:

"Быть может, это женский образ Христа, который первым среди нас рожден, который идет вперед и ведет за собой других?"

Автор статьи в заключение пишет, что Чунг Хиун Киунг закончила свое выступление на ассамблее ВСЦ еще одним танцем с аборигеном. Но "ради приличия" автор не стал описывать этот танец.

Таким образом, представители современного экуменического движения не только не способствуют единству, но усугубляют разделение христианского мира. Они зовут идти не узким путем спасения в исповедании единой истины, а широким путем объединения с исповедающими разнообразными заблуждения, о которых св. Апостол Петр сказал, что *через них путь истины будет в поношении* (2 Петр. 2, 1-2).

До встречи в Австралии ВСЦ призывал к единству христиан всего мира. Теперь эта организация призывает уже к

единству и с язычниками. В этом смысле Всемирный Совет Церквей все больше приближается к позициям религиозного синкретизма. Эта позиция ведет к стиранию различий между религиозными исповеданиями с целью создания единой универсальной мировой религии, которая содержала бы в себе что-нибудь от каждой религии. Универсальная мировая религия подразумевает и универсальное мировое государство с единым экономическим порядком и единой мировой нацией - смесью всех существующих наций, с единым лидером. Если это произойдет, то будет реально подготовлена почва для воцарения антихриста.

Еще вспомним печально известное экуменическое молитвенное собрание, устроенное несколько лет назад Папой Римским в Ассизи, и в котором участвовали нехристиане. Какому божеству молились собравшиеся там религиозные деятели, в том числе и представители Московской Патриархии? На этом собрании Папа Римский говорил нехристианам, что "они веруют в истинного Бога". Истинный Бог - Господь Иисус Христос, в Троиединной Троице покланяемый. Веруют ли нехристиане в Св. Троицу? Можно ли христианам молиться неопределенному божеству? По православному учению такая молитва - ересь.

Экуменизм, по выражению выдающегося православного богослова архимандрита Юстина Поповича, "всеересь"¹⁴.

Московская Патриархия в начале 60-х годов вступила во Всемирный Совет Церквей по настоянию безбожного режима для того, чтобы в этой организации проводить советскую внешнюю политику и сеять дезинформацию. Кто же ее вынуждает к участию в этой организации в настоящее время? Почему на фоне полного вырождения Всемирного Совета Церквей Патриархия не уходит из этой уже полуязыческой организации? Десятилетиями Московская Патриархия усердствует в мировом экуменическом движении, нарушая этим целый ряд канонических правил Церкви.

Некоторые представители Московской Патриархии утверждают, что своей формальной принадлежностью к Все-

мирному Совету Церквей они свидетельствуют об истине, живущей в православной Церкви. Но открытое нарушение канонических правил свидетельствует не об исповедании Истины, а о попрании Священного Предания Церкви.

15-е правило Святого Поместного Константинопольского Двукратного Собора (861 г.) гласит:

"...Отделяющиеся от общения с предстоятелем, ради некия ереси, осужденныя святыми соборами или отцами, когда, то есть он проповедует ересь всенародно и учит оной открыто в церкви, таковые аще и оградят себя от общения с глаголемым епископом, прежде соборного рассмотрения, не токмо не подлежат положенной правилами епитимии, но и достойны чести, подобающей православным. Ибо они осудили не епископов, а лже-епископов и лжеучителей, и не расколом пресекли единство церкви, но потщились охранить церковь от расколов и разделений"¹⁵.

Нео-обновленчество и подобного рода экуменизм - неотъемлемые части сергианства. Они открыто проповедуются иерархами Московской Патриархии. "Журнал Московской Патриархии" из номера в номер пестрит репортажами и фотографиями протестантских пастырей, проповедующих в православных храмах России с одобрения и даже в присутствии иерархов. И теперь эти западные проповедники рассматривают Россию как широкую ниву для распространения своих учений.

Как бы реагировали на участие православных в современном экуменическом движении столпы Православия, отцы церкви свв. Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Марк Ефесский и другие?

Завершая эту главу, считаю уместным обратиться к седой древности, чтобы привести свидетельство из жития преп. Максима Исповедника, который показывает, как должен православный христианин себя вести перед лицом апостасий - повального отступления от Истины Христовой.

- Что же ты не вступишь в общение с Константинопольским престолом? - спросили преподобного Максима Исповедника патриций Троил и Сергей Евфратас, начальник царской трапезы.

- Нет, - ответил святой.

- Почему же? - спросили они.

- Потому, - ответил святой, - что предстоятели сей Церкви отвергли постановления четырех соборов [...] много раз сами себя отлучили от Церкви и изобличили в неправомыслии.

- Значит, ты один спасешься, - возразили ему, - а все прочие погибнут?

Святой ответил на это:

- Когда все люди поклонялись в Вавилоне золотому истукану, три святые отрока никого не осуждали на гибель. Они не о том заботились, что делали другие, а только о самих себе, чтобы не отпасть от истинного благочестия. Точно так же, и Даниил, брошенный в ров, не осуждал никого из тех, которые, исполняя закон Дария, не хотели молиться Богу, а имел в виду свой долг, и желал лучше умереть, чем согрешить и казниться пред своею совестью за преступление Закона Божия. И мне не дай Бог осуждать кого-либо, или говорить, что я один спасусь. Однако же я соглашусь скорее умереть, чем, отступив в чем-либо от правой веры, терпеть муки совести.

- Но что ты будешь делать, - сказали ему посланные, - когда римляне соединятся с византийцами? Вчера ведь пришли из Рима два апокрисария, и завтра, в день воскресный, будут причащаться с патриархом Пречистых Таин.

Преподобный ответил:

- Если и вся вселенная начнет причащаться с патриархом, я не причащусь с ним. Ибо я знаю из писаний святого апостола Павла, что Дух Святой предаст анафеме даже ангелов, если бы они стали благовествовать иначе, внося что-либо новое.

Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас!

6. Свободная Православная Церковь в России

Будущее Православия определится не компромиссами с Антихристом, а героическим стоянием и исповедничеством.

И. А. Ильин

Плоды сергианства смущают многих православных в России. И поэтому неудивительно, что некоторые приходы в России переходят в Свободную Церковь, под омофор Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, одной из немногих (увы!) православных церквей, не участвующих в

современном экуменизме. Эти общины (их сейчас более 60) образуют Свободную Российскую Православную Церковь, возглавляемую тремя архиереями.

Московскую Патриархию очень беспокоит существование Русской Зарубежной Церкви. Верно заметил Сергей Шмеман, московский корреспондент "Нью-Йорк таймс", писавший накануне приезда патриарха Алексия II в Америку: "Небольшая по размеру Зарубежная Церковь является... постоянным напоминанием прошлого, о котором Московская Патриархия и сам патриарх предпочли бы забыть" ("Нью-Йорк таймс", 9 ноября 1991 г.). Зарубежная Церковь не дает забыть о сергианстве, о новомучениках, о порочности современного экуменического движения, ярким сторонником которого патриарх постоянно выступает, что все вместе привело к отступлению от Истины.

Значительная часть верующих Катакомбной Церкви присоединилась к Свободной Российской Православной Церкви. Это православные русские люди, разделяющие позицию Соловецких епископов-исповедников, осудивших Декларацию 1927 г. митрополита Сергия (Страгородского). Эта Церковь была особенно сильна в 1930-40 годы. Ее чада подвергались остракизму со стороны сергианцев, а советская власть многих исповедников катакомбной Церкви ссылала и даже казнила только за то, что они так и не приняли сергиевскую Декларацию.

Не будем идеализировать переход каждого в лоно Русской Зарубежной Церкви. К сожалению, этот переход не у всех вызван поиском Истины. Для некоторых это возможность получить то, чего не могли они получить в Патриархии - настоятельство, поездка за границу. Иные же просто "ищут своего". И, конечно, нельзя исключить участие сотрудников "компетентных" органов с целью дискредитировать Церковь в глазах православных верующих.

Многие ставят под сомнение законность принятого в мае 1990 г. решения Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви о принятии духовенства и приходов, выходящих из Московской Патриархии. Конечно, создание па-

раллельной иерархии и церковной юрисдикции - явление объективно ненормальное. Но это явление - следствие тяжелой болезни в жизни российского Православия XX века, вызванной сергианством. Верю, что как только проблемы, накопившиеся в церковной жизни из-за сергианства, будут преодолены, сами собой отпадут и причины разделения.

Зарубежная Русская Церковь никогда не мыслила себя вне ограды Русской Православной Церкви, никогда не стремилась стать автокефальной. В 1945 г. на призыв патриарха Алексия I объединиться с Московской Патриархией Первоиерарх Зарубежной Церкви митрополит Анастасий (Грибановский) ответил, что ее чада

"[...] Никогда не считали и не считают себя находящимися вне ограды Православной Русской Церкви, ибо никогда не разрывали канонического, молитвенного и духовного единения со своею Матерью Церковью [...] Вполне правомочным судиею между зарубежными епископами и нынешним главою Русской Церкви мог бы быть только свободно и законно созданный и вполне независимый в своих решениях Всероссийский Церковный Собор с участием по возможности всех заграничных и особенно заточенных ныне в России епископов, перед которыми мы готовы дать отчет во всех деяниях за время нашего пребывания за рубежом..." (Родзянко М. "Правда о Зарубежной Церкви", "Православная жизнь". Джорданвилль, США, 1976, с. 40).

Нельзя отождествлять Московскую Патриархию со всей Российской Церковью. В Патриархате много самоотверженных пастырей, преданных Христову делу, которые в это тяжелейшее во всех отношениях время создают Церковь. Многие защитники Московской Патриархии, оправдывая ее, любят указывать на этих достойных пастырей и мирян, как на доказательство ее жизнедеятельности. Но эти достойные люди проявляют себя *не благодаря* руководству Московской Патриархии, а *вопреки* ему.

Автор этих строк воочию убедился в этом, когда прошлым летом побывал в России. На Валааме, в Рязани, в Печорах, в Пюхтицах, в Шамордино, в Костроме и во многих других местах я встречался и подолгу беседовал с бескорыстными церковными людьми, не помышляющими об уходе из Патриархии, но делающими все, от них зави-

сящее, чтобы преодолеть кризис в Церкви, вызванный сергианством. Многие из них сетовали на то, что вместо проведения реформ и кадровых перемен (особенно на верхах), которые могли бы смягчить напряженность в Церкви и сделать ее более жизнеспособной, патриарх пошел по пути дальнейшего усиления авторитарных начал и сплочения высшей церковной бюрократии, сформированной в доперестроечные годы.

Чтобы противостоять переходу в Русскую Зарубежную Церковь, который может принять массовый характер, руководство Патриархии пытается всеми средствами уничтожить Свободную Церковь и призвало себе на помощь власть имущих, сильных мира сего (кстати, излюбленный сергианский метод). Борьба нередко выражается в прямом физическом насилии над общинами, духовенством и верующими Свободной Российской Православной Церкви.

"Противостояние Московской Патриархии и Свободной Российской Православной Церкви - далеко не частный внутрицерковный конфликт, - отмечается в Курской областной независимой газете "Акценты". - Это неизбежный результат возрождения русского самосознания, методически уничтожавшегося большевиками".

Когда толпа "праведников" побивает одного "грешника", сразу чувствуется: здесь что-то не так. Свободную Российскую Православную Церковь сегодня стремятся побить с редким единодушием и новые власть имущие, и старые иерархи "советского православия". Просто удивительно, как быстро слились воедино бывшие гонители и гонимые! Почему так бояться и те, и другие своих же православных людей, почему так ненавидят их?!

Нелегко в наше время выбрать правильный путь. Но тем большего уважения заслуживают люди, нашедшие его в стороне от дорог, протоптанных миллионами бегущих за очередным вождем" ("Акценты", декабрь 1991 г.).

7. Правда и молитва на путях к воссоединению

Ложь есть истребление любви.

Преп. Иоанн Лествичник

Горько все это. Но мы должны знать правду о жизни Церкви в России и особенно сейчас, когда со всех сторон просят священноначалие Русской Зарубежной Церкви сесть за стол переговоров с иерархами Московской Патриархии. Памятуя о том предсоборном процессе, к которому призывают архиереи Русской Зарубежной Церкви, мы обязаны усилить нашу духовную брань со злом, изгнать его из нашей жизни прежде, чем всерьез начать переговоры о столь желанном воссоединении двух частей Русской Православной Церкви.

Орудием в этой борьбе против зла лжи должна быть правда, ибо *Господь любит правду* (Пс. 10, 7). Об этом вспоминает священник, когда облачается в священные одежды и произносит слова Священного Писания: *Священницы Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнии Твои радостию возрадуются* (Пс. 131, 9), *всегда ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.*

Каждый день верующими как Московской Патриархии, так и Русской Зарубежной Церкви произносятся слова замечательной поминальной утренней молитвы. Все мы понимаем значение этих слов, но входят ли они в глубину нашего сознания?

"И в первых помяни Церковь Твою Святую, Соборную и Апостольскую, юже снабдел еси честною Твоею Кровию, и утверди, укрепи, и разшири, умножи, умири и непребориму адowymi враты во веки сохрани: раздираная церковей утиши, шатания языческие угаси, и ересей восстания скоро разори и искорени, и в ничтоже силою Святаго Твоего Духа обрати".

Вдумаемся в эти слова, будем их произносить не только устами, но, главное, сердцем, чтобы они всей Господней правдой вошли в нашу жизнь и принесли плоды *достойные покаяния* (Лук. 3, 8), которые долготерпеливый и многомилостивый Господь от нас ждет.

Чтобы обновиться покаянием, недостаточно только называть грех, как это делает диакон Андрей Кураев, придав ему форму некоего безличного, "общего национального и народного", тем самым превратив его из отвратительного и опасного явления в нечто привычное, с чем уже все

давно сжились и смирились. Не оглашение требуется, а искреннее понимание и признание своей вины, сердечное сокрушение о соделанном и совершенное обновление личности и образа жизни человека (по определению преп. Исаака Сирина). То, что было свойственно человеку до покаяния, становится чуждым и несвойственным после; *метанойя* - изменение ума - влечет за собой изменение и чувств, и поступков. И в итоге - иная личность, новая духовная тварь.

Понятно, дело это нелегкое. Такое покаяние для многих тождественно исповедничеству. Но без него нам не обойтись: *"Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным (Мф. 10, 32-33).*

"Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжело его унижение, но пробьет час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно историческую дорогу" ("Троицкий патерик", изд. Свято-Троицкой-Сергиевой Лавры", 1896 г., сс. 8-9).

Произнося эти слова в 1892 году в Московской Духовной Академии, историк В. Ключевский, конечно, имел в виду преп. Сергия Радонежского, сыгравшего огромную роль в избавлении России от татарского ига. Слова Ключевского применимы и к другим кризисным периодам русской истории, в том числе и к нынешнему.

В XX веке лучшая часть русского народа собрала свои "растерянные нравственные силы" и воплотила их в своих Новомучениках и Исповедниках. Внезапно явленные нам в годы жесточайших гонений на Церковь и просиявшие с сонмом мучеников и исповедников эти богатыри духа зовут нас к предельной серьезности, к молитве. К Новомученикам нужно обращаться нам за помощью, за указанием, как исправиться нам, чадам Русской Церкви. Самые ценные духовные плоды даются тогда, когда мы ищем

указания у тех, кого считаем правдивее, чище и выше нас. Это и неудивительно, ибо *Бог гордым противится, а смиренным дает благодать* (Иак. 4, 6), а обращение за указанием и за помощью есть определенно плод некоторого христианского смирения.

Что же говорят нам мученики нашего времени - жертвы безбожного коммунизма? Они говорят нам всем о том, что необходимо духу нашему возродиться. Духовное возрождение - это путь для каждого христианина. А путь к такому возрождению лежит через покаяние. Есть в чем покаяться всем нам. Ведь мы все - члены единой семьи человечества. Все мы несем ответственность за то страшное безумие античеловеческого безбожия, которое более семи десятилетий царило на нашей несчастной Родине. Да, есть в чем каяться. Но покаяние не есть уныние, оно - свобода и совершенная радость. Без покаяния, без жизни духа всякая земная радость в печаль претворяется.

Некогда ниневитяне услышали призыв к покаянию пророка Ионы, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого, и царь Ниневии сказал: *"...Кто знает, может быть, еще Бог умилиосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем"*. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел (Пр. Ион. 3, 5, 9-10).

*Св. Четыредесятница -
Неделя Жен-Мироносиц,
1992 год, Вашингтон, США*

ПРИМЕЧАНИЯ

10. Парижский журнал "Вестник РСХД" (№ 87-88, 1968, сс. 4-7 и 15-17) сообщает нам следующие биографические данные о владыке Ермогене: Архиепископ Ермоген родился в 1895 г. Духовное образование получил в Московской Духовной Академии. В 1920 г. он принял монашество и был рукоположен в иеромонахи

самим патриархом Тихоном. В 1923 г. был возведен в сан архимандрита и назначен наместником Киево-Печерской лавры.

В 1931 г. архим. Ермоген был арестован и заключен на 10 лет в лагерь. Отбыв заключение, он поселился в Средней Азии. В начале 50-х годов служил священником в Самарканде, в 1953 г. был хиротонисан во епископа Ташкентского и Среднеазиатского. Слова, произнесенные им при хиротонии, характеризуют светлый облик этого мужественного пастыря:

"Я рад, что могу свидетельствовать перед всей Церковью, что мое прошлое в Боге. Для Господа я еще в дни своей юности отказался от многого, что так привлекает человека в этом мире. Ему служила моя воля. И если я, как человек, согрешил, то никогда от Него, своего Господа, не отступал, всегда был верен Святой Его Церкви и рука моя никогда не простиралась к богу чуждому".

Владыка Ермоген стал епископом до смерти Сталина. Последний епископ, поставленный в эпоху жестокой диктатуры, сделался как бы апостолом десталинизации в отношениях между государством и Церковью.

Во время правления Хрущева, особенно в 1959-60-м гг., в согласии с официальной директивой, местные власти начали разрушать структуру Церкви. За энергичную защиту веры он на год отстранен от управления епархией. В 1962 г. его назначили архиепископом Калужским. В 1964 г. он первый поднял кампанию за освобождение Церкви от пленения советскими безбожными чиновниками. Летом 1965 г. архиепископ Ермоген возглавил делегацию из восьми епископов к патриарху Алексию I, требовавшую отмены решения Собора ввиду их неканоничности. За эту акцию архиепископа Ермогена "убедили" уйти на покой и назначили ему поселиться в Жировицком монастыре.

Тем не менее, и находясь на покое, он неоднократно выступал против приспособленческой политики Московской Патриархии. После смерти патриарха Алексия I все лучшие силы Русской Церкви мечтали об избрании архиепископа Ермогена патриархом. Однако владыка Ермоген, бывший в то время старейшим иерархом Русской Церкви, не был вызван на Собор и до самой своей кончины, последовавшей 7 апреля 1978 г., оставался под фактическим домашним арестом.

11. Борис Владимирович Талантов - 65-летний в то время преподаватель математики, сын священника, погибшего в сталинских лагерях, автор нескольких статей о бедственном положении РПЦ. Составленное им письмо 12 верующих Кировской области попало за рубеж и было передано по Би-Би-Си на СССР. Митрополиту Никодиму (Ротову), ведающему внешними сношениями Московской Патриархии, газета "Юманите" задала по

этому поводу вопрос. Митрополит Никодим заявил, что письмо это - анонимное и факты о давлении властей на Церковь, в нем изложенные, не соответствуют действительности. Местные органы КГБ стали добиваться от авторов письма подтверждения заверений митр. Никодима. Давление было такое, что трое из подписавших письмо скончались, семинарист Н. Каменских был исключен из семинарии, но ни один из подписавших от своей подписи не отказался. Более того, Талантов в открытом заявлении подтвердил верность фактов гонений Церкви, изложенных в письме 12-ти. В 1969 г. он был арестован, приговорен к трем годам заключения "за клевету" и умер в тюремной больнице.

Подвиг Б. Талантова поразителен еще и тем, что он действовал в российской глубинке, а не в крупном центре. Об этом в свое время писал Анатолий Левитин-Краснов:

"В тяжелые времена, когда за какие-нибудь два-три года (в хрущевский период) было закрыто более 10000 церквей, когда каждый день приносил все новые и новые известия об очередных актах разбоя - в Почаевской обители, в других обителях Молдавии и Украины, когда все газеты и журналы были переполнены вонючей клеветой в адрес верующих, а иерархи сидели на своих местах, боясь замолвить словечко в защиту Церкви, - в это время скромный учитель из Вятки боролся за Церковь, он боролся пером, писал яркие письма во все инстанции; он боролся словом, обличая произвол местных властей и преступное попустительство иерархов. Тяжело ему было, старику. Ведь в провинции он был совершенно один: вокруг ни культурных людей, ни смелых соратников. Ведь в провинции люди более робкие, чем в Москве, власти более самоуправные, произвол циничный ("Посев", октябрь 1969 г. "Драма в Вятке", с. 6).

12. В 1973 году, за два года до ассамблеи в Найроби, генсек ВСЦ Филипп Поттёр посетил Москву и встречался с представителями Московской Патриархии. В одном из отчетов КГБ, найденных Парламентской Комиссией, говорится: "В СССР в качестве гостя Московской Патриархии находился Генеральный секретарь ВСЦ Филипп Поттер, в отношении которого через агентов "Святослава", "Адаманта", "Михайлова" и "Островского" оказывалось выгодное [...] влияние. Получена представляющая оперативный интерес информация о деятельности ВСЦ. Начальник 4 отдела 5 Управления КГБ при СМ СССР подполковник Кубышкин" (л.л. 101-02, 1973 г.).

13. В архивных документах КГБ сообщается, что на 6-ю ассамблею ВСЦ в Ванкувере "в составе религиозной делегации СССР направлено 47 агентов органов КГБ из числа религиозных авторитетов, священнослужителей и технического персонала. Н. Н. Романов" (л. 191, июль 1983 г.). Другими словами, фактиче-

ски вся делегация Московской Патриархии на 6-й ассамблее ВСЦ служила в КГБ!

14. Сербский богослов исчерпывающим образом разъясняет православную точку зрения на проблему экуменизма в книге "Православие и экуменизм" (Солунь, 1974 г.). Об экуменизме с предельной ясностью писали также первоиерархи Русской Зарубежной Церкви митрополит Филарет (в двух его "Скорбных Посланиях") и митрополит Виталий, архиепископ Аверкий (Таушев) в многочисленных статьях и проповедях. См. также книгу православного американца иеромонаха Серафима Роуз "Православие и религия будущего", Платина, Калифорния, 1979 г.

15. Дабы не было кривотолков относительно этого канона, приведем здесь толкование 15-го правила авторитетнейшего канониста епископа Далматинского-Истрийского Никодима:

"...Если кто-либо из епископов, митрополитов или патриархов начнет проповедовать какое-либо еретическое учение, противное православию, тогда прочие священно- и церковно-служители вправе и даже обязаны тотчас отделиться от подлежащего епископа, митрополита и патриарха, причем за это не только не будут подвержены какому бы то ни было каноническому наказанию, наоборот, удостоены будут похвалы, ибо этим они не осудили и не восстали против настоящих, законных епископов, а против лже-епископов, лже-учителей, и не раскол образовали они этим в Церкви, напротив, по мере сил освободили Церковь от раскола, предупредили разделение. Архимандрит (впоследствии епископ Смоленский) Иоанн, согласно с историческими обстоятельствами русской Церкви, совершенно правильно и в строгом смысле канонической науки, в толковании данного правила замечает, что пресвитер не будет виновен, но скорее похвалы достоин за отделение от своего епископа, если последний "проповедует какое-либо еретическое учение, противное православной церкви, причем если а) "проповедует учение, явно противное учению католической церкви и уже осужденное св. отцами или соборами, а не частную какую-либо мысль, которая могла бы показаться кому-либо неправильной и особенной важности в себе не заключающей, так что легко может быть исправлена, без обвинения в преднамеренном неправославии; затем б) "если лжеучение проповедуется (им) открыто и всенародно в церкви, когда т. е. оно является уже обдуманным и направляется к явному противоречию Церкви, а не частным только образом высказывается, когда еще таким же частным образом оно может быть обличено и отвергнуто, без нарушения мира Церкви" (Никодим, епископ Далматинский-Истрийский "Правила Православной Церкви с толкованиями", С.-Петербург, изд. С.-Петербургской Духовной Академии, 1912, т. II, сс. 308-309).

Алексей СМИРНОВ

Переезд

Памятка пассажиру калужской электрички

Билет на калужскую электричку надо покупать загодя. Лучше всего дней за тридцать.

В крайнем случае приезжайте на вокзал накануне вечером. Если вы рядовой пассажир, к вашим услугам зал ожидания на тысячу мест, где вам предстоит масса встреч с интересными людьми, обмен новостями, при возможности - ужин в ресторане, а при везении - здоровый сон на удобной деревянной скамье с выдающимися во всех отношениях металлическими заклепками. Но ежели вы неровен час депутат, то приготовьтесь к полному мрачному одиночеству и тяжких предчувствий ожиданию в отдельном от избирателей депутатском зале, где, беспокойно разметавшись на пружинном кожаном диване, отрезанные от информации с мест, вы будете прислушиваться к малейшему шороху, бодрствовать до рассвета, а перед самым подъемом забудетесь коротким мятежным сном, исполненным лихорадочных видений. Однако в вагон утренней электрички вы все-таки попадете.

Но грубо ошибется тот, кто приедет на вокзал в 6.30 - за полчаса до отхода поезда. Всю его самонадеянность как ветром сдует лишь только он увидит, что из всех окошечек пригородных касс работают два, и две туго переплетенные, как коса, очереди вьются по мостовой.

Ваши действия? Вы добегаετε до конца "косы" и сообщаете, в какую очередь встать, какая пойдет быстрее?

Вычислить это немыслимо, а потому вы встаете сразу в обе, то есть в одной очереди вы присутствуете как физическое лицо, а в другой - как юридическое. В каждом "узле" косы оба ваши лица совмещаются в одно, чтобы вновь раздвоиться до следующего "узла". Вам приходится метаться между двумя очередями, и там и там напоминая, что вы занимали, и убеждаясь, что вас не забыли. Но в финале касса требует определенности: или - или. Билет выдается только физическому лицу. И в конце концов перед вами встает мучительный выбор: какое окошко предпочесть? Одновременно взять правой рукой билет в правом окне, а левой в левом вам никто не позволит. И все-таки вы в выигрыше. За время стояния выяснилось, какая очередь продвигается успешней. Остается встать именно в нее и за два человека до окошечка удостовериться, что быстрая очередь застопорилась (сломался кассовый аппарат), а медленная тихо ползет, но вас туда уже не пустят. А время на исходе. Ваше положение пиковое. Вы как на иголках. Вы чувствуете себя приговоренным, и минутная стрелка на часовой башне вздымается над вами, как меч. Недаром эта башня Киевского вокзала всегда отдаленно напоминала вам Тауер.

Однако если каким-то чудом билет все же схвачен, а в запасе нелишняя минута, все зависит от вас. Рекорды скорости, чемпионские показатели прыти, какие проявляют пассажиры с баулами, ведрами, рюкзаками, сумками, портфелями, пакетами, корзинами, лавирующие между телами встречного потока, достойны куда большего вознаграждения, нежели битком набитый вагон с высаженными стеклами и распоротыми сиденьями. Но все это уже сущие пустяки. Главное - вы едете, едете, едете!

Три с половиной часа пути пролетают как какие-нибудь четыре. Примечательное событие разнообразит вашу поездку. Перед Наро-Фоминском в вагоне появляется газетоноша - болезненного вида молодой человек, страдающий хронической гнусавостью. Он пропагандирует орган глобальной оппозиции газету "Ночь".

- "Кто победит: Президент или парламент?"

"Дьявол со светящимися ушами летал над Волоколамском!"

"Уроки эротики" и другие захватывающие материалы! - объявляет разнощик, раскачиваясь во все стороны с толстой кипой листов.

Этой прелести никто покупать у него не желает, но одна добросердечная душа сжаливается над убогим юношей и протягивает ему три помятых рубля. Юноша напрягается и произносит с пафосом, достойным актера императорских театров:

- Не надо меня унижать! Уберите ваши деньги!

Если вы, как и я, решили, что молодой человек почувствовал себя оскорбленным, восприняв эти деньги, как милостыню, то вы заблуждаетесь.

- Меня коробит от ваших замусоленных, жеванных рубликов! Дайте мне нормальную чистую трешку! - требует газетоноша.

Других происшествий в дороге не происходит. Колеса всем скопом уносятся прочь, и станция Муратовка встречает вас блаженной тишиной и картинной неподвижностью пейзажа.

Спустя час вам подадут состав, по старинке именуемый "Москва - Ленинград" (через Новгород, кажется, Нижний), и вы с удовольствием забираетесь на верхнюю полку плацкартного вагона. Лежать в поезде еще лучше, чем сидеть, особенно, если поезд демонстрирует все преимущества неторопливой езды.

Например, такая деталь, как верстовой столб.

Пассажир любознателен. Пассажиру всегда интересно знать, а сколько километров он проехал? В экспрессе узнать об этом нельзя. Экспресс летит так, что столбы выскакивают из-под земли, как сумасшедшие: пальцем ткнуть не успеешь. Иное дело медленный поезд. Подъезжая к столбу, он нарочно снизит скорость, а то и вовсе остановится: читайте, перечитывайте, вдумывайтесь, вычисляйте. Да и куда спешить? Вам достаточно успеть на место за-

светло, а поезду в Питер затемно. Тут счет идет не на минуты, а на световые дни. И вы рисуете в воображении эскизы тех из них, что собрались посвятить природе - провести в поле, на лугах, у лесного ручья... Вот вы срываете лесную малину в почерневший от копоти котелок с проводочной ручкой. Вот размашисто косите высокую траву. А вот следите за стайкой мальков, снующих на солнечном мелководье. "Эх! - думаете вы. - Что три дня? Выбраться бы дней на десять..."

Райцентр Износки распахивает перед вами двери хозмага, где вы покупаете один шпингалет оконный, а могли бы купить еще и две щеколды дверных. Выбор есть, все зависит от желания. Столовая предлагает в ассортименте котлеты по-полтавски за 9.70 или мясо тушеное - 12.60. Первые похожи на жареную замазку, второе на еду, и вы радуетесь тому, что всего три рубля отделяют здесь несносное от съестного.

Теперь и до места можно идти.

Тайна дыма постепенно рассеивается

Вот ситуация: несколько горожан, объединившись, берут в аренду два куска земли: Беспутино урочище и Синеево. Между ними по прямой три километра. Но по прямой не пройдешь: лес, бездорожье. Кроме кабаньих троп никакими дорогами окрестности не изобилуют. В урочище горожане разбивают палаточный лагерь, возделывают мото-блоком клин целины, а в конце июля встает вопрос: не пора ли перебираться в Синеево, расширять дело?

Вы попадаете в решительный момент. Обсуждается: быть или не быть переезду, и если быть, то когда?

Егорыч предлагает не мешкать.

Козлов-отец возражает:

- Я человек ужасно вредный! Зачем нам отсюда уезжать, я не понимаю? Разве мы здесь все переделали?

- Надо воспользоваться тем, что нас сейчас пятеро. Сила. Верно? - убеждает Егорыч. - Завтра сбегает на разведку, в завалах пропилены сделаем под мото-блок и - с Богом!

Ухватившись руками за стол, срубленный из горбыля, Козлов Старший не соглашается:

- Чисто психологически трудно отсюда оторваться. И привыкли, и все налажено.

- Пора-пора, - торопит Егорыч, сматывая бичеву.

Флор Козлов Средний поддерживает Егорыча, тогда как Фрол Козлов Младший разделяет сомнения отца. Все-таки до чего родные братья не похожи друг на друга! Флор рослый и расслабленный, Фрол крепыш-коротышка. Флор совенки, Фрол жаворонок. Старший брат выпускает обратно в реку пескарей, которых наловил младший. Если вынести за скобки общую для братьев букву Ф, то выражение в скобках покажет как зеркально противостоят самые их имена: Ф(лор - рол). Они - братья по отцу с матерью и по букве Ф, но не больше.

- И местá в Синееве лучше, чем здесь - балдеж! - поддерживает Флор Егорыча.

- Тебе бы только балдеть, - замечает Фрол.

- А может, в самом деле, отложить переезд? - вслух размышляет Егорыч. - Тут еще не докосили, недопропололи...

- Ну, уж если мы переезд с прополкой свяжем, то вообще никогда отсюда не выедем, - видоизменяет позицию Козлов-отец. - Нет, братцы, вот что я вам скажу: надо переезжать! Через неделю мы с Фролом в Москву отчалим, вы тут без нас с переездом сломаетесь.

- Кто таскать-то будет? - вторит отцу Фрол.

- Мото-блок, - мечтательно отвечает брату брат.

- А если дождь зарядит? - прогнозирует отец.

Перспектива потерять основную тягловую силу в лице Старшего и Младшего Козловых заставляет и Егорыча передумать.

- А ты как считаешь? - обращается он к вам.

- Какие там, говорите, места? - спрашиваете вы.
- Еще лучше, чем здесь, - подтверждает отец.
- Тогда надо ехать.

Утром вся компания - Егорыч, Козлов Старший с сыновьями - берет топоры, пилу и отправляется искать короткий путь на Синеево, то есть кабанью тропу, соизмеримую с габаритами мото-блока. А вам поручают остаться в лагере и приготовить обед.

В настоящей сельской глуши привольем не поумиляешься. Скорей вы почувствуете себя здесь точно под домашним арестом. Травы в лугах вымахали такие, что пути не видно. Лес высится кругом, подпирая облака. А в глубине его - непроходимый бурелом, заросли крапивы, комариное царство. Куда пойти? Разве что по прокошенной тропе к речке за водой...

Зато в самом лагере вы порадуетесь хитроумию обособившихся тут арендаторов. Это они, нигде не достав умывальника, приспособили взамен садовую лейку, да еще снабдили ее педалью, которая через трос накреняет лейкин носик под любым углом к пригоршне. Это они, не тратясь на покупную тележку, соорудили двухколесный возок с еловыми бортами, прицепив его к мото-блоку. А какое посадочное место сплели они под разлапистой елью! Оно, как сквозная корзинка. В ней посидеть, как на воздушном шаре полетать! Тут не хлоркой пахнет, а свежей хвоей и живыми цветами. Сюда не мухи летят, а бабочки. Здесь не газету комкают, а читают книгу природы. А кто разыскал в лесу заброшенную насыпь узкоколейки и, врезавшись в откос, построил землянку со стенами из красной глины, обшитыми деревянной решеткой? Кто водрузил над кострищем навес от дождя и не испугался, что он сгорит? Вот на что способны наши люди, когда им дают в аренду два куса кинутой земли без дорог, без света, без ничего, да еще грозятся, если что, отобрать!

Я люблю кашеварить на свежем воздухе. Принесешь воды из реки в двух прокопченных канах, наколешь бере-

зовых полешек, нащиплешь лучинок, составишь их "домиком" и - чирк...

А чего стоит обед, сваренный на железной печке со ржавой трубой, дымящей, как мятежный броненосец! Ранним утром на восходе солнца ты уже кочегаришь, пытаешься развести пары и пуститься в плавание. К полудню, наглотавшись горячего, слезоточивого дыма, тебе удастся взгромоздить котелки и чайник на открытый огонь. Вооружившись кочережкой, ты занимаешь капитанский мостик - чурбак у печной заслонки. Броненосец пыхтит, котлы нагреваются, цельные полешки ныряют в топку, сажа клочьями вылетает в трубу!

И тут ты узнаешь одну замечательную особенность дыма, его тайну, покрытую мраком. Почему-то дым постоянно сносит в твою сторону. Ты на капитанском мостике (у заслонки), и он направляется туда же. Ты переходишь на левый борт, и он за тобой. Ты на правый - он уже там! Задумаешь обмануть его и лечь плашмя, он в точности повторит твой маневр и станет низко стелиться. Тогда ты сообразишь, что, вероятно, единственное место, где дыма не бывает, расположено прямо под трубой, и немедленно убедишься в своей ошибке. Оказывается, он и вертикально вверх готов вздыматься - было бы во имя кого!

На собственном опыте я удостоверился, что направление дыма совершенно не зависит от силы и направления ветра, атмосферного давления, осадков и прочей чепухи. Нет ничего проще, чем предсказать, куда его понесет. Дым всегда дует на кочегара. Он словно благодарит того, кто его воскурил. Он трется о твои ноги, гладит хвостом колени, норовит лизнуть руку, преданно заглядывает в глаза, и ты плачешь, плачешь, тронутый такой собачьей верностью. А ветер его ничуть не волнует. Он его знать не знает. Стихия дыма подчинена не стихии ветра, а тихим стопам кочегара. Будь спокоен, пока ты топишь печь, дым не развеется, и сколько бы ты ни приговаривал: "Дым на вора, дым на вора, дым на вора!" - никакого "вора" он окуривать не станет, он даже головы не повернет ни в чью

сторону. Пусть огонь прогорел, и печка погасла, но дым все еще ползет из трубы, не в силах с тобой расстаться, и ты стоишь в нем с закрытыми глазами, окутан с головы до ног его заботливым теплом и ждешь, когда же закипят котлы.

Замечено, что чем нетерпеливей ждешь, когда, наконец, закипят эти чертовы котлы, тем дольше они не вскипают. Забудь про них. Займись другим делом. Например, обрати внимание на то, что весь огонь сдвинулся под чайник, а под котлами его давно нет. Поправь кочережкой сбившиеся поленья. Теперь под котлами снова жарко и можно верить, что твой корабль благополучно завершит свой победоносный путь. И не горюй, если ко времени обед не готов. Часом раньше, часом позже, какая разница? В дальнейшем плавание это "не играет значения" (как говорил один кок, насыпая соль в сахарницу) или "не имеет роли" (как поправлял его другой, пересыпая сахар в солонку). Что такое час, два, даже пять, когда речь идет о борще с мясом?! Но и не затягивай время, помни: революции начинаются в желудке, а кончаются за обеденным столом. В крайнем случае смажь ожидание экипажа бутербродами с маслом - пусть рапсовым, пусть соевым, каким угодно, но смажь!

Я рассчитывал, что разведка вернется часов в пять, поэтому к семи лапша в моем кане вполне сварилась, и неважно, что я ее недосолил, зато соус был отлично переперчен. С дороги лапшица пошла на ура, и порции оказались достаточными, поскольку из четырех разведчиков вернулись двое: Егорыч и Флор. Козлов-отец с младшим сыном остались ночевать в Синееве, чтобы завтра устроить нам достойную встречу. К тому же Фрол пообещал сделать недостающие пропилы.

Покончив с лапшоусом, от души напившись индийского чаю, едоки представили себя ездоками завтрашнего переезда. Во-первых, они нашли короткий путь. Километров шесть, не больше. Во-вторых, несмотря на полное бездорожье, путь в принципе проходимый. Везде, где надо, сдела-

ны пропилили под мото-блок. Правда, есть серьезное препятствие, способное нас задержать. Это - малина. Ее видимо-невидимо. Малинники стоят стеной вдоль всего пути следования.

- За сколько доедем? - спросил я, мысленно погружаясь в непроходимые малиновые дебри.

- Максимум часа за три, - донесла разведка.

В одном артиллерийском полку

К предсказаниям я отношусь по-разному. Хорошим охотно верю, дурные же воспринимаю скептически: всегда хочется их доработать. Скажите мне, что короткой дороги до Синеева нет; заметьте, что малинники заглушила крапива; сошлитесь на тихоходность мото-блока и сделайте вывод, что переезд предстоит тяжелый, займет минимум полдня - как я усомнюсь в вашей правоте. Скорее всего я решу, что дорогу плохо искали; к малине не нашли правильного подхода; лошадиную силу мото-блока недооценили, а за полдня и до Калуги доберешься, не то что до Синеева!

Но разведданные обнадеживали, и я принял их без работ. Если встать в семь, а выехать в десять, то в Синеево поспеешь как раз к обеду. Сгоряча я даже захотел освоить вождение мото-блока, однако Флор пробормотал что-то насчет инструкции, которую надо изучать дня два, и охладил мой пыл. Я ненавижу читать инструкции. Инструкции - это мой бич. Особенно, когда чертеж на одной стороне листа, а пояснения на обратной. Устав ворочать страницу с боку на бок, я пробую менять угол наклона, ставлю лист вертикально, заглядываю то слева, то справа, но неприязнь нарастает. К 11-ой позиции я с трудом сдерживаю раздражение, а к 21-ой киплю благородным гневом, проклиная не только инструкцию, но и сам предмет инструктажа.

Отдельная притча - инструкции, написанные для нас

иностранцами. Подозревая, что не все аборигены свободно читают английские тексты, фирмачи любезно предоставляют вам детальные описания своих изделий по-русски. Однако перевод они поручают, очевидно, эмигрантам-троечникам из России, у которых к тому же родной язык уже основательно перепутался с чужбинным. Имея в виду то почтение, с каким наши люди относятся ко всему фирменному, можно ожидать, что выражения типа "здесь есть никелированная болт с левым резьбом" скоро станут литературной нормой.

Но далеко не все питают к инструкциям такое же предубеждение, как я. Находится масса людей, не только читающих, но и составляющих инструкции на все случаи жизни. Поле деятельности тут огромное, и все же изобретательность составителей поражает воображение.

В одном артиллерийском полку помощник командира по хозяйству Шматков метал инструкции, как осетрина черную икру. У него артиллеристы по предписанию и из пушек стреляли и на горшок ходили. В полковой уборной висел железный распорядок действий. Правда, наводчики пытались его сорвать, дабы не срамить честь полка, но распорядок был намертво пришкварен к стене, а если и отдирался, то клочьями так, что всякий сущий мог восстановить полный текст.

"...ЛЬЗОВАНИЯ ОЧКАМИ АРТИЛЛЕР... ПОЛКА

Пользоваться очками надлежит...

...а садиться на стул с полной нагруз...

...целой и плотно облежала деревян...

...тела держать прямо и совершенно не...

...а ноги... слегка отдалив от пола...

...и на ягодицы... имея руки положенными вдоль...

...их коленей. Посадкой необходимо достичь попа...

в очко, а не на подушку...

...же время не замочить подушку моч...

...вынуть целиком... придерживая его рукой...

вниз... до последней капли. До полного окон...

не отходить... и по полу не разма...

Указанным путем дается возможность быть сухим
около очков.

Помполка по хозяйсти Шматков."

Хорошо, что в нашей артиллерии пока не служат бли-
зорукие иностранные наемники. Их знания русского языка
могло бы хватить ровно настолько, чтобы спутать "очко" с
очками и принять эту инструкцию за наставление по обра-
щению с оптикой. Легко представить себе какого-нибудь
исполнительного капрала, пытающегося попасть в "очко"
собственных очков. Можно вообразить его удивление: по-
чему при обращении с очками в полку требуются такие
сложные телодвижения? Почему очки нужно регулярно
описывать вместо того, чтобы просто носить на носу? И
сколько надобно сноровки, чтобы их вымочить, а самому
остаться сухим? Крепко усвоив, что в армии не спрашива-
ют, а выполняют, капрал точно проделает все, что ему
предписывает инструкция, но по возвращении домой он не
утерпит и поразит друзей рассказом о том, что русские
артиллеристы начинают тренировать меткость попадания
не на полигоне, а в туалете, для чего в качестве мишени
используют очки; что порядок действий с окулярами пом-
полка Шматков расписал до мелочей и что вообще непости-
жимо, какое ритуально-мистическое значение придается в
русской армии оправке с очками. Недаром оправка - это,
наверное, действие, направленное на оправу и совершенно
неважно, со стеклами она или без. Оправляться можно и в
пустую оправу, держа ее за ушки. Так возможность "быть
сухим около очков" даже возрастает - нет разбрызгиванья
от стекол.

И вместе с тем при всей моей неприязни к инструкци-
ям я ловлю себя на том, что бываю очень озадачен, когда
они отсутствуют вовсе. И не только я. Первое время в
молочных продавали красные тетрадры с молоком, одна-
ко инструкций к ним не прилагалось. Народ недоумевал:

как вскрывать пакеты? Оторвать угол пальцами было невозможно. Отрезать ножом тоже не удавалось. Мягкие тетраэдры мялись, но не резались. Их пробовали надкусывать с угла и не могли перетереть зубами вощеную финскую бумагу. Их пытались расклеивать по шву паяльником, но паяльник дымился, а шов не расклеивался. Тогда их просто брали за угол, как ножичек, и с размаху метали в пол. Они не втыкались. Их квасили на батарее, чтобы простокваша разорвала упаковку изнутри. Безуспешно. И, наконец, додумались: купили у фирмы лицензию, стали производить сами, и все наладилось. Надобность в инструкциях отпала сама собой. Свои пакеты вскрывались от одного прикосновения. Стоило грузчику в магазине привести набитый пакетами ящик в соприкосновение с полом, как бумажная тара дружно лопалась, и молочная река устремлялась между прилавками с сухим киселем - к входным дверям, а покупатели как-то вздергивались, привставали на цыпочки; женщины панически пятились; мужчины спешно подворачивали парчины; кошки, захлебываясь от восторга, лакали край потока, а молоко прибывало и прибывало! Уже потек второй ящик, третий, десятый, и полногрудая директрисса, как кормящая мать, вплывала в торговый зал на пенопластовом плотике, чтобы лично руководить действиями персонала по обузданию разбушевавшейся стихии, введению ее в нормальное русло и сливу в канализационный люк у подъезда.

И долго еще потом магазин стоял весь умытый, сияющий, свежий, насквозь пропахший молоком, а подошвы прихватывались к полу и отлипали с легким потрескиванием!

В обиход вошло выражение *текущий пакет*, и было предложено двойное правописание слова *молоко* на упаковках: если полная, то *молоко*, а если изрядно вытекшая, то *малоко* как производное от наречия *мало*.

Песнь Козловых

Тем временем ночь опустилась на Беспутино урочище. Давно заснули жаворонки. Наступил час охотниц-сов; час тех, кого ночь не убаюкивает, не усыпляет, а взбудораживает и побуждает к действиям: охоте, полету, брачному танцу, волчьему вою, соловьиным трелям, мышинному шороху...

Темнота искусила длинноволосого Флора вооружиться гитарой и присоединить свой неокрепший молодой козлотон к таинственной музыке ночи.

О, гитара, гитара!.. Нет инструмента прекрасней тебя. Формы твои женственны, голос чарующ, он излучает тепло. Ты вся в бликах огня, то бурная, то дрожащая. Гитара-язычница, на тебе мерцанье цыганских кочевий. Гитара-плакальщица в черном, дочь "Андалузии слезной". Гитара-утешительница. Ты врачуешь душевные раны, спасаешь, отводишь от края бездны.

Но бойтесь гитары в руках тонкобродых и мекающих. Верно, музыкальные греки согласились бы с тем, что "Песнь Козловых" - это трагедия".

Вначале было еще сносно. Примерившись, Флор взял тонический аккорд. Правда, нечисто. Один палец попал не на тот лад, другой помешал открытому звуку, зато большой зажал струну с металлическим лязгом, как плоскогубцами. Потом Флор повторил взятый аккорд, однако не с тем, чтобы очистить мутную тонику, а с тем, чтобы прибавить ей громкости. После короткой паузы, убедившись, что все остальные звуки ночи успешно подавлены, музыкант стал бряцать по струнам ногтем указательного пальца, специально отрошенным под медиатор, но расположения пальцев левой руки не менял, то есть извлекал все ту же тонику и только путал ритм. Это длилось бесконечно долго.

- Флор, отдохни. Завтра переезд, - не выдержав, напомнил из палатки Егорыч. - Побереги силы, слышишь? Завтра рано вставать.

Но в ответ на это тоника лишь "переехала" в доминанту, и та продолжала тиранить тишину над урочищем.

Постепенно гитарист стал сотрясаться, входя в транс. Тряслись его волосы, руки, худые коленки; на длинном ремне болталась гитара. Правый кулак падал и падал на струны, как камень в омут, и волны звука кольцами расходились вокруг с нарастающей силой. Все окрест принялось мелко вибрировать: листья на березовых ветках, сами ветки, стволы.

Зазвякала ложка в кружке на горбатом столе. Закачался стол. Частая дрожь пробрала палатки, и они заходили ходуном, как будто их встряхивали с четырех углов перед тем, как сложить. А волны звука катились все дальше и дальше.

В райцентре Износки зазвенели окна, завертелись на дверях щеколды. В озерах заволновались воды, по ним побежала зябкая змеинная рябь. И скоро трясушка охватила уже половину Калужской губернии.

Заплясали избы, заборы, стога, водокачки. Дело дошло до подземных колебаний. В Калуге они среди ночи выгнали на улицу всех собак, и те носились по городу, опережая собственный лай.

Транспорт замучили вибрации. Сами по себе загудели рельсы, подрагивая на шпалах, словно по ним, вышибая костыли, мчался без остановок сквозной экспресс "Лондон - Владивосток", смазывая верстовые столбы, и не было никакой возможности сосчитать, сколько же километров пути осталось до Тихого океана. А секта трясунов на Урале вошла в резонанс с биениями Беспутина урочища и впала в такой транс, что он, как лихорадка, распространился на запад и восток, войдя в историю психиатрии под названием "транс атлантический" и "транс сибирский".

И тогда Флор запел.

Он пел, самозабвенно прикрыв глаза, наслаждаясь дивной красотой собственного ломающегося голоса, то уходившего в густые медвежьи низы, то внезапно вспарывшего до головокружительных петушиных высот. Флор

вкладывал в свою Песнь всю душу, и Песнь Козлова Среднего оглашала небеса, призывая к ответу Козлова Младшего:

"Завтра я перееду в Синеево!
Завтра я нагружу тачку по самую завязку
И усядусь сверху, а мото-блок
Потащит меня по лесной тропе!
Сегодня я сделал пропилы, расчищая завтрашний путь,
Но еще остался один завал.
Брат мой, Фрол! Ты обещал его пропилить,
Но слово свое не сдержал, не сдержал!
Ты предпочел бухать чифирь у костра,
И завтра, когда я перееду в Синеево,
Я скажу тебе все, что я о тебе думаю -
Рожа!"

И то же самое тоном выше по-английски с хорошим калужским прононсом:

"Туморроу ай'л муv ту Синеево!
Туморроу ай'л лoad ze вилбарроу ин фул..."

И ответ не заставил себя ждать. Фрол Козлов в Синееве проснулся, выскочил из палатки и послал брата через леса и реки:

"Что ты врешь про чифирь?
Иди ты знаешь куда?!
Может, я не ел и не пил,
А возжался с пилой на завале,
Делал для вас пропил, делал для вас пропил!
А вы, дураки, сбились с дороги и въехали в
буреломище!
Только покажись завтра у нас в Синееве,
Мы тебе с батей устроим -
Козью физию!"

На рассвете я проснулся от мерного шума. Певцы были тут ни при чем. Просто шел хороший летний ливень. Я порадовался тому, что палатка моя не течет, и заснул счастливым сном человека, заброшенного в уютное лесное урочище.

Упаковка-92

Не каждый год 26-ое июля и воскресенье совпадают. Это большая редкость. Такими днями я особенно дорожу и стараюсь провести их так, чтобы запомнить надолго.

Природа вышла из-под рассветного ливня, как красавица из душа: вся в мелких капельках. Они переливались на солнце, суля великолепный день. И тут как нельзя более кстати поговорить о прогнозах.

Мой приятель Рубен занимается этим делом профессионально. Его конек - долгосрочный прогноз. Чем долгосрочней, тем лучше. Самая неблагодарная работа - предсказывать погоду на завтра. Она нужна всем, и все с жадным вниманием ловят каждое ваше слово. Вы напряженно трудитесь, составляете сводки, прогнозируете, но приходит "завтра", опрокидывает ваши расчеты, и всякий резонер позволяет себе над вами иронизировать.

То ли дело предсказывать на месяц вперед! За месяц при нашей сумасшедшей жизни утекает столько воды, что никто ваших "пророчеств" уже не помнит. А Рубен вообще корифей. Он предсказывает погоду за сто лет вперед. Вот кто кейфует, вот кому лафа. Он может, например, совершенно спокойно определить, какая будет погода в Беспутинном урочище Калужской губернии 26 июля 2092 года.

Прогноз за сто лет - отличная штука! Во-первых, он впечатляет масштабом научного предвидения; во-вторых, он никому не нужен; а в-третьих, едва ли кто сможет его проверить. Поэтому в спину Рубену не пальцем кажут, а почтительно снимают перед ним картуз или по крайней мере относятся с дружеской симпатией, как к человеку, занимающемуся чем-то в равной степени и бесполезным и безвредным.

Перед отъездом в урочище я позвонил Рубену домой и спросил, какая погода будет завтра-послезавтра.

- Понимаешь, дорогой, - ответил Рубенчик с приятным южным акцентом. - Я тебе уже говорил, я занимаюсь долгосрочным прогнозированием. Погода на завтра-послезавтра - это дело моих аспирантов. А я сейчас предполагаю, какая ситуация с погодой сложится в июле 2092 года. Устраивает?

- Слушай, а как ты это делаешь?

- Очень просто. Я постулировал, что существуют ритмические циклы. Их период - сто лет. Значит, 26 июля 2092 года будет точно такая же погода, как 26 июля 1992 года. То есть я подожду воскресенья и дам предсказание за сто лет.

- Но почему именно за сто, а не за девяносто девять или сто один?

- Ну, как тебе объяснить, дорогой?.. Это - постулат. Я так положил. Мною постулирован именно столетний период.

- А чем ты руководствовался, когда так "клат"?

- Чем руководствовался?.. Красотой. Сто лет - это красиво.

День переезда начался с того, что мы проспали. Егорыч попросил Флора завести семейный будильничек, перехваченный аптекарской резинкой, чтобы не рассыпался от собственного дребезжанья, но во время ночного гитарного транса резинка от тряски лопнула и часики развалились. А Егорыча всегда раздражает потеря темпа. Если его с женой приглашают к обеду в гости, то он начинает подгонять ее уже с самого утра, хозяевам является заранее, застаёт их врасплох, извиняется, придумывает, что часы подвели (упали и побежали), стремительно пожинает обильную снедь и торопит жену домой ("Пора-пора, а то метро на обед закроют"). "Скорей!" - вот его жизненный девиз. Скорей родиться - скорей жениться - скорей умереть - скорей воскреснуть... При такой горячности и переезд предполагался спринтерски быстрый. Правда, с годами

Егорыч несколько утих, но по-прежнему оставался живцом, трудно совместимым с мото-блоком (4 км/час по хорошей дороге). Егорыч в молодости выжимал под 36 км/час, а если от собак убегал, то на отдельных участках развивал до 72-х. Всякие отсрочки мучили его нестерпимо. Он совсем не мог просто ждать, ничего не делая. Если что-то стопорилось, он готов был дергать, толкать, вытаскивать, лишь бы не сидеть на месте. При авариях Егорыч становился незаменимым, а когда все работало, как часы, он скучнел, искал, чем бы себя занять, перебирая противоречные концы. Понятно то нетерпение, та жажда деятельности, которые охватили Егорыча в день переезда. Он предложил не завтракать, а перекусить на скорую руку и упаковываться. Предвкушая роскошный обед в Синееве (баранина по-козловски, пескари в сметане от Фрола), мы с музыкантом легкомысленно согласились.

В преддверии поездки я обычно составляю список вещей, которые хочу взять с собой. Мне не так обидно, если при этом что-то забывается (забыл внести в список). Но я не могу себе простить, если забываю вещь потому, что поленился список составить. В случае переезда никакой реестр не нужен: берется все, и я почувствовал себя не у дел. Однако Егорыч сказал:

- Ну, ребятки, надрываться не будем. Мото-блок всего не потянет. Барахла у нас много. Возьмем львиную долю, а кое-что в землянку запрем.

- Надо список составить, что брать, - оживился я.

- Лучше составь список, чего не брать, он гораздо короче, - посоветовал Егорыч. - Циркулярная пила, мешок с цементом, гвозди - это обождет. А где Флор?

- На речку пошел котелки драить.

- Тогда начинай упаковываться без него, а я мото-блоком займусь.

Упаковка по силе отталкивания стоит у меня на втором месте после инструкций. В шесть лет я научился завязывать шнурки бантиком, и на этом мое упаковочное развитие приостановилось. Собрать чемодан или рюкзак еще

куда ни шло, но снаряжать телегу... Представляю, как это сделала бы какая-нибудь компакт-фирма. Все было бы аккуратноенько разложено, спрессовано, обтянуто термоусадочной пленкой с прорезями для колес и перевязано розовой ленточкой с пышным помпоном! Не тележка, а тортик! А я стоял в недоумении перед грудой рюкзаков, ведер, мешков, резиновых сапог, инвентаря: что куда девать? Но тут, к счастью, возвратился Флор и взялся мне помочь, то есть уложить тележку без меня. Я обрадовался, передал ему перечень и стал снимать палатки.

Через некоторое время Егорыч поинтересовался, как дела со сборами. Флор сообщил, что в основном все уложено, но не все помещается. Например, продукты, палатки... Егорыч удивился:

- А что же тогда поместилось?

Флор показал список. По списку все уложено: циркулярная пила, мешок с цементом, гвозди...

Пришлось пояснять, что это не тот список. Это список, чего не брать. Возникла задержка. Егорыч вспылil, заявив, что никуда с нами не поедет, что мы ему "на фиг весь график сорвали", что нам бы пол-второго в Синеее можно было баранину хряпать, а теперь мы заявимся неизвестно когда - к двум, к трем, когда все остынет и покроется холодным серым жиром!

Посидев в плетеной корзинке, Егорыч успокоился, передумал, выкинул все из тележки и снарядил ее заново сам. На первый раз простив компаньонов за путаницу и нерасторопность, он завел мотор. Дернувшись и затурчав, блочок потащил тележку между елками. Но водитель вспомнил, что забыл в кустах канистру с бензином. Там же я нашел заодно и косу.

Шикарно развернувшись, агрегат подкатил под куст, и Флор пристроил забытые было вещи на телеге, плотно уперев ручку косы в поясницу рулевому. Для осанки.

В 11.20 мы выехали окончательно и бесповоротно.

Дело-табак

Все-таки техника - великая вещь!

В телеге добра килограммов за двести. Хороши бы мы были, если бы пришлось волочить поклажу на себе! Надо было бы сделать, как минимум, две ходки. До вечера бы лес топтали. А так к обеду освободимся.

Солнце сияет. Небеса изумительной синевы. Синева неправдоподобно чиста. Никогда такую не видел. Идешь себе, посвистываешь, прутиком помахиваешь, пожитки сами едут. Егорыч посмеивается, бородку пощипывает. Передал бразды правления Флору, тот уж очень хотел.

Непуганая птица выпорхнула из-за большого лопуха. Непуганая бабочка села мне на плечо - крупная, как брошь.

Хорошо идет мото-блок. Мотор урчит сыто, ровно. И это продолжается не какие-нибудь две-три минуты, а целых пять! Пять минут мы чувствуем себя беззаботными детьми земного рая. А на шестой Флор с блоком и телегой просто куда-то провалился, словно их и не было. До нас донеслись лишь одиночные выстрелы мотора да флоровы проклятья. Егорыч кинулся на шум, я за ним.

В глубоком овражке Флор боролся с мото-блоком, завалившимся на бок. Блок уткнулся носом в мокрую глину, а сзади его заклинило телегой. Флор дергал рога руля в разные стороны, но движок только огрызался, все туже зарываясь в землю. Флор выбился из сил и бросил руль.

- Воткнулся... - удивился Егорыч. - А я-то думал, он этот овражек и не почувствует.

Мы втроем пытались растолкать мото-блок - он не расталкивался; поставить на ноги - он не вставал. Мы суетились вокруг него, как вокруг севшей на мель барки, - он не желал шевелиться.

- Будем бичевой вытягивать, - решил Егорыч. - Иначе мы тут до ночи прохаживаемся, - и он привязал бичеву к какой-то подходящей железке впереди мото-блока.

Первое приключение мы себе обеспечили.

А все-таки не слабая вещь - бичева!

Цепляй, впрягайся и тащи. Передний бурлак называется "шишкой". Он командует. "Ну, ребята, навались! Сама пойдет, сама пойдет - подернем!"

Напряглись, навалились, дернули... Шиш! Барка по воде, может, и пойдет "сама", а мото-блок из оврага не лезет.

Бичева длинная. Я обмотался, тяну.

- *Ссаривай, ссаривай!* - кричит Егорыч.

Интересно, что значит - *ссаривай*? Откуда я знаю эти бурлацкие словечки?

- Видишь, бичева за куст замоталась? Отпускай ее - *ссаривай*, - кипятится Егорыч.

Слава Богу! Отпустил - *ссарил*... Снова "подернули" - и оторвали.

- Хиловата *шкимушка*, - вздыхает Егорыч, стоя с обрывком бичевы в развороченной глине на дне овражка. - Да... Дело-табак... Знаешь, откуда это пошло?

- От Онассиса? - шучу я.

- Почему?

- Его первое дело состояло в том, что он зафрахтовал сухогруз и перегнал партию дешевого табака из Греции в Аргентину, где и сбыл. Тогда он мог бы сказать: "Мое дело - табак!"

- Онассис тут ни при чем. Это русское выражение, и означает оно, что швах дело. Бурлачки, бывало, тянут кораблик, а берег виляет то влево, то вправо. Где по суху пройдут, а где и по водичке шлепают. А табак в кисете на груди висит. В одном месте вода по колено, в другом по пояс. А когда к самому кисету подступает, то и говорят: "Дело - табак".

- Надо блок от телеги отцепить, так его проще будет вывернуть, - предлагает Флор.

- Чего же ты, милый, до сих пор молчал? Где же ты раньше был? - увещевает юношу Егорыч, кольцами сворачивая бичеву.

Малинэ ты моя, малинэ!

Не прошло и полутора часов, как мы уже выползали из оврага в трехстах метрах от лагеря. На челе у Егорыча залегла первая морщина озабоченности. Если мы столько прокуролесили в овражке, что же будет дальше?

Беспутинские поля, примыкающие к урочищу, мотоблок с натугой, но преодолел, подпрыгивая по пахоте, как блоха, за что и получил наименование *мото-блех*. Мысленно перекрестившись, мы вырулили на лесную тропу. Снова Флор занял место за рулевыми рогами, а мы с Егорычем пошли позади, с наслаждением вспоминая виды полевой России, любоваться которыми на полях не было времени. Впрочем, больше вспоминал я, пребывая в настроении средне-русском, возвышенном, и не представляя, что нас ожидает впереди. А Егорыч погрузился в насущные раздумья и, когда тропа пошла круто вверх, забыл сменить Флора за рулем. В результате возник новый сюжет: мотоблок не справился с подъемом арендаторского хозяйства и заскользил юзом вниз...

Срочно перехватывали руль, глушили и заводили мотор, упирались в борта и выталкивали вес, борясь за каждый сантиметр подъема. Уже наверху тачка засела в залитой водой колдобине.

- Монблан математических трудностей! - воскликнул бы декан Пичугин - юркий пожилой птенец, читавший нам в Менделеевке так называемые "кванты".

- Флор, надо ваги рубить, - сказал Егорыч.

Мы с Флором взяли топор, срубили сухую елку и сделали из нее две ваги (шеста). Отважный музыкант выбрал себе важку поважней, ближе к корню, а мне досталась худосочная макушка. Вагами мы вырвали тачку из колдобины и уселись на поклажу, решив, что заслужили это скромное поощрение. Метров сто мы проехали так, как предполагали ехать весь путь: на мото-блоке. Я не выдержал первым и прыгнул. Идти пешком оказалось куда удобней и ничуть не медленней, чем трястись на ржавых

колесах без шин в телеге, набитой всяким железом, как-то: ведрами, пилами, косами, топорами... Ваги мы пытались прикрепить к повозке, но они соскакивали, и нам пришлось вдобавок тащить эти посохи на себе. Мой был еще туда-сюда, зато флоров тяжелел на глазах. Вначале Флор взял его наперевес, как копье; потом шел, опираясь на богатырскую вагу, подобно святому отшельнику, заброшенному в глухие таежные дебри. Потом он тащил опору за собой, словно кусок рельсы, и, наконец, принял решение, предательское по отношению к мото-блоку: бросил обузу и ушел прочь. Вага осталась на земле, а блокоч лишился упора сзади. Но и тоже хорош! Не мы его оседлали, а он нас. Отовсюду его надо вытаскивать, выталкивать, чуть ли не на руках выносить. Ну, и разведка тоже хороша! На что она ориентировалась?

- Груженная телега не так идет, как пустая, - осознал Егорыч. - И дождь нам сильно подкузьмил. Вчера все сухо было. Ну, ничего, часть пути одолели... То ли еще будет, - неожиданно закончил наш вожатый, и лихорадочные искорки впервые блеснули в его глазах.

Никаких привалов по пути на намечалось, однако остановки и порой длительные стали возникать сами собой. То дорогу перегораживал завал - упавшее дерево (разведка божилась, что вчера его не было; наверное, "ночью упало"); то полные водою ямы, требовавшие объезда, а где объезжать, когда кругом лес? Вот Егорыч и вилял с мото-блоком и телегой между стволов, как слаломист. Но тут на наше счастье пошли долгожданные малинники, точнее, крапивники вперемежку с малиной. Сухая червивая ягода скрасила наше пребывание в рабстве у мото-блока, вселила надежду, что жизнь еще не кончилась, что на вкус она теперь - сущая малина, и что в конце концов нам рано вешать носы. Время всего пятый час, а мы проехали уже полпути!

Мы ели малину, и по штучке, и пригоршнями и прямо с веток, как лоси. Мы радовались этой диковине, словно никогда прежде в таких количествах ее не поедали. А ведь

было же дело! В военных лагерях на Карпатах я угодил в лазарет к полковому фельдшеру с ухватками кавалерийского ветеринара. Я лежал в палате, похожей на амбар после прямого попадания. Крыша текла, окно зияло, одна ножка моей кровати провалилась в щель, а оттуда выглядывала крыса, интересуясь моим самочувствием и удивляясь тому, что ветеринар до сих пор не уморил меня лошадиными дозами аспирина. Но зато, поднявшись на ноги, я вволю насладился лесной малиною, окружавшей лазарет. Я собирал ее в литровую эмалированную кружку, заливал сгущенкой, которую ребята притащили мне из офицерского буфета, и лечился столовыми ложками после еды и натошак, пока не поправился.

Целебные свойства малины проявились и во время нашего переезда в Синеево. Мы воспряли духом. Солнце клонилось к западу, но от малинников невозможно было оторваться.

Заметив, что мы с Флором отстаем, Егорыч глушил мотор и тоже утопал в кустах.

- Малинэ ты моя, малинэ!

Оттого, что я с севера, что ли...

- доносилось из кустов.

Настроение прибавилось настолько, что Флор запел без гитары, всухую:

- Я - металлический всадник

на малиновом плоскогорье,

А ты - мой синий мираж, моя Дульсиня!

Чем ближе я подступаю к тебе,

Тем дальше ты от меня уходишь...

- Хорошо тому живется,

Кого мамка родила,

А меня родил папаша -

Мамка в городе была,

- частил с присвистом Егорыч.

- Я - малиновый всадник на металлическом плоскогорье,

- настаивал Флор, развивая тему.

А ты - мой синий мираж, моя Дульсинея!

Хорошо ли мне без тебя?

Пусть лесные духи ответят на это...

И "лесной дух" отвечивал, шевелясь в крапиве по-соседству:

- Хорошо тому, браток,

У кого один пупок,

А у mine у сироте

Два пупка на животе...

Это открытие завело Егорыча так далеко, что он перестал узнавать знакомые места, а Флор признался, что не узнает их уже давно. Скорей всего мы попали на какую-то развилку и промахнулись.

Плюшевые мишки

Ох, уж эти развилки! Как-то под Самарой на высоком волжском берегу в дубовой роще я напоролся на скромненькую развилочку, которая увела меня к черту на рога и заставила пропетлять часа три. Развилки похожи на рыбы косточки: поперхнуться ими легко, а попробуй вынь!

Частушки в крапивнике оборвались, и Егорыч с чувством выразил свой протест всем тем, кто "как очумелые накинулись на малину", а, заметив, что мы где-то *лажанулись* (от слова *лажа* - обман, подделка, суррогат), "ничего не среагировали, а продолжали, как эти, обжираться малиной!"

Флор принял упрек на свой счет и крепко обиделся. Малину все ели, а обвиняют его...

Между тем вечерело. Мы вполне осознали, что ни о какой "баранине по-козловски" речи уже не идет - давно покрылась серым жиром, замерзнув от ожидания. Речь идет только о том, как нам отсюда выбраться до темноты.

Егорыч обратил внимание собравшихся на гнилой пенёк, поросший зеленым мхом, предложил считать его нашей новой "стартовой колодкой" и, оттолкнувшись от него, двигаться на запад.

Флор пнул пень ногой и упал. А Егорыч проткнул колоду насквозь и страстно вырвал сапог из трухлявых объятий.

Но мото-блоку это место очень понравилось. Никуда отсюда уезжать он не захотел. Он попросту не заводился и все. Проверив наличие горючего, Егорыч радостно захлопотал у канистры, которую так дальновидно прихватил с собой в последний момент. Бензобак был пуст.

- Ну, и здоров же ты, братец, бензин хлебать, - журил водитель кого следует.

- Все растранижил, все пропил проклятый блок-молт! - выразился Флор.

Залив бензин, мы взяли курс на заходящее солнце. Однако для этого нам пришлось прокладывать дорогу через бурелом, как и пророчил Фрол Козлов. Начались поиски объездных путей и пропилы, если объездов не находилось. Хотя непонятно, о каких "объездах" можно говорить, когда дорога неизвестна.

Мы пилили двуручной пилой по очереди здоровенные стволы, повалившиеся поперек нашей "недороги" так, что опилки выхлестывали из-под зубьев обильной струей. Мы старались удержать солнце, не упустить его за горизонт. Мы забыли о том, что с утра ничего не ели и не пили. И после всех мучений вышли, наконец, на совершенно незнакомое место, которое украшал гнилой пень, поросший зеленым мхом.

Егорыч пригляделся и обнаружил в пне дырку от своего сапога. Стало ясно, что эту достопримечательность мы уже однажды осматривали. Какой леший заколдовал нас и снова вывел на "стартовую колоду"?

Флор лег под колеса и сказал, что дальше идти не может. Егорыч заглушил мотор. Я сел верхом на пень, и он мягко подо мной развалился.

- В России без приключений не бывает, - как говорил мой приятель миссионер Хатчинс, вылезая из канализационного люка перед молочной.

Надо было вытягивать мото-блок бичевой из оврага,

вагами заталкивать его на "Монблан", сбиться с пути и застрять в буреломе, а теперь находить в себе силы, чтобы выбраться из леса! И все это вместо того, чтобы тихо сидеть в урочище. Неведомая сила гоняла нас по кругу, как плюшевых мишек. Была такая история в Ленинграде... Там образовалась госартель по пошиву плюшевых мишек. В начале года артельщики получили бесплатный плюш, сшили первую партию урчащих мишек и сдали в магазин "Игрушки". Затем сами выкупили всю партию, получили новый бесплатный плюш и сплавляли его в комиссионный, а в "Игрушки" доставили скупленных ранее зверят, снова их выкупили, а новый плюш опять продали и так далее. То есть артель сшила одну партию мишек на всю жизнь, зарплату получала ежемесячно, плюш ежеквартально, а вся деятельность состояла в том, чтобы, ничего не производя, сдавать и выкупать одних и тех же мишек, а госплюш сбывать через "комки" в качестве премии за находчивость. Тех медвежат гоняли по кругу "артель - "Игрушки" - артель", а нас по кругу "колода - лес - колода".

- Переезд откладывается, переезд отлеживается, - сказал Флор, не поднимаясь из-под колес.

- Хоть бы к Износкам выйти, - помечтал Егорыч, разувшись и разминая натруженные сапогами ноги. Он привстал на носки, оглядываясь вокруг. - А как правильно: не вижу *Износков* или не вижу *из носков*?

- Правильно: не вижу Синеева, - ответил Флор.

- Дульсинеева, - уточнил я.

- Дуля - Синеево! - подытожил Егорыч, должным образом сложив пальцы в кулаке.

Комариная гать

Я не раз замечал, что чем лучше человек ориентируется во времени, тем хуже в пространстве. Одним даны точные "биологические часы", другим надежный внутренний компас. Что касается меня, то я своему внутреннему ком-

пасу не доверяю, слишком часто он меня подводил. Время я могу определять и без часов, а вот сориентироваться в пространстве для меня целое дело. Прожив всю жизнь в Москве, я до сих пор неуверенно чувствую себя в метро, особенно на пересадках. Если бы не указатели, не знаю, как бы я выпутывался из станционных сетей. Однажды я не нашел дом, имея в кармане точный адрес. Если я иду, не обращая внимания на дорогу, то определенно приду не туда. "Сами" ноги меня не выводят, а заводят. Но и обращая внимание на дорогу, я вполне могу промахнуться, как на самарской развилке. Заблудиться в лесу для меня вообще пара пустяков. Как-то вместе с Козловым-отцом и Фролом мы сбились с пути и решили возвращаться назад до тех пор, пока железно не вспомним место, где мы были. Такой приметой стала подернутая ряской лужица. Мы все троим вспомнили, что видели ее. Однако оказалось, что видеть-то мы ее видели, а проходить не проходили, свернули раньше, и пока мы это выясняли, снова и снова возвращаясь к луже, она успела наполовину высохнуть.

Еще один опасный момент - похожесть. Слева лежит упавшая осина и справа лежит точно такая же упавшая осина. Но налево пойдешь - к палатке придешь, а направо пойдешь - в болото вязнешь.

Весной я был на приеме у врача в поликлинике во Фроловом переулке, что у Сретенского бульвара. Я сидел в тесном коридорчике с низкими притоками, ожидая своей очереди. Над дверью в кабинет висел фонарь, а рядом - обыкновенная осветительная лампа. Она не горела, а фонарь вспыхивал, когда можно было входить в кабинет. Рядом со мной листала журнал модная девчонка, не обращавшая на меня ни малейшего внимания. Вскоре она проследовала в кабинет, а ее место заняла молодая женщина, сделавшая мне какое-то занудное замечание. Но когда о последнем в очереди осведомилась пожилая интересная дама, я понял, что дальнейшее ожидание уже не будет для меня томительным.

- Я последний! - с радостью ответил я, и у нас завязалась самая непринужденная беседа.

Это факт, что возраст женщины определяет ее отношение ко мне. Чем он почтенней, тем отношение неравнодушной. Круг моих добрых знакомых - выпускниц дореволюционных русских гимназий - увь, давно истаял, но и в следующем поколении еще встречаются души, способные понять и простить мои трения с инструкциями и упаковкой. Есть что-то неуловимое, что роднит нас. Такое впечатление, что нас связывают какие-то общие воспоминания.

Итак, мы разговорились. Речь, между прочим, зашла о рассказе Бунина "Чистый понедельник". В этот момент свет мигнул, и следующий в очереди - вислоусый господин с толстым портфелем, смахивающий на академического снабженца, ринулся в кабинет. Через открытую им дверь вся очередь увидела роскошно раздевающуюся модницу и залилась краской стыда и гнева. Медсестра захлопнула дверь перед носом господина, а он в коридоре только разводил портфелем:

- Но ведь она мигнула...

Я высказал догадку, что действие бунинского рассказа происходит в доме Перцова, где прошло мое детство - напротив бывшего храма Христа Спасителя.

Сигнал снова вспыхнул. Господин уже с опаской приоткрыл дверь в кабинет и тут же ее затворил. Прием продолжался. Из-за двери слышалось старческое брюзжание:

- Что такое? Никакой выдержки. Какая-то бестактность! Не в состоянии дождаться сигнала.

- Но сигнал был! - ответил через дверь "снабженец".

- Нет, не был! Я сама сигнал даю.

Выяснилось, что моя собеседница хорошо знает дом Перцова и часто там бывала на четвертом этаже в студии художников.

Тем временем девушка вышла, и фонарь загорелся, но... обжегшись на молоке, "снабженец" не решался войти. Фонарь мигал и мигал, пока врачиха не выглянула в коридор, порывисто крикнув:

- Скоро я вас дозовусь?!

Однако как только пациент скрылся в кабинете, снова мигнул огонь.

- Что это за контакты такие? - удивилась моя новая знакомая.

- Да, контакты надо укреплять, - подтвердил я, и свет опять вспыхнул.

И здесь я заметил, что прямо за моим плечом находится выключатель. Слегка поворачиваясь в разговоре, я чуть-чуть его задеваю, и он срабатывает, зажигая лампу по соседству с фонарем. Притолока их загоразживает и виден только вспых. На эти случайные вспыхки очередь и реагирует.

Зная за собой такие способности, я перед переездом в Синеево честно признался, что ориентируюсь плохо, попадаюсь на ложный след и даже невольно сам могу его проложить. Флор тоже на себя не надеялся. Ну, а Егорыч утверждал, что выберется откуда угодно.

Мы очутились на лесосеке. Посредине ее стоял трелевочный трактор, а поодаль на поляне, как в кафе, за складным столиком гонял чай тракторист. По нему было видно, что чай не первый напиток, который он успел сегодня употребить. Скорее чаем тракторист запивал то, что выпил. Наверное, ему нечем было закусить, вот он и запивал вместо того, чтобы закусывать.

- Вы на своей тачанке везете больше, чем я на тракторе, - сказал он, благодушно улыбаясь, налил нам теплого чаю из пластмассовой канистры, а на вопрос, в какую сторону Синеево, приблизительно махнул рукой.

- Вы кто будете-то? Арендаторы? Ну-ну...

Егорыч развернул мото-блок на сто восемьдесят градусов, и переезд возобновился с пущей силой.

Продравшись через чащобу, мы вырулили на просеку и к общей радости миновали очередной вчерашний пропил, но к общему огорчению - последний. Дальше разведка не пошла. Дальше подозрительно чавкало болото.

- Здесь надо делать гать, - заключил Егорыч.

Хорошее слово *гать*! Оно рифмуется с гаммой глаго-

лов, каждый из которых так или иначе участвует в преодолении болота. *До - дошагать, ре - прервать, ми - уминать, фа - фасовать, соль - солгать, ля - лягать, си - сигать* и снова *до - дошагать*. Всех их мы употребили, и все положенные действия проделали. Мы *дошагали* до болота (оно *прервало* наше продвижение); мы стали кидать под колеса палки, полешки, ветки, *уминать* их и *фасовать* - какие куда. Нам пришлось *солгать* самим себе, что настилка гати внесла в нашу жизнь восхитительное разнообразие, которого нам так не хватало весь этот день! Если полешко не лезло под колесо, мы его *лягали*. Мы *сигали*, как зайцы, с кочки на кочку вокруг мото-блока, живя единственной надеждой: сыграв эту глагольную октаву, до Синеева все-таки *дошагать!*

Именно здесь - на болоте - нас впервые за весь переезд по-настоящему атаковали комары, но воевать с ними было одно удовольствие. Калужский лесной комар - тать добрая, сытая, неповоротливая. Летит медленно, без маневров. Усаживается долго. Жало впускает как бы нехотя, по обязанности. Его можно спокойно придавить указательным пальцем. По крайней мере 26 июля.

Иное дело московский городской комар. Это - исчадие ада. Он сух и как бы хил, но лют неимоверно! Чтобы прихлопнуть его в воздухе, надо быть виртуозом и обладать реакцией хоккейного вратаря. Городской комар - конспиратор. Он прячется по щелям до полной темноты. Но зато, когда ты погасишь свет и вознамеришься уснуть, тотчас услышишь тонкое, мерзкое зуденье над самым ухом. Ты можешь надавать себе сколько угодно оплеух, переворачиваясь для этого с одного боку на другой; ты можешь до одурения хлопать себя ладонью по лбу, как бы изображая перед комаром, что тебе непрерывно приходят в голову гениальные идеи - городской "кровопиец" от тебя не отстанет и приклепнуть себя не даст. Мало того, он куда-то сделает на минутку, свистнет своих и приведет за собой еще штук пятнадцать зудящих тварей таких же прожорливых и вертких, как и он. И когда твои уши на-

полнятся заупокойным звонѡм, а дѡнорская доза крови, отданная душегубам, превзойдет всякую допустимую меру, ты не выдержишь, зло и резко отбросишь одеяло, рывком встанешь, зажжешь свет - и что же? Всякое зуденье мгновенно смолкнет. Не сразу ты обнаружишь десяток упившихся тобою тварей, гнусно млеющих на самых неудобных для прихлопыванья местах: на дверной ручке, в углу стены, на потолке...

Однажды я всю ночь сражался с потолочными комарами, размахивая журналом "Знамя", бросая его плашмя на потолок. В ходе битвы светлая обложка с обеих сторон покрылась яркими кумачевыми пятнами, а их зеркальные отражения разукрасили побелку. "Битва на потолке" завершилась только к рассвету. Мое "Знамя" было истрепано и все в крови. С потолка едва ли не капало. Я был напроць измотан и обескровлен, но и враг бежал... До следующей ночи. А следующей ночью я изменил тактику боя и ввел в действие мощную современную бытовую технику в лице пылесоса "Тайфун". Он засосал по строгому счету двести пятьдесят семь боевых комаров и спас меня от бессонной ночи. Интересно, что "Тайфун", ревуший, как реактивный истребитель на взлете, совсем не пугал комаров. Они его не слышали и спокойно дожидались, пока полный хобот пылесоса втянет их со страшной силой в пыльный мешок. Отсюда я сделал вывод, что городской комар, по счастью, глух и на звуки не реагирует. Его глухота - единственный изъян, позволяющий победить кровососа. В его присутствии можно трубить хоть в иерихонские трубы, важно только трубить в себя. Звуков комар не слышит и самых зычных, а колебания воздуха различает и самые тонкие. Если трубить "из себя", то звуковая волна его просто смоеет, а если "в себя", то поглотит. Нет, по сравнению с городским комаром комар лесной, болотный - воплощение кротости. С ним можно жить, строить гати, переезжать.

Уже в сумерках мы протащили мото-блок через болото. Гать забрала у нас последние силы. Флора охватила

полная апатия. Он еле волокся за мото-блоком, опираясь грудью на борт телеги. Он готов был заночевать хоть в ней, хоть под ней - хоть где, лишь бы никуда больше не двигаться. И тогда к нам подоспело неожиданное подкрепление.

Фрол произвел фурор

Отдохнувший за день и, наверно, сытно пообедавший бараниной с пескарями Фрол Козлов Младший источал энергию и оптимизм. Он с отцом услышал стрекот мото-блока, и Козлов Старший командировал сына нам в помощь. Навалившись на телегу сзади, Фрол так подпер ею мото-блок, что тот невольно прибавил обороты. Фрол шумел, шутил, трещал без умолку. Он о нас так соскучился! Мы скупно отвечали ему, кисло улыбались, но никак не могли разделить его энтузиазма, а бодрое сообщение о том, что до палатки осталось всего метров пятьсот, повергло нас в ужас. Остатка наших сил не хватило бы и на пятьдесят.

- Тут одна переправка осталась, - успокаивал нас Фрол.

- Какая переправка?..

- Через речку... А батя на обед супу наварил - как раз сейчас закипает!

- Не поздновате ли? - спросил Егорыч.

- Самый раз. Точно к вашему приезду подгадал. Я с утра пескарей наловил! Мы их в сметане зажарили. Правда, уже съели.

- Что ж ты, рожа, пропилы не сделал? - вяло поинтересовался Флор.

- А вы куда заехали, чурки? Мы вас совсем не оттуда ждали!

Тем не менее весть о том, что обед почти готов и, следовательно, не успел остыть, добавила нам капельку сил. Мото-блок, переваливаясь, въехал в безсбидную на вид речушку и застрял в камнях посредине течения. Фроло-

вым напором и отчаянными рулевыми пассажирами Егорыча мы выбрались на берег, больше всего опасаясь, что Флор упадет и утонет. Глубина речки (немного выше щиколоток) не могла служить ему в этом помехой. Однако Флор мужественно удержался на ногах. А вот телегу уже на берегу капитально заклинило в залитой дождем рытвине. И тогда Егорыч принял единственно правильное решение: оставить все как есть до утра, а самим с частью груза идти к палатке.

- А мото-блок за ночь не упрут? - встревожился Фрол.

- Его же с места не сдвинешь, - откуда-то издали отозвался Козлов Средний.

- Это ты не сдвинешь.

- Заведут мотор - мы услышим, - сказал Егорыч...

Пока гуськом с рюкзаками в темноте под луной мы шли сквозь траву, способную скрыть и малинового всадника и металлического, я предложил Фролу свежее испеченную скороговорку:

Фрол произвел фурор.

Флор произвел фурор.

Оба - и Фрол и Флор -

Произвели фурор.

Младший брат от скороговорки уклонился, сославшись на то, что у них Флор гуманитарий. Но гуманитария язык повиноваться отказался.

Пир .

К полуночи мы дотащились до палатки Козловых. Руки-ноги у нас тряслись, и мы просто рухнули у костра.

Козлов Старший приветствовал переехавших победным стуком поварежки о котелки, висевшие над огнем. Они аппетитно булькали, мешая собственный пар с дымом костра, окуривавшим старину Козлова.

- Как раз к обеду, как и планировали... - отметил Егорыч.

- Бать, а бать, что сготовил? - спросил Флор, безуспешно пытаясь перейти из лежачего положения в сидячее.

- Перловую кашу-суп! - воскликнул отец, воздев палец к ночным небесам. - Перл творенья!

- Опять перло... - вздохнул Флор.

- Ты что?! - удивился брат. - Это же из супного пакетика с петухом плюс пакет "Московская кашка"!

- А не хочет - пожалуйста, пусть не ест. Здесь не ресторации! - поставил отец мат Флору.

- Мы устали, - объяснил я кратко.

- А я все понимаю, - согласился Старший Козлов. - Вижу, что устали. Тем более, когда устали, не выбирают, а молотят все подчистую! Без разбору!

Я взял горячую миску, полную густого супа-каши; сидя на бревнышке у огня, поставил миску на колени и потянулся за бутылкой соевого масла - налить на черный хлеб. Главное, я боялся пролить масло мимо куска. Масла я не пролил. Я опрокинул миску. Всю. Себе на колени.

Ой, ты, гой еси, Переезд Синеевич,

И достался же ты нам, свет наш батюшка!..

Дмитрий Галковский и Владимир Соловьев

Имя Д. Галковского мы слышали не раз. "Вы читали?" – спрашивали умные, критичные, с дистанции взирающие на происходящее вокруг ребята. "Достать бы..." А иные добавляли, что мыслитель – розановской школы. Но нам приходилось в ответ лишь разводять руками. Смущение наше понятно: много ли сейчас общепризнанных величин? А эта к тому же – из школы Одинокова, у которого не только не было, но, казалось нам, и быть не могло учеников и последователей... Впрочем, и вопросы, и ответы такие уже в прошлом: публикуется он весьма активно.

Мы не о Соловьеве, конечно. Что Соловьев? Ну, философ, ну, великий. Лежит себе на лотках. Не "Ангелика", но все равно: кто-нибудь да купит. А может, и откроет. Словом, вопрос "читали ли Вы Соловьева?" устарел: отменили его перестройки-революции, отнесли в идиллическое, застойно-неторопливое "позавчера".

К добру ли это? Попытаемся оправдаться за антидемократический вопрос, напомним "набоковский взрыв", не производший в действительности и сотрясения воздуха. Издание сразу едва ли не десятка книг великого автора не изменило ровно ничего, контингент читателей и поклонников остался прежним.

Но мы отклонились от темы, вернемся к ней. Могильная перестройка, многолетнее поэтапное разрешительство опустошили, на корню выпотрошили наступившую наконец свободу. И единственно важно: что же мы получили, в конце концов, кроме репринтов? Что *реально* хотят люди достать и прочесть, каковы, выражаясь в высокопарном для конца тысячелетия стиле, сегодняшние властители дум?

Эти-то вопросы и заставляют нас, осилив очередную статью Д. Галковского, взяться за перо. Опубликована она в журнале "Логос" (Москва, 1991, вып. I), рассчитана, как мы сейчас увидим, на людей, прежде с автором не сталкивавшихся. Примем это в качестве вполне резонного "правила

игры": в атомарности и раздробленности нашей для многих и вправду публикация окажется первой. Вот из преамбулы к статье:

"Ниже мы публикуем отрывок из книги Д. Е. Галковского "Бесконечный тупик". "Бесконечный тупик" закончен автором в 1988 году и состоит из трех частей: небольшого выступления ("Закругленный мир"); второй части (собственно "Бесконечный тупик"), объемом в 100 страниц, и 1000-страничных "Примечаний", образующих третью, основную часть. Публикуемый отрывок представляет собой примечание № 403.

Следует учитывать, что произведение Галковского весьма сложно по своей структуре и жанру, и поэтому наша публикация дает, конечно, весьма поверхностное и одностороннее представление об авторском замысле. Мы считаем нужным заметить, что в общем контексте "Бесконечного тупика" антисоловьевские "филиппики" в значительной степени пародийны и к тому же ведутся от лица не собственно автора, а некоего литературного персонажа – "Одинокова".

Не только соображения объективности стали для нас доводом в пользу перепечатки незаурядной преамбулы. Деяние еще не совершено – а какая перед нами продуманная, всесторонняя защитительная речь! Нас убеждают, что наше представление будет весьма поверхностным (в том, что окажется оно в итоге знакомства с примечанием № 403 весьма скверным, публикаторы, похоже, не сомневаются). Далее, назидает журнал, учтите: перед вами – пародия, ирония. А если вам она не понравится, все равно автор не виноват: это не он острит, это персонаж острит.

Однако универсальность броневой аргументации как раз и сообщает ей легкий оттенок нелогичности. (Вспоминается купринское: "Во-первых, я не пью, во-вторых, еще рано, в-третьих, я уже выпил".) Представление (пусть не более того) мы, доверяясь журналу, надеемся все-таки получить: иначе – какой же в публикации и смысл? Жанр сатиры трудно назвать новым в русской литературе; но, наверно, никогда не прибывали к ней столь чужуно: "Осторожно! Юмор!" То ли публикаторы рассчитывают на какого-то нового, небывалого доселе читателя (стоит ли на такого изысканную иронию переводить?), то ли наоборот: цирк нам намерены предложить новаторский, непринятую прежде в обществе мутацию юмора. А насчет "Одинокова"... Если перед нами полифония – мы, наверно, это и сами заметим, если однородный текст – тоже. В последнем случае не все ли равно: "паспортной фамилией" он

подписан или "персонажем" (играющим роль просто авторского псевдонима).

Но главное сделано. Не знаем, как уж там пойдет в бедной экономике нашей, а в философии-литературе с рынком о'кей: после этакой рекламы – как товар не развернуть?

Впрочем, кто старомодно считает, что философ философией своей и интересен, может не разворачивать. Прилежно выпишем из эссе всё, что изречено в нем о творчестве мыслителя.

"...удивительная для отечественных условий способность к упорядоченному мышлению (...) Я не нашел во всей философии Соловьева ни одного чудачества. Все очень разумно, очень понятно. Ни одного "заскока" (...) Женственный истеризм и предательство русской мысли..."

Итак, отмечены как достоинства, так и недостатки произведений некоего В. С. Соловьева. Без излишних аргументов и доказательств. Не беда, равно как и другое: отрицательные черты буржуазного философа с наличествующими у него же положительными не вполне между собою в ладах. Как же это себе вообразить: упорядоченное мышление в форме женственного истеризма (либо наоборот)?

Перед нами классический уровень "соискателя степени" четвертьвековой давности. Растянуть на несколько сот страниц, "причесать" нагловатый стиль, найти подходящего оппонента – и прибавка к зарплате в кармане.

Однако новые времена – новые и карьеры. Благоразумно уклонившись от обсуждения всяких эсхатологий-апокалипсисов, Галковский приступает к более интригующей теме: *личности* Соловьева.

Мы отнюдь не утверждаем, что Галковский вообще не читал Соловьева: данных в пользу этой гипотезы (равно как и противоположной) в эссе нет. Зато свидетельствуем: мемуары о мыслителе он проштудировал. И со смаком рецензирует "разрозненные и довольно вымученные воспоминания некоторых современников".

"Вот Е. Трубецкой с дрожью в голосе описывает житие своего учителя: "(...) людям, близко его знавшим, случилось видеть у него совершенно неожиданные, казалось бы ничем не вызванные слезы (...) их можно было наблюдать сравнительно редко" (...) реприза со слезами гениальна: взрослый, солидный человек, и вдруг слезы. По щекам в три ручья. Что может быть сильнее, оригинальнее и ярче. Зритель уже оглушен, уже захвачен аурой мгновенно ставшего родным шарлатана".

Можно было бы напомнить о *даре слезном* – одном из сокровеннейших понятий восточного христианства... Но в дан-

ном контексте – нельзя. Нахрапистое хамство Галковского – не только отражение интимных душевных глубин современного интеллектуала. Это, безусловно, еще и прием: нам сразу и решительно навязывается *уровень* обсуждения. Тот, который для автора нашего – родной, а человек он не бездарный... ну, вот уже и веки на не столь тернистом пути к славе, с почтительного упоминания о коей мы и начали статью.

Есть, однако, вещи, при любом обсуждении желательные, – что в гостиной, что в лакейской. Простая логика, например. Трубецкой пишет о *редких* слезах Соловьева, видели их *близко знавшие* философа люди. Так причем же здесь гениальная реприза, оглушение зрителя?

Но не логика главное, когда подаешь себя публике. Не так уж он прост, наш Галковский...

"Как и все истерические психопаты, он всегда был ориентирован на потребление себя другими (...) в облике Соловьева, кажется, было что-то ненормальное, а именно гнусно-ненормальное, извращенное (...) Как представишь себе яркие, будто окрашенные губы Соловьева и этот неожиданно тонкий и в то же время громкий смех... Этот захлебывающийся гомосексуальный визг пьяной кокотки..."

Безвкусное плебейство пляшет и скачет, с нарочитым, подчеркнутым громом и звоном. А зритель, ошарашенный количеством и качеством с расчетливой старательностью вылитых помоев, растерянно чешет в затылке. "Может, я чего не понимаю... Может, это прием такой..."

Прием. И стоит сказать несколько слов о генеалогии Галковского. Повторим еще раз: человек перед нами не бездарный, трудоспособный (не всякий в силах посвятить "себе любимому" больше тыщи страниц!).

Прежде всего откинем "гипотезу Розанова". Происхождение ее крайне простое: Розановым Галковский клянется, божится, к месту и не к месту, едва не на каждой странице. Вот профессионально сбитою с ног зрителю и проясняется: "Ага... Розанов, значит..."

Да нет. Ни при чем тут Василий Васильевич. Писал он, что чувствовал, что Бог на сердце положит, ничему, кроме русской литературы, на верность не присягал. Ни взглядам (пусть и собственным, но вчерашним), ни, тем более, общественному вкусу. "Мысли бывают разные", – объяснил он праведно негодующим критикам.

Ну, вот видите: *Мысли. Разные*. Да еще и *прочувствованные* к тому же. Ясно, что к расчетливо кривляющемуся в тупике Галковскому все это отношения не имеет.

Генеалогия его другая: Синявский. Тоже талант, тоже стилист. Набросились все на "Россию-суку", на наиболее вызы-

вающие фразы из "Прогулок с Пушкиным". Фразы при этом часто выдирались из контекста, и получали критики отповедь на уровне "сам дурак". И, конечно же, всю эту прибыльную комедию легче легкого было просчитать заранее.

Но вот взялся за дело А. И. Солженицын, написал "Колеблет твой треножник..." Проанализировал нашумевшую работу всерьез, отдал ходам Андрея Донатовича должное. И оказалось: под внешним, эпатажным слоем скрывается второй. Более тонкий, но по сути своей от первого ничем не отличающийся. "Прогулки..." так и остались "Прогулками хама..." – хоть и более изысканного, чем он ловко прикинулся перед незадачливыми оппонентами своими.

Вернемся, однако, к Галковскому. Здравое рассудив, что виртуозная ругань в химически чистом виде читателя все же разочарует, он приступил к обследованию нижнего белья философа. Начинает он с белья младенческого, работает добросовестно, прилежно, с явным к этому делу вкусом. А поскольку ангельски белых одежд у смертных не бывает, труд Галковского приносит запланированные плоды. В особый восторг приводит его такой эпизод: задумав попасть на фронт, Соловьев меняет решение и с дороги возвращается в Москву. В "вымученных воспоминаниях современников" указывается на загадки, связанные с этим периодом жизни философа. Да полноте. Что за старомодность! Жареное само в рот лезет – какие тут загадки могут быть?!

"Так примитивно, позорно, глупо струсить, убежать 25-летнему мужчине. И даже не с поля боя, а так, услышав два-три рассказа очевидцев (...) "Алеша Карамазов" "сделал ноги", да так, что его только через полтора месяца нашли (...) А ведь Соловьев-то получается это... как его... предатель Родины".

Про рассказы очевидцев – это уж у нашего гособвинителя просто "от фонаря". И правильно, все в лучших традициях: чего с ними, врагами, церемониться?

Только зря Галковский, нащупав столь плодотворную жилу, останавливается на полпути. .

"...св. Антоний сказал ученикам: сей час пал тот юный подвижник. Пойдите, посмотрите. Они пошли и увидели его сидящим на рогоже и оплакивающим сделанный грех".

А ведь подвижник-то получается это... как его... онанист.

Можно и похлеще, метод эффективный.

"Тогда, оставивши Его, все бежали".

Во, ребята. Гляди. Эти-то... апостолы... Христа предали.

Но нет, наш "Розанов" отменно знает край. Заведись он на христианство – и "методика" его мгновенно разоблачила бы себя: даже и не могущие логически возразить люди отвернулись бы, почувствовали бездуховность и фальшь.

Свои реальные скромные замыслы Галковский формулирует четко.

"...цель... в дискредитации всей русской культуры, в универсуме которой такие люди, как Соловьев, становятся гениями. Или задача в изменении этого универсума (объективно – своего положения в нем)..."

Вот так, и уж тут никаких "слоев" искать не приходится. Цели ясны, задачи определены. "Универсум", представителем которого Галковский является, он оценивает вполне трезво. Хлестаков, конечно; но уже не гоголевский, а современный: наперед знающий, как встретит его весь наш уездный город.

На этом можно бы и закончить. Но пожертвуем напрашивающейся стилистической завершенностью: законспирированный гений неосмотрительно сообщил о себе пару подробностей, небезынтересных для заочных его поклонников.

"Мочульский приоткрывает завесу над уровнем подготовки будущего великого философа: "На лекции он ходил редко и связи со студентами не поддерживал". "Соловьев как студент не существовал, – вспоминал впоследствии его сокурсник Н. И. Кареев, – и товарищей по университету у него не было".

Теперь и ясно, откуда все беды соловьевские проистекали. По-другому надо было жить и трудиться: лекции конспектировать, коллектива не чураться. Тогда, может, и вправду до философа дорос бы.

Жалко автора. Старался, из кожи вон лез. На гнев всенародный напрашивался. А она взяла и выглянула: физиономия прирожденного зубрилы, унылая психология первого ученика.

Но психология такая в добропорядочном классе у дюжины "хорошистов", а в отличники выбиваются все-таки не все.

Галковский дважды цитирует "Горе от ума". Оба раза с ошибками. Грубыми: одна искажает рифму, другая размер.

Нет, вправду, пора заканчивать: мельчаем. Начали-то как блистательно, с проблемы: "Дмитрий Галковский и русская философия". А докатились до невежливого вопроса: "Вас с каким аттестатом из неполной средней вытурили?"

Скучно обо всем этом писать. Нет, не риторический прием, действительно – противно...

Но что же делать? Ведь мы и вправду в темном, угрюмом, сыром тупике, только в нем и возможны фантазмагорические эти, безнаказанно-доходные пляски. Постараемся хоть, чтобы не стал тупик и впрямь бесконечным...

Валерий Сендеров

Реальность вымысла

В 1989 году, совсем еще недавно, на заре пьянящего свободного книгопечатания, Александр Лаврин был составителем альманаха "Зеркало", куда вошли все заметные представители "другой" литературы от Ерофеевых до Эпштейна, авторы располагались в алфавитном порядке. Там же был помещен рассказ и самого составителя "Смерть Егора Ильича", который не затерялся среди других произведений более популярных имен, и будучи вполне в русле художественного настроения альманаха, необъяснимо выделялся классичностью стиля, что ли, достоинством неторопливого сочинительства. Переведенный с тех пор на ряд европейских языков, он вновь напечатан в книге, только что изданной*, куда вошел вместе с повестью "Яма" и еще тремя рассказами.

Само название рассказа моментально заставляет вспомнить Льва Толстого, есть и еще один отсыл к классике – Чеховский "Многоуважаемый Шкап!" – дело в том, что Егор Ильич – не человек, а старинный книжный шкаф, получивший свое имя от дела жены повествователя, имевшего причуду давать вещам имена. Книжный шкаф – Егор Ильич – последний из славной когорты добротной, с душой построенной мебели, увы, погибшей в кострах дворовых свалок и замененной дурашливыми тонконогими близнецами, второпях слеplенных из опилок.

Но вот однажды Егор Ильич, столько прослуживший на ниве семейного просвещения, по-стариковски заскрипел, вызвав отчаянье в душе своего нового владельца, для которого он уже давно был одушевленным членом семьи. Борьба за его жизнь, его смерть, его похороны и связанные с ней неурядицы, возникающие не только с Егором Ильичом, но и с любым "человечным человеком", и составляют сюжет рассказа. И дело не в сюжете, по которому к шкафу надо обязательно вызывать старого проверенного доктора, а не надеяться на беспомощную "скорую" или хоронить, во внезапном чистолюбивом порыве, непременно на Новодевичьем кладбище в качестве гроба отставного гебешного полковника, от которого шкаф в года крутые спасал людей, а в том, что: "Поднял я голову, а Егор Ильич стоит грустный-грустный и словно читает мои мысли. И чувствую я – переживает он больше

* Александр Лаврин. "Люди, звери и ангелы. Проза жизни". М., "Московский рабочий, 1992.

моего. Вот, дескать, сколько тебе хлопот со мной – другой хозяин давно бы разобрал и сдал в дом престарелых, а ты все возишься со мной, мучаешься, защищаешь... Не-ет, покачал я в ответ головой, ты для меня не просто шкаф по имени Егор Ильич – ты для меня живая память. О тех память, кто вызвал тебя к жизни, кто фуговал твои полки, полировал бока, кто хранил в тебе мудрость мудрых и глупость глупых – книги, кто в горе и радости отражался в стеклах твоих. Ты для меня надежда, что и я не буду забыт, когда придет мой последний час...”

Рассказ написан уже после знаменитого письма в “Советскую Россию”, так напугавшего в свое время бесстрашную нашу интеллигенцию, на это указывает эпизод, когда сосед повествователя, отставной полковник, под вечер врывается в квартиру, размахивая газетой и приговаривая – “Давно бы так! Дождались! Хоть кто-то о принципах заговорил!”

Принципы действительно важная вещь и поступаться или подтрунивать над ними не следует – дело в том, какие у кого принципы. А они у соседа из ведомства, столь часто менявшего свою аббревиатуру, что он сам путается (“Когда я служил в ИКЛМН... нет, когда я служил в ОПРСТ... нет, мы тогда назывались ЭЮЯ при АБВ”, сейчас они уже опять под новой вывеской, что-то совсем невразумительное – РЙЫЬ), отличаются от принципов потомственного интеллигента. Должны отличаться. Но отличаются ли?

Свыше 70 лет принципы полковника были государственной политикой, утверждались законами, вдалбливались Агитпропом с младых ногтей. Ну, что в самом деле дернуло повествователя так стараться хоронить Егора Ильича на полуправительственном кладбище? Или жить, как мышь: шмыг на работу, шмыг обратно. Не отвечать на лживые сплетни и уже в эпоху гласности бояться, что того и гляди – “как закроют вентиль или, пуще того, откроют на всю катушку, – хлынет поток, подхватит тебя, унесет с миллионами копошащихся, переплетающихся тел в каменное лоно канала имени Москвы...”

Все тот же страх, который правил и жертвами, и палачами, заставлял совершать предательства, отказываться от отцов, веры, памяти...

И этот отказ есть не что иное, как наше российское пренебрежение к отдельно взятому человеку, которое не с советской властью пришло, а может, благодаря ему вековечному, и пришла и удержалась эта власть и удерживается поныне, только букочки поменяла. Хорошо еще, что повествователь вовремя одумался, когда комья земли застучали по Егору

Ильичу с трупом полковника внутри. Понял он, физической болью ощутил, что не в шкаф запрятал он соседа, а в нем самом сидит этот полковник со всеми своими принципами и надо избавляться от него, пока окончательно не поздно. И вытащив свой шкаф из уже полузасыпанной могилы, везет он его на тихий деревенский погост в Звонницах.

Мотив, конечно, из Евгения Шварца с Драконом внутри себя, но что тут один мотив, когда Лаврин отважно идет на целое "лирическое отступление", полемизируя с неизбывной птицей-тройкой Николая Васильевича, прося ее приумерить свой бег, не зная куда, и оборотить лицо к несчастным птенцам своим.

Реминисценции из классики органично вписываются в художественную ткань сочинений Лаврина, не раздражают и не смешат, как это случается у эпигонов всех стилей, а добавляют как бы профессорский лоск талантливому студенту.

Повесть "Яма" ничего общего не имеет с произведением Александра Куприна, она скорее заставляет вспомнить деревенщиков семидесятых.

Лежит на своей печи в деревне Карачарово Леха Жихарев и перед зашедшими попить кваску странствующими фольклористами от скуки инвалида детства изображает, воскрешая светлый образ Ильи Муромца. На самом же деле Леха, по-шукшински выражаясь, деревенский чудик или философский самородок.

Был он сначала мужик как мужик и даже на местной красавице женился, хотя не очень-то и хотела она за него выходить, но уломал. Как все мужики в леспромхозе работал, да на карьере, плотничал-столярничал по дому. А потом нашло что-то на него – "остановится среди комнаты и глаза вроде как внутрь себя повернет". И не пьет, что главное, и молчит все время, даже когда жена вопросы ему задает. Бросил все, на Север на год сорвался охотиться, много денег привез, мехов своей Дарье, обстановку в дом купил. Все от зависти лопнули. А сейчас и сибирская охота не в радость. Постоянной работы нет, раз в год на шабашку недалеко уедет – элеватор строить, тыщу привезет и все. Месяц работает, год на печи лежит. И денег нет. Из тысячи он сразу пятьсот за долги отдаст, матери пошлет, сестре, а остальное меж пальцев проплывет и нет ни копейки. Вот жена круглый год и горбится, Леху кормит. Уж теперь вся деревня насмехается – неслა кобыла жеребца да и сдохла. И что делать с таким мужиком, Дарья не знает, да и участковый милиционер тоже..

Присоветовал Дарье старший фольклорист, во-первых, купить или сшить красное платье из бархата или атласа,

чтобы горело на ней, во-вторых, попросить Леху или крышу переложить, или погреб вырыть. Сшила себе Дарье платье, а поскольку крыша и погреб, как и вообще дом, содержался Лехой в полном порядке, развалила она крепкий погреб, чуть, правда, не убилась ломаючи, но правдоподобней вышло. Начал Леха рыть новый погреб в сарае. Роет он его роет, дело привычное, только скапливается в вырытой яме какая-то непонятная вода – не вода, а жидкость красного цвета. Он и насосом ее откачивал – не убывает, а к утру полная яма. Решил он ее, жидкость эту странную, к своему школьному учителю отнести на анализ...

Строго говоря, все мы русские – философы и подходим к своим проблемам с философских позиций, даже не зная, по своей философской необразованности, к каким течениям принадлежим. Вот сосед и товарищ Лехи Коля-Доля со своей заботой, чем крыть крышу – шифером или дюралю? Шифером задешево можно обойтись, но потом лет через двадцать опять перекрывать, а дюраль вещь, хоть и дорогая, а вечная. Но обидно Коле, что вот, положим, завтра "разомнет его грузовик, как картошку", он уже сгниет в земле, а крыша все будет стоять как новенькая, какая-то железка, а его переживет.

"Пока живу, до туда все и есть. А помру я – весь мир во мне будет гнить..." Такая распространенная, к сожалению, философия – лишь бы на мой век хватило, а там хоть трава не расти. И не растет уже на бескрайних просторах.

Леха столбенеет от более глобальных вопросов: вот у всех одно на уме – работа да деньги. А зачем вообще работа нужна, если не знаешь конечной цели. Кто мы на земле? Куда идем? Зачем живем? Для того, что ли, чтобы быть обутом, одетым, сытым, – думает Леха, – ну, не сейчас, а через сто лет, в светлом будущем. Но что они там со своим изобилием делать будут?

Россия всегда, к сожалению, была бедной, отсталой страной, даже в те благословенные годы, о которых сейчас вспоминают в фильме "Россия, которую мы потеряли". Для русского человека как-то всегда – "быть обутом, одетым, сытым" – не было связано с сегодняшним днем и он как-то больше уповал на "Не хлебом единым..." или "Пусть хоть наши дети будут жить лучше нас". Но дети вырастали и внуки, но мало что менялось к лучшему. И даже сейчас, когда нынешнее правительство превратило всех в нищих, надеясь разбудить и увлечь народ идеей повышения благосостояния, все более полного удовлетворения растущих потребностей, через обещанное приобщение к собственности. Что-то не боль-

но мы шевелимся спросонья. Да, собственно, и сама идея зажиточной жизни как-то не привлекала людей, придумавших поговорку: "Трудом праведным не наживешь палат каменных". Конечно, хорошо жить хорошо, но что-то уж делать для этого самоотверженно, да еще по своей инициативе, как-то не очень сподручно. Тут Леха не прав, далеко не все думают о работе и о деньгах, больше подходят Колины воззрения – на мой век хватит. Трудно, конечно, с такой нашей особенностью. Всегда, обязательно себе во вред, мы ищем свой особый путь, вместо того чтобы мирно жить-поживать да добра наживать.

Ох, зачем жить? Не жили хорошо и нечего привыкать! Себе дороже...

Зачем так живем?

Не нашего ума это дело, – говорят Лехе. – Бог знает.

Но если Бог это право на знание сам взял и над равным ему Лехой Жихаревым возвысился – то Бог этот самозванец, а будь он настоящим Богом, он бы Леху на свое место поставил, а сам бы пришел на его...

Такие раздумья занимают Жихарева, а между тем учитель, проведя анализ красной жидкости, заявляет ему, что это кровь.

И завязывается эта история с появлением крови в яме – настоящей историей, которую Лехин учитель ненавидит и гадиной называет, потому что она – "все, что умерло, яма, провал. И копать в этой яме – все равно, что мертвецов выкапывать".

И сюжет, начатый вопросом – Кто мы на этой земле? – продолжается смертью полюбившейся девушки, погоней за ее убийцей, бандитом-рецидивистом, его же случайной гибелью, поисками правды и желанием сказать людям, что хватит, уже пропитана земля наша кровью достаточно, уже не принимает ее и назад отторгает... Но арест, посадка в психушку, побег. И даже старуха-знахарка не верит ему и не дает ответа на его вопрос. Понимает Леха, что не суждено ему ничего понять в его земном пребывании.

Крови в нашей истории, и древней и новейшей, было достаточно и в борьбе с внешними врагами, и особенно между собой. Другие народы тоже не вегетарианцы, вспомним наугад, Францию времен революции, но они как-то умеряли свой пыл и выясняли отношения с меньшим ожесточением. Мы же не знаем удержу и, главное, находимся постоянно в ожидании новых кровопролитий. В нашей истории всегда личность подавлялась во имя Державы, которая за свою державность (от слова – держать) боролась кровавыми методами. Но когда

дело касалось внешних врагов, Держава оказывалась несостоятельной. И народ спасал свою Державу, чтобы она после победы вместо ожидаемого "послабления" (войны 12 года, 41-45) начинала опять свой цикл насилия над народом. Удивительно, что при такой бедной и придавленной жизни наш народ, вернее, часть его духовных вождей пронесли через всю историю стремление-мечту, что именно только русский народ осуществит великую неэгоистическую идею, непременно мессианского характера. Это как-то и по-человечески не скромно, называть себя "народом-богоносцем", тем более все время уповать на будущее. В прошлом и в настоящем мы что-то никаких мессианских идей остальным народам не несли, кроме как идеи построения коммунизма, но стремление остается. Даже сейчас, когда президент Великой страны побирается по миру, мы все ждем небывалого возрождения Родины, а может быть, и спасения всего человечества.

Вот и Лаврин написал рассказ под названием "Трещина мира". Герой его режиссер Макаров, этаким симпатичный, глубоко ранимый, талантливый увалень, поэтому, естественно, не дурак выпить, облениться и так и не снять свой главный фильм – о Вечной Правде. Макаров верит, что одним этим фильмом может изменить весь этот грешный мир. Родная мессианская идея, художник Иванов своей картиной "Явление Христа народу" тоже думал изменить людей, на этом скончался Гоголь... но не будем вспоминать гениев.

Сюжет макаровского сценария таков: студент встречается на базе стройматериалов рыжебородого человека, покупающего 200 мешков цемента, заинтересовавшись, он соглашается погрузить-разгрузить эти мешки, и попадает в дом этого человека, где и остается пораженный красотой его дочери. На огромном участке, обнесенном двухметровым бетонным забором с колючей проволокой и прожекторами, находится старинная усадьба. От дома дорожка ведет к небольшой скале, в которой есть пещера, вход закрывают высоченные железные ворота. Однажды хозяин, почувствовав себя плохо и испугавшись, что может умереть, доверяет ему свою тайну. Оказывается, в этой пещере на большой глубине находится провал в земной коре. Эта трещина влияет на мировые события, и если ее время от времени не цементировать, то она расползается и в мире происходят глобальные несчастья. Несколько поколений из рода хозяина укрепляют эту трещину. Все они боялись обратиться к государству, страшась, что тайна попадет в нечестные руки властолюбца или маньяка, который вместо укрепления начнет ее расширять, добавляя в мир зло.

После смерти хозяина студент становится хранителем трещины, получив также в наследство дочь, усадьбу и деньги на покупку цемента. Но возлюбленная увлечена балетом и хочет уехать в столицу. И тогда он, опасаясь за тайну, вынужден убить ее, сбрасывая в эту самую трещину.

Вот такая получилась аллегория, с помощью которой Макаров показывал глупое устройство мира, когда добро вынужденно защищаться злом.

Это и есть сугубо наше понимание спасения мира, обязательно, всего, за счет собственной гибели или утраты самого дорогого.

Как тут не вспомнить, действительно сбывшееся пророчество Чаадаева о том, что Россия на своем опыте покажет путь, по которому не следует идти, и этим спасет мир.

У Льва Толстого в дневнике есть такая запись: "Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что им случалось наблюдать в жизни".

Цитировать классиков дело неблагодарное, мало ли что они высказали под мимолетность настроения. Писательство как род занятия, конечно же, не убудет и оно никогда не замкнется на жанрах мемуаров и очерков, которым, собственно, Толстой и оставляет жизнь. Художественные произведения будут выдумываться, то есть сочиняться, но уже, наверное, навсегда исчезнет тот род "выдумывания", который входил в составную часть социалистического реализма — показывать жизнь не такой, какая она есть, а какой она должна быть по прихоти вождей.

Другая литература и родилась как прямое отрицание практики официальной писать только на наградных листах. Другие озорно брали темы жизни, входящие в список неприкасаемых. Отдал должное этому и Лаврин в рассказе "Вечерний звон" (не без влияния Евгения Попова), но более присуще автору создание магической реальности, погружение прозы жизни в атмосферу фантасмагории и гиперболы, вспоминая в процессе сочинительства наследие Гоголя и Булгакова.

Тираж 30 тыс. может огорчить и автора, и читателя, но будем надеяться, что создаваемый книжный рынок со временем хотя бы сравняет тиражи художественного сочинительства с эротико-детективными вымыслами, а опыт успеха первой книги повысит ценность новых произведений.

Евгений Крохмаль

"Правда" и искренность

"Длинная кожанка, шарф через плечо, огненная бородаща, поморский сын был издали похож на не очень-то советского субъекта. А ведь когда впервые появился в "Русофото", черносотенцы, разные там Фряскины, Чербикины, Шелептины пришли в восторг – наш, наш! Нашему полку прибыло, придется жидам потесниться перед глубинным русским гением. Невдомек было мужепесам, что Олежа Огородников причислял себя к европейскому отряду русской нации, который еще до постройки Петербурга вывозил дровишки на Запад. Не знало злое мужичье, что юность Олехина прошла в тени статуи в ботфортах и треуголке, в некотором даже общении с международной матросней, откуда и был, между прочим, за пару бутылок водки уже названный выше кожаный реглан".

Я начал статью, посвященную роману Евгения Попова*, с этой большой цитаты из романа Василия Аксенова "Скажи изюм". Молодой фотограф Охотников возник благодаря своему реальному прототипу, одному из молодых организаторов и участников неподцензурного альманаха "Метрополь" Евгению Попову, который, однако, пришел в Москву не по Ломоносовскому пути, а по сибирскому тракту, из города Красноярска, стоящего на реке Енисей, впадающей в одно из морей Ледовитого океана, но подтвердив пророчество Ломоносова о том, что "Российское могущество прибавляться будет Сибири".

"Мнение писателей о "Метрополе": Порнография духа".

"Секретариат правления СП РСФСР постановил: Учитывая, что произведения литераторов Е. Попова и В. Ерофеева получили единодушную отрицательную оценку на активе Московской писательской организации, секретариат правления СП РСФСР отзывает свое решение о приеме Е. Попова и В. Ерофеева в члены СП СССР, принятое по журнальным публикациям, и предлагает секретариату правления Московской писательской организации рассмотреть приемные дела указанных литераторов по выходу их книг".

"Писательская организация столицы сегодня едина, спло-

* Евгений Попов. "Прекрасность жизни". Главы из "Романа с Газетой", который никогда не будет начат и закончен. М., "Московский рабочий", 1990.

чена и активна как никогда. Активна по-доброму, по-партийному, как творчески, так и политически. И это знание нашего времени, сильного единством, сплоченностью и активностью всего советского народа".

Ф. Кузнецов. Счастливого нового года.

Это уже цитаты из романа Попова, который построен так: каждая глава включает в себя рассказ, дата написания которого автором совпадает с годом главы, газетными цитатами за этот же год и текст, условно датированный первой половиной 80-х годов.

Приведенные мною отрывки относятся к "Главе 1979", времени, когда московские организаторы писателей под предводительством железного Феликса столичной литературы громили пренебрегших "сплоченностью и активностью всего советского народа". Примечательна формулировка, отражающая стиль погрома, это не яростные призывы 30-50-х, а якобы "объективный, спокойный" тон удущения молодых литераторов - "предлагается... рассмотреть... по выходу книг", но разве не было ясно, что после такого постановления они уже не увидят никогда ни книг, ни журнальных публикаций, ни одной своей напечатанной строки.

Что же еще происходило в этом году? Старые газеты читать, ох, как интересно.

Ну, непременно, "План 1979 года выполнен досрочно!", и это понятно, а как же иначе?

"Сердечные поздравления Л. Брежнева товарищу Кармалю Бабаку с его избранием Генеральным секретарем, Председателем и Премьер-министром".

"Правительство Советского Союза удовлетворило просьбу афганской стороны о срочной политической, моральной, экономической помощи, включая военную помощь".

"Присудить товарищу Брежневу Леониду Ильичу Ленинскую премию за книги "Малая Земля", "Возрождение" и "Целина", за неустанную борьбу за мир".

А следующие цитаты и заголовки уже из "Главы 1969".

"Молодежь Запада: от апатии - к борьбе".

"Новый роман Анатолия Кузнецова "Огонь" с первых страниц заинтриговывает читателя. Павел, герой романа, теряет друга. Теряет трагически и непонятно. Ровесник Павла, талантливый и преуспевающий журналист Дима Образцов, кончает самоубийством в гостиничном номере во время служебной командировки".

"Западные подстрекатели и события в Чехословакии".

"Гневно клеймим маоистских бандитов".

"Важное место в создании духовных предпосылок коммунизма, в воспитании нового человека Ленин отводил литературе и искусству".

"Разве непонятно, что та же "Нью-Йорк таймс" просто пытается флиртовать с "Новым миром" и некоторыми его незадачливыми авторами. Советская общественность знает, что это заигрывание дежурной пропаганды с "Новым миром" идет давно".

"Вряд ли возможен по такому вопросу тот "плюрализм мнений", за который в числе прочих реформ марксизма ратует Эрнст Фишер".

"В ход пущен полный набор подрывных воплей о свободе, которой мы с вами, читатель, оказывается, лишены".

"Священны твои границы, Родина!"

Прием, когда в ткань литературного произведения вставляются газетные цитаты описываемого времени, не нов. Им пользуются для придания документальности художественному тексту или для того, чтобы точно, "протоколно" охарактеризовать реальную историческую обстановку, как это делает А. Солженицын в "Красном колесе", а еще раньше Дос Пасос в "1919". У Евгения Попова сочетание газетных вырезок и заголовков с его рассказами имеет, кроме документальности, еще один смысл — оно подчеркивает официальный, зачастую лживый, восторженный стиль советских газет и искренние чувства и поступки героев рассказов.

Газетная заметка за 1961 год, когда автор, по своему же свидетельству, "осознанно занялся литературой".

"Эстафета поколений.

До открытия съезда осталось несколько часов. Ученики школы 10 собрались на митинг. С приветствием выступил старый большевик Леонид Исаакович Карбовский. Он поздравил ребят со знаменательной датой. "Мы старые коммунисты, передаем знания коммунизма вам, комсомольцам, строителям светлого будущего". Молодые комсомольцы Наташа Жилина и Таня Рехлова в ответном слове сказали, что они и их товарищи оправдают высокое доверие и постараются стать настоящими строителями светлого будущего".

Подпись под заметкой Е. Попов. Может, это первое "произведение" будущего писателя? И так начинал не только он, и начинал искренне, потому что был юн, а в стране "страда кукурузная" и "Королева" не подведет" и "12 апреля 1961 г. в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на

борту. И "наш Никита Сергеевич", покоривший Америку, улыбался с газетных полос и с экранов первых телевизоров.

А вот рассказ "Спасибо", наряду с газетной заметкой входящий в эту главу. Юноша решает продать свои любимые шесть томов в коричневом переплете, каждый опоясывает две полоски: красная и черная. "В жизни много дряни", – говорит ему черная. "Не бойся, победа будет за нами", – говорит красная. И как ни жаль расставаться с книгами, но денег нет ни копейки, до стипендии еще неделя, а завтра исполняется 18 лет и паренек несет свое собрание (вероятно, Паустовский со своими романтическими героями) к старому букинисту. Книжки редкие, попробуй достать сейчас такие, букинист их обязательно возьмет. Но старик, тщательно просмотрев все шесть томов, неожиданно говорит – Н-Не возьму...

"Я хочу спросить – почему? – Но слова застывают на губах. Теперь мы с ним объединены какой-то маленькой тайной. Никто больше не знает о ней. Ни бабка, сдающая пышные издания Ольги Форш, ни высокий студент с беспокойным взглядом (боится, что не возьмут учебник без титульного листа)".

Вот такая, другая "эстафета поколений" произошла между романтическим юношей, начинающим жить, и старым, разного повидавшим букинистом.

Из этого первого рассказа книги и берет начало весь ее пафос, состоящий в том, что жизнь прекрасна, потому что она есть, а если ее нет, то она уже не прекрасна. Отсюда и название подзаголовка "Прекрасность жизни".

Жизнь, конечно, бывает разная, и в ней много всего такого, что по большому счету на жизнь как бы и не смеет претендовать, особенно это "все такое" как-то прочно утвердилось в нашей неохватной стране.

У Александра Блока есть хрестоматийно-известные строки: "Узнаю тебя, Жизнь. Принимаю. И приветствую звоном щита!" Какой-нибудь соцреалист непременно бы "щит" заменил бы на "меч" – мол, жизнь – борьба, а в ней без обоюдоострых предметов не обойтись. Но Блок выбрал щит, защиту от мерзостей жизни.

Две параллельные истории о женщинах из рассказа "Нет, не о том..." (глава 1967). Одна честная женщина, труженица и многодетная мать привезла из-за границы изрядное количество обуви для своей семьи и на таможне "Шереметьево" потеряла один ботинок и очень долго его искала, вызывая ехидные насмешки окружающих, но все-таки нашла.

Вторая женщина в 1964 году впервые ведет дочку в Большой театр. На ней роскошная лиса-чернобурка, живет жен-

щина с дочерью небогато, отца у них уже нет, а лису подарил один добрый человек. У входа в театр, в толпе жаждущих насладиться искусством, вор срывает лису с женщины и бросается наутек. Шум, гам, "Держи вора", дочка решает бежать за милиционером, но мать твердо отвечает ей – "Запомни, что неприлично опаздывать в театр и являться туда после третьего звонка".

Герой рассказа, вспоминая эти истории, мучительно думает над тем: "Кто прав в этом мире, кто виноват и что делать?" И приходит к выводу и морали, что если пропал ботинок или украли лису, то поздно мучительно думать, а надо или искать пропавшую в поте лица, или отправиться, что, конечно же, лучше, в Большой театр, Малый, консерваторию или ресторан, чтобы не опоздать, если собрался. Ибо жизнь продолжается, ибо по-другому она не умеет, а каждый выбирает свой счет.

Жизнь продолжается. Но читая вырезки и заголовки газет за 25 лет жизни страны и мира, возникает какая-то безрадостная картина. Все то, чем гордились, восхищались, приветствовали, на что надеялись, оказалось мыльным пузырем: и избрание Т. Д. Лысенко Председателем ВАСХНИЛ, и "стройка века – БАМ", и увеличение числа коммунистов в Польше, и "товарищ Че Гевара, погибший за великое дело", и "черное золото Тюмени", и самое "основополагающее" – "Там, где партия, там успех, там победа!" А то, с чем боролись эти газеты, что осуждали, выступавшие в них люди – утвердилось, завоевало признание. Конечно, и тогда "на кухнях" интеллектуалы потешались над этой пропагандистской туфтой, но все-таки, согласитесь, грустно жить в стране, где тебе, считая дурнем, из года в год вешали лапшу на уши и изготавливали эти "макаронные изделия", в общем-то, тоже всепонимающие люди, но воспитанные ждать указаний. Жизнь, тем не менее, шла без указаний, то есть она сама указывала, как кому жить.

Примечательна в этом смысле, влияния "двойной морали", городская сказка "Хорошая дубина", еще раз подтверждающая талант автора писать остроумно и занимательно. Все просто – жена ругает мужа, что он получает 125 р. плюс 40% прогрессивки в квартал, и грозитя от него уйти к маме, потому что она мечтает об орле, "а он – мокрое ошипанное животное, петух с интеллектом неандертальца" (сравнение не новое, но "животное – петух" придает некоторую пародийность стилистике сказки). На попреки жены муж отвечает ласково-сюсюкающими комплиментами и уходит в зимний городской лес, где ножом вырезает хорошую дубину и пряч-

чется в засаде. Долго ждет, замерзая и думая о всякой гадости, "безблагодатной и бесперспективной".

А в это время Внуков А. Н. возвращается пешком по веселому морозцу, после прекрасного ужина в ресторане, которым его угощали заинтересованные в нем люди и на прощание подарили 10.000 рублей, и ощущает "прекрасность жизни", которой он лишается после хорошего удара дубиной по голове в пыжиковой шапке. Муж дома выложил перед вздернутым от независимости носом жены толстенную пачку денег, сказав, что нашел ее в лесу. Счастливые супруги не стали извещать о находке ближайшее отделение милиции, а решили прибавлять из нее ежемесячно по 200 рублей к своим прежним доходам, рассчитывая прожить в "прекрасности жизни" ровно 4,16 года.

Внуков же А. Н., придя в себя, пришел домой, где его, помимо жены и дочери Лены, ждали двое мужчин в кожаных пиджаках, понятые и Рафаил, который и вручал ему после ужина эти самые 10.000 р. (купюры были мечены милицией, чтобы разоблачить А. Н. как крупного взяточника). После короткого обыска...

"Я всегда знала, что ты честный человек, папка, и говорила об этом девочкам, - сказала она, и слезы в ее прекрасных глазах задрожали как бриллиантовые сережки в ее же ушах.

- Доченька, милая моя, - не выдержав, зарыдал Внуков А. Н., - и разродился такой прекрасной передовицей, которая бы украсила первую полосу любой центральной газеты, если бы та решила порассуждать и дать указание читателям на тему морали и совнравственности.

Ну, собственно, при чем здесь советские газеты, это всегда было - вор у вора дубинку украл и, как получилось, к его же пользе? Было, это мы как молодое поколение по нашей классической литературе знаем, но в той же литературе и жизни, которую она описывала, существовало понятие грех, и не только среди верующих, но и атеистов, тоже в прежней действительности достаточно имевшихся. Октябрьский переворот уничтожил это понятие, заменив его классовой пользой. Так что муж с хорошей дубиной действовал строго по-большевистски: "грабь - награбленное", да и Внуков А. Н. по-партийному, вспомним "немецкие деньги".

Жизнь, безусловно, прекрасна, и, наверное, только русский человек или любой другой национальности, живущий на 1/6 части Земли, может по-настоящему ее оценивать. Он привык довольствоваться малым, частенько повторяя, почесывая затылок - "Ах, лишь бы не было войны", но она с разной периодичностью все же наступала, - все равно не унывали - ничего, отобьемся! Еще погуляем!

Мы, конечно, гулять умеем. В рассказе "Дрянная, дрянная, дрянная, испорченная..." Евгений Попов описывает такой вечерний отдых в кафе, что на 74 км Дмитровского шоссе (Подмосковье). Автор, "съев яичницу, жаренную на растительном масле, суп, пахнувший блевотиной, горячую зеленую котлетку, салат из кривых помидоров, запивши все это портвейном "Кавказ", ощутил присутствие "прекрасности". Это какого-нибудь опустившегося шведа или "мириканца" таким меню можно лишить жизни, а нас-то! Правда, сейчас эта "прекрасность" вздорожала раз в 100, но автор жировал в 81 году, на пике "застоя и запоя". В кафе после перерыва на выпивку и отдых возобновилась драка, причем "не фашистская, а честная драка" местных с пришлыми, а через неделю местные к ним на танцы пойдут и опять начнется. И дело совсем не в драке, а вот в этом: "В желтоватом, слабо освещенном окне гнусного кафе, во вспомогательном его помещении виднелась золотозубая, возвышающаяся над горой грязной посуды. Она кривлялась, строила разнообразные хари, а потом стащила с себя на секунду блузку и показала нам огромную, с голову ребенка, титьку. После чего отвернулась, захопотала, принялась мыть тарелки.

- Вот же сука, вот же пропала! - хохотали мы с молодым человеком.

Ну, сука, ну пропала, но иной раз вспомнишь ее во дни сомнений и тягостных раздумий о художественном творчестве, и сразу становится легко на душе, как будто действительно прочитал Тургенева.

Золотозубая подруга из гнусного кафе. Дрянная ты, дрянная, дрянная... испорченная! Шлю тебе пламенный привет. Спасибо!"

Так же и мы, и клянем эту "дрянную, дрянную, испорченную" Россию, Родину и любим ее, недоумевая, как же так с ней все это произошло, как же ее наши деды и отцы и мы уже сами испоганили, тешась "честными" идиотскими драками. И мечтаем о "недостижимом блиском идеале" как герой одноименного рассказа.

Выпивал как-то Попов с приятелями у речного вокзала в городе К. на сибирской реке Е. и пристроился к ним некто Мясоедов Петр со своей бутылкой. Стал рассказывать о своем "блиском идеале", о котором он вычитал в газете "К-ский комсомолец". Там писалось, что на женщину "работника молочно-товарной фермы" ночью по дороге домой напал волк и она засунула ему в пасть руку по локоть и в таком положении дотащила волка метров 600 до своего крыльца, где добила деревянной лопатой, а потом сделала из шкуры

пимы. Мясоедов в газету ходил выяснять адрес этой замечательно храброй доярки, чтобы поехать к ней, но там ему сказали, что написавшего эту галиматью Попова уже выгнали из редакции, "пускай в Америку едет сотрудничать в желтых листочках". На что Попов возразил, что хотя его и выгнали из редакции, но про доярку писал Алик Кутик в состоянии запоя, но он уже лечится. Заканчивается повествование, само собой, отводом всей компании в участок, за распитие спиртного в неположенном месте.

Короткие рассказы, вошедшие в книгу, грустны и смешны, трагичны и счастливы. Место действия их вся наша многострадально-прекрасная страна, бывшая СССР, "с южных гор, до северных морей", с заездами в столицы. Собранные вместе они как бы представляют собой энциклопедию развития души молодого человека 60-70-80-х годов, проходившую на фоне событий, описываемых самыми "правдивыми" газетами. Поэтому книга не имеет конца, она может продолжаться, пока судьба позволяет писать ее автору, но обрывается в 1985, когда стало наступать время, позволившее ей выйти из печати.

Возможно, Е. Попов продолжает работу на своем "романом с газетой", быстротекущая жизнь, как никогда, кроме 17 года, не давала столько захватывающих и поучительных сюжетов, а уж газет народилось и умерло неимоверное количество, безумных ранее направлений и толков. И "Правда", сбросив ордена и КПСС, запрещенная и вновь разрешенная, обанкротившаяся и получающая субсидию "демократов" — оппозиционная газета!

Это ли не доярка с волком?

И началась уже на нашей "испорченной" Родине очередная "честная" драка за "блескущий идеал". Неужели вся эта "прекрасность" опять кончится появлением железных Феликсов разнообразных профессий?

Евгений Крохмаль

"Бродский глазами современников"

Для критиков распадающейся Империи естественно мыслить нисходящими штампами. В силу этого застарелого механизма русскую поэзию трех последних десятилетий нередко терминируют как "бронзовый век". Помимо подразумеваемого нисходящего ряда, в самом этом названии заключено некое лукавство — оно как бы провоцирует читаю-

шую публику на перераспределение раз навсегда заданных ролей; стихотворцам же, соответственно, намекает на вторичность и повторяемость индивидуальной драмы творчества. Живучесть порочной терминологии, как правило, объясняется ее чрезмерной серьезностью. На исходе второго тысячелетия христианской культуры, когда мысль изреченная чаще всего уже не ложь, а попросту пошлость, эта серьезность становится странным образом уязвимой – в силу своей заведомой эстетической глухоты.

"Мышление литератора иерархично", – обронил как-то Иосиф Бродский. Всерьез приняв правила игры в "бронзовый век", можно рассматривать рецензируемую книгу Валентины Полухиной "Бродский глазами современников"* как продолжение традиции дореволюционных "плеяд" и послереволюционных "обойм" – проект в основе своей горизонтальный, то есть безнадежный, подразумевающий передачу объемного изображения суммой плоскостных проекций. Так или приблизительно таким образом прочтет эту книгу вероятный недоброжелатель. Недоброжелатель более искушенный, отталкиваясь от ряда "неосторожных" высказываний самого Бродского, может даже со всей серьезностью узреть в ней карикатуру на современный Парнас: с Бродским-Пушкиным на вершине в окружении Рейна-Жуковского, Лосева-Вяземского, Уфлянда-Дениса Давыдова, Венцловы-Мицкевича и т. п. Сблазнительность подобной методологии заключается в том, что использование готовой схемы не только несравненно облегчает задачу критика, избавляя его от необходимости связной аргументации, кропотливого анализа и т. п., но и поддерживает в нем (критике) комфортную утопию превосходства над стихотворцем; то есть наделяет критика несвойственной ему демиургической функцией.

Предлагаемый вниманию читателей увесистый том от всех этих опасностей, кажется, счастливо избавлен. Книга "Бродский глазами современников" представляет собой сборник бесед одного из авторитетнейших "бродсковедов", автора монографии "Joseph Brodsky: a poet for our time" (Cambridge: CUP, 1989) и редактора (совместно с Львом Лосевым) сборника "Brodsky's Poetics and Aesthetics" (London: Macmillan Press, 1990) д-ра Валентины Полухиной (Keele University) с восемнадцатью поэтами, среди которых лауреаты Нобелевской премии Чеслав Милош и Дерек Уолкотт, друзья

* Valentina Polukhina. "Brodsky through the Eyes of his Contemporaries". London: MacMillan Press, 1992, 348 pp.

Бродского и исследователи его творчества Лев Лосев и Томас Венцлова, такие крупнейшие имена современной отечественной поэзии, как Евгений Рейн, Юрий Кублановский, Виктор Кривулин, Ольга Седакова, Александр Кушнер и др.

В предисловии к книге д-р Валентина Полухина пишет: "Поскольку поэты в своих стихах, как правило, разговаривают чаще друг с другом, чем с нами, их читателями, [...] меня всегда занимало, что они думают друг о друге, как высоко или низко оценивают своего собрата по перу, причем не только в застольных беседах, а в интервью с почти незнакомым человеком, который не скрывает от них, что эти интервью будут опубликованы". Поэты, ставшие участниками сборника, различны по эстетическим установкам, по возрастной принадлежности и культурному наследию. Голоса их не составляют "согласного хора". Напротив, на страницах книги продолжается некий нескончаемый спор о русской поэзии, начатый для кого-то два-три десятилетия назад. Этот спор, эти неожиданные переключки, возникающие между интервьюируемыми поэтами (нелишне напомнить, что участники бесед не знали о высказываниях своих соседей), делает сборник не только уникальным материалом для будущих литературоведов, но и попросту увлекательным чтением. Здесь соседствуют мемуарные зарисовки и оригинальный литературоведческий анализ, высказывания частного порядка и развернутые версии литературного процесса последних десятилетий, меткие характеристики творчества Бродского и бессознательные автохарактеристики. Сама возможность прямого высказывания для большинства участников сборника, до недавнего времени не избалованных вниманием критики, переводит разговор с центральной фигуры Бродского на попытку создания общей панорамы российской поэзии, осмысления путей ее развития и некоторых итогов прошедшего тридцатилетия.

Частное мнение автора этих строк состоит в том, что ни о каком упадке, нисходящем ряде, дурной цикличности, подразумеваемых в русской поэзии ярлыком "бронзовый век", речи быть не может. Мы являемся современниками большой (потомки, полагаю, скажут "великой") поэзии. Уже в 60-м году Ахматова выделяла "по крайней мере десять поэтов молодого поколения, не уступающих высокой пробе серебряного века". За прошедшее тридцатилетие список не только расширился, но и, успев стать историей, приобрел некую структурную завершенность. В этом смысле мы живем в благодатное время, когда перелом исторический не может ничего добавить к плодам эстетической эволюции.

Книга Валентины Полухиной восполняет один из существ-

венных пробелов, характерных для большинства трудов, посвященных творчеству Бродского, – она вводит его в общий контекст поэзии второй половины века. Фигура Бродского, предстающая зачастую либо бронзовым монументом, либо неисчерпаемой кладовой версификационных находок, либо объектом идеологических спекуляций и личных амбиций, превращается в реальную живую фигуру литературного процесса. Книга Валентины Полухиной является лучшим опровержением утверждения Виктора Кривулина, что о Бродском сегодня можно писать только как о умершем классике.

Среди участников сборника преобладают петербургские литераторы и прежде всего, естественно, Евгений Рейн и Анатолий Найман. Судьба "ахматовских сирот", "открывавших культуру заново" и в этом смысле сделавших возможным все дальнейшее существование неподцензурной поэзии, является уже фактом истории литературы. Пути их из точки начального пересечения разошлись ныне довольно далеко и ретроспектива этого расхождения, имеющего, тем не менее, родовые черты некоей единой ментальности, являет собой не только сумму опыта поколения, но и демонстрирует границы унаследованной "петербургской школой" семантической поэтики акмеизма. К тому же кругу литераторов принадлежат Владимир Уфлянд и Яков Гордин, друзья Бродского, эстетически заметно отличающиеся от "питерской школы" в традиционном ее понимании, но в значительной степени определившие лицо того поколения, о котором Бродский позже вспоминал: "Никто не знал литературу и историю лучше, чем они, никто не мог писать по-русски лучше них, никто не презирал наше время более глубоко".

В несколько особом положении находится Александр Кушнер – один из признанных лидеров "петербургской школы", "крупнейший русский лирик" по определению Бродского и, одновременно, единственный из представленных в сборнике поэтов, еще с середины 60-х годов благополучно вписанный в систему Союза советских писателей. Оппозиция Кушнер–Бродский в рамках "петербургской школы" является одной из наиболее актуальных для молодых стихотворцев последующих поколений. Уникальность ее заключается в том, что спор, в сущности, ведется в рамках единой эстетики и касается, скорее, вопросов экзистенциальных: свободы и конформизма, отношения к традиции, смирения и чувства меры. Это напоминание о том, что субстанция стиха при любой, даже самой совершенной эстетической позиции, в состоянии устанавливать обратную связь.

Для читателей, следящих за эмигрантской периодикой,

будет естественным включение в сборник интервью с двумя крупнейшими исследователями творчества Бродского Львом Посевым и Томасом Венцловой. Блистательная поэзия Льва Посева удивительным образом независима от влияния эстетики своего знаменитого друга и, риску предположить, в неменьшей степени определила словарь и интонацию современных стихотворцев. Литовский поэт Томас Венцлова, адресат многочисленных посланий Бродского, своей поэтической практикой указывает на универсальность опыта Бродского не только для русской поэзии. И, наконец, оба они – поэты, ставшие, как и Бродский, профессорами славистики – являются собой несколько непривычный в отечественной традиции тип стихотворца-ученого, напоминающий о не только общекультурной, но и антропологической функции поэзии.

Неожиданную глубину общей картине придают стоящие рядом интервью с английским поэтом Роем Фишером и лауреатом Нобелевской премии 1992 года латиноамериканцем Дерекотом Уолкоттом. Речь идет о месте Бродского, его автопереводов и стихов, написанных по-английски, в англо-американской поэтической традиции. Для британца Роя Фишера переводное звучание Бродского противоречит пути английского языка, всему опыту английской поэзии последних десятилетий. Он уподобляет Бродского Дон-Кихоту, в одиночку пытающемуся повернуть ход развития английской поэзии. Для Дерекота Уолкотта, "самого замечательного, – по мнению Бродского, – из поэтов, пишущих сегодня на английском языке", его опыт является закономерным продолжением опыта У. Х. Одена и поэтов "метафизической школы".

В рамках рецензии невозможно дать хоть сколь-либо развернутую характеристику каждому из интервьюируемых поэтов, но сами их имена уже достаточно говорят искушенному читателю: Юрий Кублановский, Виктор Кривулин, Ольга Седакова, Наталья Горбаневская, Елена Шварц, Михаил Мейлах, Алексей Парщиков. Завершает сборник интервью с патриархом европейской поэзии Нобелевским лауреатом поляком Чеславом Милошем. Эсхатологизм Милоша, его версия духовного опыта послевоенной Европы в значительной степени предвосхитили особый сплав трагического и иронического в поэзии Бродского – этом, по определению Милоша, "гигантском здании странной архитектуры".

Полноту картине придают стихи, посвященные Бродскому, либо перекликающиеся с ним, помещенные в конце каждого интервью, и, наконец, обложку ее украшает "Метафизический портрет Иосифа Бродского" работы Михаила Шемякина.

Огромная работа, проделанная Валентиной Полухиной, вызывает у читателя чувство уважения и благодарности. Эта книга, кажется, как говорится, заведомо обречена на успех – как у профессоров славистики, так и у рядовых читателей поэзии. У сборника "Бродский глазами современников" есть, кажется, лишь один существенный недостаток – он, невзирая на значительный объем, претендует на продолжение. Рискуя совершить бестактность, осмелюсь предположить, что интервью с Геннадием Айги, Всеволодом Некрасовым, Генрихом Сапгиром, Игорем Холиным, Львом Рубинштейном, Д. А. Приговым, Михаилом Айзенбергом, Алексеем Цветковым, Сергеем Гандлевским, Бахытом Кенжеевым, Тимуром Кибировым, Виктором Соснорой, Михаилом Ереминым, могущие составить гипотетический второй том, не только сделали бы этот замечательный проект полнее, но и в силу того, что Бродский является одной из наиболее ярких, в каком-то смысле итоговых фигур русской поэзии второй половины века, придали бы ему черты универсальности. Тем не менее, сборник интервью Валентины Полухиной и в нынешнем своем составе представляет собой хорошую, профессионально сделанную книгу о современной русской поэзии, что, к сожалению, на сегодняшний день большая редкость.

Завершая, остается лишь высказать пожелание, чтобы расширенное отечественное издание книги "Бродский глазами современников" не замедлило появиться на магазинных полках и стало доступным широкому кругу любителей поэзии.

Виктор Куллэ

Новые исследования об освободительном движении генерала А. А. Власова

Начнем с книги*, которая вышла в серии "Исследование новейшей русской истории" (ИНРИ) т. 8, издаваемой под общей редакцией А. И. Солженицына.

Западногерманский исследователь Йоахим Хоффманн (1930 г. р.) – доктор наук, специалист по истории Восточной Европы и этнографии. Автор многих статей и книг по новей-

* Й. Хоффманн. История власовской армии. – Париж, ИМКА-Пресс, 1990, 376 сс.

шей истории и истории XIX в., в том числе: "Немцы и калмыки", "Восточные легионы"^{*} и др.

В реферируемой работе использованы немецкие документы и материалы Русского освободительного движения, собранные, прежде всего, полковником РОА В. Поздняковым, а также советские трофейные материалы и публикации.

Исследование проводится в полемике с советской историографией по данному вопросу.

Книга содержит 15 глав и документальное приложение: Обращение Русского Комитета (г. Смоленск, 1942 г.), Открытое письмо генерал-лейтенанта А. А. Власова, Манифест Комитета Освобождения Народов России (г. Прага, 1944 г.). Первые пять глав посвящены основам и военной структуре РОА. В 13-15 главах раскрыта советская реакция на Власова (гл. 13), борьба с феноменом Власова (гл. 14), историческое место Освободительного движения (гл. 15).

Давая анализ политической обстановки в СССР в начале войны, Й. Хоффманн пишет: "Нападение Германии и ее союзников 22 июня 1941 года было для Советского Союза тяжелым потрясением не только в военном, но и в политическом плане" (с. 5). В оккупированных районах обнаруживалась "хрупкость идеологических основ советской власти" (с. 5). Несмотря на то, что по указу Политуправления Красной армии "советский солдат должен предпочесть смерть плену, но не сдаться врагу" (с. 106), к концу 1941 г. в немецком плену оказалось 3,8 миллиона человек, а всего за годы войны 5,24 миллиона военнослужащих Красной армии. Эти люди, по оценке автора, представляли собой значительные ресурсы для политической войны против советского режима. Они могли бы быть использованы, если бы Гитлер вел войну с СССР в соответствии с собственными первоначальными пропагандистскими лозунгами - как освободительную, а не как захватническую.

Й. Хоффманн дает анализ причин, в результате которых военнопленные становились солдатами РОА. Он опровергает характерные для советской официальной версии положения, согласно которым главной причиной этого были невыносимые условия содержания военнопленных в немецких лагерях. Таким образом, вербовка в РОА рассматривалась только как попытка спастись от голодной смерти. В звании "идейных

^{*} Hoffmann I. "Deutsche und Kalmyken 1942 bis 1945" (1977), "Die Ost-Legionen 1941-1943" (1982).

борцов" военнослужащим РОА всегда отказывали. Автор книги приводит данные о том, что с временем появления Власова на немецкой стороне (весна 1942 г.) совпала перемена немецкой политики в отношении военнопленных. Проблема выжить больше не стояла. Что же касается невыносимых условий в лагерях в первую военную зиму, то в этом он обвиняет прежде всего именно сталинскую администрацию. СССР не признал Гаагскую конвенцию (1907 г.) и не подписал Женевскую конвенцию (1929 г.) в отношении обращения с военнопленными (с. 109).

Формирование РОА переросло в движение, которое стало выполнять роль "третьей силы" между Сталиным и Гитлером и со временем оформилось в Освободительную армию генерала А. А. Власова. К маю 1943 г. русские добровольческие объединения в рамках вермахта составили более 320 боевых единиц из 600 тысяч военнослужащих. Кроме того имелись зачатки национальных русских вооруженных сил под русским командованием: РННА (Русская национальная народная армия), РОНА (Русская освободительная народная армия), бригада "Дружина", 120-й полк донских казков и др. Настал подходящий момент для создания русского правительства и формирования при нем русской армии. Этому способствовало появление фигуры генерала Власова на немецкой стороне (1942 г.), воззвание "Русского комитета" (1943 г.), "резолюция" "I-й антибольшевистской конференции", учреждение официального понятия "Русская освободительная армия". Такой ход событий не отвечал идеям и планам Гитлера, и в 1943 г. генерал Власов после публичного выступления перед русским населением в районе Восточного фронта был политически нейтрализован немецким командованием.

Идеи Власова не были одобрены высшими кругами рейха, но нашли поддержку среди значительной части более низких слоев немецкого офицерства, которые не были в душе национал-социалистами (граф Штауфенберг, В. Штрик-Штрикфельдт, фон Клейст и др.). С их помощью был создан "Отдел восточной пропаганды особого назначения" в Дабендорфе, который стал основным центром Освободительного движения народов России. Курсанты Дабендорфа - бывшие советские военнопленные и перебежчики получали статус регулярных солдат Освободительной армии.

В сентябре 1944 г., после встречи Власова с Гиммлером, немецкая сторона санкционировала Русское освободительное движение. Настал момент для формирования РОА, ее численность планировалось довести до 800 тысяч человек (тридцать

дивизий). Эти расчеты базировались, как пишет Й. Хоффманн, главным образом на силе политического и пропагандистского воздействия: на идее освобождения Родины от большевизма, во имя счастья народов. "Власов явно намекал на то, что даже высшие офицерские круги Красной армии тайне симпатизируют идеям освобождения" (с. 15). На фронте неоднократно были зафиксированы случаи массового перехода бойцов Красной армии на сторону власовцев.

Одновременно движения сопротивления возникали в Прибалтике, в Белоруссии и, главное, на Украине в лице УПА (Украинской повстанческой армии).

Власов и его немецкие соратники исходили из неизбежности поражения фашистской Германии, но при этом они не считали крушение рейха концом Русского освободительного движения. Основным просчетом руководства РОА Й. Хоффманн считает неосуществившуюся надежду на признание со стороны англо-американского командования и на сотрудничество с ним.

Целью Освободительного движения провозглашалось восстановление "национального русского государства", "не просто возврат к старому, а создание новой России, возрождение России на новых основах" (с. 19). 28 января 1945 г. существование Вооруженных сил КОНР (Комитета Освобождения народов России), объединенных под названием РОА, стало реальностью. А. А. Власов стал главнокомандующим русскими вооруженными силами, которые отныне немцы стали считать силами союзной державы.

Фактически верховное командование ВС КОНР выполняло функции военного министерства. Штаб состоял из 19 отделов. Почти каждый из них, как констатирует Й. Хоффманн, возглавлялся бывшими генералами, полковниками или штабными офицерами Красной армии. В связи с этим он считает беспочвенной концепцию, согласно которой советские высшие офицеры отказывались вступать в РОА, а офицерами назначались безымянные предатели (с. 28). Кроме бывших офицеров Красной армии, ведущие позиции в РОА занимали также и некоторые старые эмигранты - ветераны царской и Белой армий.

В доказательство того, что РОА обрела полную самостоятельность и не подчинялась вермахту, исследователь приводит следующие факты. Создание собственного органа военного правосудия, учреждение должности главного военного прокурора, попытки создать судебный инстанционный порядок "сверху донизу". В области разведывательной службы - создание при КОНР управления безопасности, в которое вхо-

дили военная и гражданская разведки. Позже они были организационно разделены и создана собственная разведслужба РОА. О растущем значении ее говорит создание в начале 1945 г. разведывательной школы РОА. В трактовке советских авторов эта школа предназначалась для подготовки диверсий и террора против населения. Й. Хоффманн же доказывает, что основной целью была переброска за линию фронта специальных групп для создания антисоветского сопротивления (с. 33).

При формировании офицерского корпуса РОА особое внимание уделялось этике, облику и поведению. Офицер РОА определялся как представитель новой России в европейском обществе и должен был быть достоин этого звания. "Офицер РОА обязан щадить мирных жителей, уважать их национальные и религиозные чувства, быть великодушным к побежденному противнику" (с. 34). Дисциплина и боеспособность были на высшем уровне.

Й. Хоффманн характеризует основные этапы формирования РОА. 23 ноября 1943 г. был отдан приказ о формировании 1-й русской дивизии под командованием полковника С. К. Буняченко. В нее вошла бригада Б. Каминского (РОНА), прославившаяся своими действиями в области Локоть в 1942 году, части 30-й гренадерской дивизии Ваффен-СС из четырех полков полицейской бригады "Зиглинг" и проч.

17 января 1945 г. был издан приказ о формировании 2-й дивизии РОА под командованием полковника Г. А. Зверева. 3-я дивизия под командованием генерал-майора М. М. Шаповалова не успела стать реальностью. Ее формирование не сдвинулось с подготовительной стадии, но не по причине отсутствия наличного состава (в добровольцах недостатка не было), а по вине немецкой администрации.

Помимо этого сухопутные войска РОА состояли из противотанковой бригады, сухопутной бригады и офицерской школы. Таким образом под прямым командованием Власова состояло 50 тысяч человек. К концу войны это число удвоилось за счет казачьих соединений генералов А. В. Туркула, Т. И. Доманова, Гельмута фон Паннвица и Русского корпуса, состоящего главным образом из белых эмигрантов. С видным участником гражданской войны генералом П. Н. Красновым по идейным соображениям сотрудничество не состоялось. В отличие от Власова, сторонника полной самостоятельности, Краснов выступал за немецкое руководство над русской армией. На Совете казачьего войска Краснов был выведен в отставку как не способный более представлять интересы казаков. "1-я Русская национальная армия" генерал-майора

Б. Хольмстон-Смысловского избрала свой, отдельный от РОА путь в освободительной борьбе, и отказалась соединиться с частями Власова для похода в Богемию (с. 159). Она двинулась в княжество Лихтенштейн, где была интернирована (с. 71).

Отдельно от РОА действовали восточные легионы из представителей нерусских национальностей, русские части, оставшиеся до конца войны в вермахте и 1-я дивизия Украинской освободительной армии (Украинске Визвольне Військо - УВВ).

При КОНР действовали также собственные военно-воздушные силы под командованием генерал-майора В. И. Мальцева, формирование которых началось в августе 1942 г. При 1-м воздушном флоте в Прибалтике была сформирована группа ночного боя "Остланд", в которой кроме эстонских эскадрилий имелось также русское авиационное подразделение. Позже в состав ВВС РОА вошла зенитная артиллерия, парашютно-десантные войска, войска связи. Численность ВВС РОА на первых порах составила 4500 офицеров, причем в соответствии с приказом главнокомандующего Люфтваффе Геринга, "руководство формированием находилось в руках РОА" (с. 87).

В отношении военных действий при создании РОА по русско-немецкому соглашению предполагалось дать русским войскам возможность проявить себя на Восточном фронте. Лишь доказав свою боеспособность, РОА могла рассчитывать на расширение своего состава до 10 дивизий.

В начале 1945 г. по приказу Власова была сформирована ударная группа под командованием И. К. Сахарова. Ей было дано право на полную независимость от немцев, на самостоятельный выбор целей атаки и тактики боя. В сражении 9 февраля 1945 г. в районе Карлсбизе группа Сахарова показала себя с наилучшей стороны и вызвала всеобщее уважение (сс. 137, 138).

В ходе дальнейших операций 1-й дивизии РОА удалось выиграть сражение в районе Фюрстенберга, который представлялся одним из "труднейших участков фронта" (с. 146). А атака 1-й дивизии на плацдарм "Эрленгоф" была одним из последних наступлений немецкой армии на всем Восточном фронте (с. 152). В апреле 1945 г. 1-я дивизия совершила поразительный, с учетом сложившейся ситуации, поход на юг в Богемию для соединения с другими частями РОА. Описанию этого похода посвящена целая глава книги.

Й. Хоффманн пишет о наличии двух планов президиума КОНР в отношении дальнейших военных операций. Первый - соединение с отрядами бывшего военного министра югослав-

ского королевского правительства в изгнании Дража Михайловича и продолжение борьбы в горах Балкан. Второй – продвижение к Украинской повстанческой армии (УПА), которая представляла собой значительную силу в тылу Красной армии (с. 168). Неожиданно представилась возможность, не предусмотренная первоначальными планами – присоединиться к национальному чешскому восстанию в Праге в мае 1945 г.

Внутреннего политического единства у чехов не было. "Только коммунистические группировки, в которых находились советские агенты, четко представляли себе свои цели" (с. 169). Точки соприкосновения возникли лишь после формирования в Праге национального чешского руководства восстанием – группы "Алекс", опиравшейся на правительственные войска. Большая часть командования 1-й дивизии РОА высказалась за помощь восставшим. Расчет делался на то, что после ухода немцев Прагу займет американская армия. 6-8 мая 1945 г. благодаря власовцам Прага была полностью освобождена от фашистов. 9 мая в уже освобожденную Прагу вошли танки генерала И. С. Конева. Чешское руководство повело себя предательски, заявив, что РОА самовольно вмешалась в восстание и что они не стали бы иметь дела с "изменниками родины" (с. 177). Утром 8 мая остатки 1-й дивизии покинули Прагу и начали двигаться по направлению Бороуна к расположению американских частей (с. 188).

В течение последних месяцев войны руководством КОНР и РОА неоднократно предпринимались попытки заключить договор с англо-американскими представителями о невыдаче власовцев советским властям. Попытки, сделанные в этом направлении Мальцевым, Буняченко, Ю. С. Жеребковым, не увенчались успехом. Западные правительства не понимали политических целей РОА и отказывали ее представителям в статусе политических беженцев (сс. 98, 162, 205-206). В свою очередь генерал-майор Ф. И. Трухин – командующий 2-й дивизии (южная группа РОА) тоже пытался установить связь с американцами. Его войскам было разрешено пересечь линию фронта и двигаться в глубокий тыл американской армии в район Линца (на Дунае). При этом им гарантировали, что до конца войны они не будут выданы СССР; дальнейшая же их судьба зависит от решений, принятых на более высоком уровне. Ф. И. Трухин и его помощники отправились в район Праги для координации действий с 1-й дивизией генерала Буняченко (северной группой РОА), но по дороге были захвачены в плен партизанами-коммунистами. Командование 2-й дивизией принял генерал М. А. Меандров и, по-

следовав предложениям американцев, 9 мая повел свои части в указанном направлении в глубь американской зоны.

Таким образом обе власовские дивизии находились теперь во власти американских войск. В таком же положении находилась группа генерала Мальцева. В течение последующих месяцев почти все они были выданы органам СМЕРШ. Обстоятельства, сопутствующие этому, позволяют говорить о том, что американцы сознательно подыгрывали советским (с. 228). Союзные РОА, казачьи соединения Доманова, Султан-Гирея Клыча, фон Паннвица и др. также были выданы органам СМЕРШ. Жертвами одной из наиболее крупных выдач (в районе Лиенца на р. Драве) стали 24 тысячи человек. В англо-американских отчетах подобные мероприятия фигурировали как "военные операции" (с. 236).

2 августа 1946 г. "Известия" в Москве сообщили, что Военная коллегия Верховного Суда приговорила руководителей РОА Власова, Мальцева и других (всего 11 человек) к высшей мере наказания.

Анализируя выступления советской печати, Й. Хоффманн приходит к выводу, что как в годы войны, так и после ее окончания, прилагались огромные усилия для дискредитации власовского движения. При этом настоящих аргументов советской стороне никогда не хватало. Основной целью было морально уничтожить личность Власова, в расчете на то, что вслед за этим провозглашенная им политическая идея провалится сама собой. Власов представлялся как активный член организации "врагов народа", которая до войны вела "тайные переговоры" с немцами. Якобы после "покаяния" советское правосудие дало ему возможность искупить "свою вину" службой в Красной армии, к тому же на посту крупного военачальника (с. 269). Однако тезисы политической программы власовского движения, провозглашенные в Смоленском обращении (1942 г.) и в Пражском манифесте 1944 г. обладали такой политической силой, что советская пропаганда не осмелилась вступать с ними в полемику. Решительность же, с которой Гитлер парализовал деятельность русского генерала, убедительно опровергает версию о Власове как о "фашистском наемнике и презренном лизоблюде" (с. 271).

Тот факт, что в критический момент Власов отказался бросить своих солдат и бежать, свидетельствует о его честности и мужестве (с. 99, 220). Очевидцы характеризуют его как человека, "которому были отвратительны всякий обман и предательство" (с. 170). Об этом же свидетельствует то, что процесс над А. А. Власовым и его соратниками был закрытым. Они не отступили от своих убеждений, и Сталину не

удалось послушать публичные раскаяния. "Только через 27 лет после казни Власова и его товарищей советские юристы сочли необходимым впервые открыть общественности подлинные детали тайного процесса 1946 года, дабы показать "истинное лицо предателя" (с. 303).

Главным в объективной исторической оценке власовского движения является вопрос о его целях. Они выражены в политической программе Пражского манифеста, состоящей из 14 пунктов. Осуществление этой программы, по убеждению Й. Хоффманна, заложило бы основу для современного правового государства. Манифест КОНР не имел ничего общего с национал-социалистической программой.

"Подводя итоги, можно сказать, что власовская акция... не удалась лишь по вине Гитлера" (с. 284).

★ ★ ★

Книга^{*} сотрудницы Кембриджского университета доктора наук Екатерины Андреевой дополняет работу Й. Хоффманна, вводя в его историографическое исследование биографический и идеологический контекст. Книга состоит из трех глав: "История Русского Освободительного Движения"; "Идейная эволюция освободительного движения"; "Пореволюционные политические движения". В качестве приложения даны: Обращение русского комитета; Открытое письмо А. А. Власова; Пражский Манифест.

Автор дает жизнеописание А. А. Власова как командира Красной армии, сына крестьянина, внука крепостного, рядового участника гражданской войны, добившегося высших командных должностей и генеральского звания; военного советника в Китае, кавалера ордена Ленина, одного из лучших советских военачальников перед Второй мировой войной. Проведенное исследование дает ответ на вопрос – как такой человек, воспитанный советским строем и, казалось бы, всецело преданный ему, вдруг стал идейным врагом коммунизма?

Было бы наивно предполагать, считает автор, что взгляды Власова коренным образом переменялись во время пребывания в немецком плену. Скорее, наоборот, он попал в плен, будучи подготовленным к той миссии, которую добровольно

^{*} Андреева Е. Генерал Власов и Русское Освободительное Движение. – Лондон: OPI, 1990, 340 сс.

взял на себя. Предшествующий путь Власова – это путь честного русского офицера, находившегося, как и многие его коллеги, в скрытой оппозиции к сталинскому режиму, хотя и вынужденного этот режим защищать. Сражаясь за родину, армия сражалась за Сталина – эти два понятия советская пропаганда сливала в единое целое. Однако ненависть к существующему строю и надежды на перемену к лучшему с приходом немцев были так сильны в 1941 г., что ни народ, ни армия всевать не хотели (с. 52).

Генерал-лейтенант Власов относился к тем немногим военным, чьи успешные действия помогли замедлить стремительное продвижение немцев на Восток. Упорная оборона Львова и Киева была организована Власовым. (Эта оборона была заранее обречена на провал по вине высшего руководства.) В декабре 1941 г. Власов командовал 20-й армией, успешно защищавшей Москву. В марте 1942 г. назначен заместителем командующего на Волховском фронте, позднее Власова утвердили на должность командира Второй ударной армии – это последняя его должность в Красной армии. 12 июля 1942 г. Вторая ударная была разгромлена немцами и взята в кольцо. Советские историки объясняют это поражение как результат "трусости и предательства" Власова, что не представляется автору книги убедительным. Сам Власов был взят в плен лишь тогда, когда его армия распалась и дальнейшее сопротивление стало невозможным. Разрыв Власова со Сталиным не мог быть вызван ни "неблагодарностью", ни "мстостью", ни простым инстинктом самосохранения.

Основу "Остполитик" – немецкой политики по отношению к СССР и оккупированным территориям – составляло убеждение Гитлера в том, что немецкая нация нуждается в расширении жизненного пространства, что можно осуществить только на Востоке. Славянские народы при этом рассматривались как "унтерменши" (сс. 46–47). Национал-социалисты вели войну не только против коммунизма, но и против России. Как и Й. Хоффманн, Е. Андреева считает, что если бы политика Гитлера соответствовала его же лозунгам спасения народов России, победа была бы одержана в первые три месяца войны, как и планировалось. Гитлер не понял той истины, что "недочеловеков" сплотит именно тот патриотизм, о котором они, казалось бы, забыли под властью "еврейского большевизма" (с. 46).

Ставку на патриотические чувства сделал Сталин – и выиграл уже проигранную было войну. Но летом 1942 г. многие еще сохраняли иллюзии, что немецкое нашествие покончит со сталинской тиранией, сохранив при этом Россию как государство, пусть и не в прежних границах.

Е. Андреева упоминает генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина, командующего 19-й армией, который был взят в плен осенью 1941 г. Лукин рассматривался как возможный лидер Русского Освободительного Движения (РОД). "Но хотя Лукина и нельзя назвать советским патриотом, он не доверял немцам и отказался сотрудничать с ними, если только ему не дадут незамедлительно и войска и вооружение" (с. 57).

Власов, согласно утверждению автора, вступил на путь сотрудничества с немцами и оппозиции сталинскому режиму сразу же после сдачи в плен.

В немецком рейхе, среди военного руководства, дипломатов и государственных деятелей нашлись трезво мыслящие люди, которые поддержали Власова в его новой роли - организатора Русской Освободительной Армии. Много таких людей было среди среднего офицерского состава вермахта, воевавших на Восточном фронте. Они не питали вражды и ненависти к России. С их помощью в конце 1942 г. удалось добиться придания вспомогательным частям, сформированным из бывших русских военнопленных, статуса союзников по борьбе с большевизмом. Тогда же был образован "Смоленский комитет", прообраз будущего Комитета Освобождения Народов России (сс. 69-72, 175, 189).

О том, что Власов был не только способным полководцем, но и патриотом, искренне любящим свою родину, свидетельствует его открытое письмо и народная реакция на него. Письмо "Почему я стал на путь борьбы с большевизмом" получило широкую популярность на оккупированных немцами бывших советских территориях (с. 78).

Позицию Власова разделяли многие генералы и высшие военные офицеры Красной армии. Кроме уже упоминавшегося Лукина, это были М. Шаповалов, Ф. Ершаков, Ф. Трухин, В. Боярский, М. Меандров, Г. Жиленков и сотни других командиров. Очевидно, делает вывод исследователь, что у Власова в Красной армии было много единомышленников, которые по разным причинам не присоединились к его движению, хотя втайне сочувствовали ему (с. 161).

После взятия в плен Власов был отправлен под Винницу, в "спецлагерь" для высших офицеров. Там вместе с полковником В. Боярским было составлено письмо германскому правительству, где содержалась просьба поддержать идею создания новой Русской Национальной Армии (сс. 63, 135-141). Эта идея не нашла отклика у высших чинов рейха - тогда Гитлеру были не нужны союзники. Только когда положение на Восточном фронте начало ухудшаться, о Власове и его единомышленниках вспомнили. Прошел год в переговорах, встре-

цах, военной и организационной подготовке, пока 14 ноября 1944 г. в Праге было официально провозглашено создание Комитета Освобождения Народов России (КОНР) во главе с А. А. Власовым. Тогда же началось формирование 1-й дивизии РОА.

Власов совершил две агитационные поездки по занятым немцами территориям. Он выступал перед населением с речами, пропагандирующими РОА и освободительное движение. По словам Е. Андреевой, население встречало Власова восторженно везде, где бы он ни появлялся. Русские люди надеялись, что армия Власова освободит их и от большевиков, и от немцев. Вера в немцев как в освободителей уже угасла. Однако свободная Россия не входила в планы Гитлера. После выступлений Кейтель дал приказ – вернуть Власова в лагерь, но это было обойдено и он находился под домашним арестом в Далеме (район Берлина). Власов был возвращен в лагерь военнопленных – официально считалось, что Власов занимается набором своей армии, но на самом деле он находился в изоляции (с. 77). Сам Власов понимал, что Россия никогда не смирится с иноземным владычеством, но при этом продолжал надеяться, что с помощью Германии русский народ может свергнуть сталинизм.

Решающая встреча Власова с рейхсфюрером СС Гиммлером состоялась 16 сентября 1944 г. Русский генерал вел себя с достоинством и произвел впечатление на Гиммлера. Германское правительство обязалось помочь формированию РОА. До лета 1945 г. было намечено создать 10 боеспособных дивизий из бывших советских военнопленных и "остарбайтеров". Германия брала на себя лишь финансовую сторону вопроса, рассматривая РОА как официального союзника.

Вслед за этим в Пражском манифесте, выпущенном осенью 1944 г., Власов и его соратники обратились ко всем русским людям с декларацией целей своего движения. Это был своего рода призыв к объединенной борьбе против коммунизма, реально угрожавшего Западу. Манифест подробно рассматривается в главе "Идейная эволюция освободительного движения".

Как тему, служащую примером горячих споров, исследовательница отмечает отношение РОД к "еврейскому вопросу". "Полное отсутствие упоминаний о еврействе – одна из отличительных черт Манифеста" (с. 185). На вопросы немцев о еврейской проблеме сам Власов отвечал, что это внутреннее русское дело и решаться оно будет после достижения главной цели, т. е. свержение существующего режима. Как большая заслуга Власова, отмечается то, что он сумел противостоять и

нацистскому нажиму и, возможно, антисемитизму некоторых старых эмигрантов и советских националистов. "Представитель министерства пропаганды... жаловался: "Знаменательно, что борьба против еврейства не ведется (в РОД), и вообще еврейский вопрос не признается за вопрос" (с. 188).

После того как руководство Освободительного Движения подвергло критике сталинизм, перед ним встала задача создать программу с позитивным содержанием. При этом встал вопрос о генезисе сталинского режима и самой революции. Обсуждение последствий революции было чрезвычайно важным не только для РОД, но и для всех антисоветских сил того времени. Следует ли считать Февраль – началом прогресса, а Октябрь – большевистским переворотом, породившим сталинизм; или и Октябрьскую революцию признать народным волеизъявлением? Чтобы избежать разделений и разногласий, руководство РОД пыталось смягчить разницу в подходе к этим вопросам. Пражский Манифест говорит о "революции 1917 года", не уточняя, какая из них имеется в виду. Поставить под сомнение советский строй как таковой (т. е. и Февраль, и Октябрь) в той обстановке было недопустимо. Большинство лидеров Освободительного Движения сами были порождением этого строя. Подобные обстоятельства, по мнению автора, роднят РОД с Кронштадтским восстанием 1921 года* (с. 220).

В плане осмысления опыта русских эмигрантских организаций, возникших после 1917 г., исследовательница отмечает следующее: "...первая эмиграция имела мало общего с Русским Освободительным Движением, поскольку эмигранты не испытали на себе советской действительности... Тем не менее, одна из русских эмигрантских организаций, Народно-Трудовой Союз (НТС), оказала значительное влияние на Русское Освободительное Движение" (с. 223). НТС предложил такие идеи и взгляды, которые стали импульсом при разработке политической альтернативы советской государственности.

Власовское движение было разгромлено в апреле-мае 1945 г. Две дивизии РОА (вместо обещанных десяти) были измотаны в боях в районе Одера и в битве за Прагу. Большая часть личного состава попала в плен к англо-американцам, и затем до 1946 г. все они были выданы Сталину на уничтожение. Та же судьба постигла и высшее руководство РОА и КОНР, разделившего судьбу своих солдат.

* Основным лозунгом кронштадтцев был призыв: "За Советы без коммунистов!" – Прим. реф.

В идейном плане РОД внесло свежую струю в русскую эмиграцию. Была разрушена идеология "смены вех" и национал-большевизма, основанная на том, что после введения нэпа большевики, якобы, поняли нереалистичность своих коммунистических позиций. При этом эмигрантами делался ложный вывод, что "эволюция советского режима неизбежна" (с. 229).

"Усилия Русского Освободительного Движения найти ответы на эту многогранную проблему, – заканчивает автор, – проблему ключевую для понимания русской общественной мысли XX в., – заставляют нас рассматривать военную оппозицию Сталину как неотъемлемую часть истории общественной русской мысли пореволюционного времени" (с. 263).

Юрий Цурганов

Михаил Александрович Нарица

7 февраля 1993 года не стало писателя и художника Михаила Александровича Нарицы. Его имя почти неизвестно у нас, на родине, хотя он был одним из первых правозащитников.

Михаил Александрович родился 7 ноября 1909 года. Окончил Ленинградский художественный техникум, поступил в Академию художеств. В 1936 г. - первый арест, Печерлаг. В 1949 году - повторный арест, ссылка в Казахстан. В 1957 г., после реабилитации, вернулся с семьей в Ленинград, восстановился в Академии художеств.

Его литературная и правозащитная деятельность началась в конце 50-х годов, и уже в 1960 г. в издательстве "Посев" была опубликована его повесть "Неспетая песня" - фактически первая рукопись, переданная на Запад из советской России самим автором, по его открытому желанию и под собственной фамилией. Повесть была переведена на ряд европейских языков. В связи с этой книгой Нарица писал Хрущеву: "Никита Сергеевич, Вы не можете обвинить меня в клевете на советскую действительность, она у меня несколько облагорожена, да и задачей я ставил изобразить не столько истерзанное тело, сколько истерзанную душу..." Повесть вызвала большой читательский интерес и принесла писателю известность... там, за рубежом.

А у нас? Его ждал арест и многолетнее заключение в Ленинградской психбольнице. Тяжелые испытания не сломили его, круг интересов продолжал оставаться широким. Он ратует за свободу художественного творчества, за отказ от "готовых формул казенного мышления", волнует его судьбы мира, он говорит о "ничтожности идей, разъединяющих государства".

В 1967 г. Нарица с семьей переезжает в Латвию - ро-

дину своих предков. Но жизнь не становится легче. Не разрешена поездка в Упсальский университет, куда он был приглашен для чтения лекций по искусству. А в 1975 г. он вновь был арестован по обвинению в "распространении порочающих режим измышлений". Да, он писал правительству, что "нельзя одобрить ни одного поступка коммунистов ни в отношении внешней, ни в отношении внутренней политики"... За это судить старого человека? И писатель был помещен в Рижскую психбольницу, затем в Московский институт судебной психиатрии, потом в Рижский следственный изолятор и после многомесячного пребывания в нем выпущен на свободу. Ни очередной реабилитации, ни даже простого извинения со стороны советских властей не последовало.

Но, может быть, легко жилось членам его семьи? Зачем ломать челюсть пожилому человеку, за которого может вступить, предположим, академик Сахаров? Можно напоить его непьющего младшего сына и сломать челюсть ему. Не скажешь, что "грязная работа", и результат не хуже. Много пришлось пережить престарелым родителям из-за разных "историй", противозаконных, лишенных здравой логики, но богатых чьей-то садистской выдумкой. Прекрасный очерк "Сначала самосуд - потом суд" описывает одно из таких злоключений.

Сравнительно недавно Нарица закончил автобиографическую повесть "После реабилитации", отрывки из которой печатались республиканской газетой "СМ - сегодня". Полностью она будет напечатана в одном из ближайших номеров "Граней".

И вот путь завершен...

Ростислав Евдокимов

"РУССКАЯ МЫСЛЬ". Еженедельная газета
Париж - Москва

Подписка за рубежом (включая рассылку):

6 мес. 1 год

Обычной почтой

Франция - франки:	250	400
Др. страны - франки:	400	600

Авиапочтой

Вся Америка, Южная Африка		
- франки	550	790
Европа, Северная Африка		
- франки	450	680
Австралия, Япония - франки	650	860
Израиль, Иран - франки	510	720

Адрес: "La Pensée Russe"

217, rue du Faubourg St. Honoré,

F-75008 Paris

Тел: 4225-5681, -5794

Почтовый счет: CCP 5883-44 K. Paris

Подписка в Москве (для всех стран СНГ):

на 1 месяц - 60 рублей, на 2 месяца - 120 рублей.

Адрес: 125171 Москва

Ленинградское шоссе, 18, ком. 1607.

Товарищество "Пром. брокеры", Александру Шустеру
(с указанием на бланке перевода: "Русская мысль").

Доставка - по обратному адресу на бланке перевода.

Георгий Константинович Гинс

"Предприниматель"

224 сс., тв. пер.

© "Посев"

Издательство "Посев", существующее в эмиграции более 45 лет остановило свой выбор на этой книге в качестве своего первого издания на родине. Г. К. Гинс (1887-1971) - русский ученый-правовед, экономист, социолог, первым предложивший солидаристическую модель общества, в котором граждане исповедуют принципы солидаризма (не как идеологии, а как правил "мирного гражданского сосуществования" в обществе), роль же государства в обществе сведена к роли правового регулятора, светофора". Написана книга была в конце 30-х годов и издана в Харбине в 1940 г. очень малым тиражом. Но в то время миру было не до экономики, а потому книга не получила должного распространения. После войны восстановление разгромленной Германии пошло фактически по пути, предложенному Гинсом. С этой книги издательство "Посев" начинает свою жизнь на родине.

Книга "Предприниматель" - это не пособие к вопросу, как немедленно разбогатеть. Свободное общество - синоним свободной экономики, рынка. Не может быть свободного общества без свободной, неполитизированной экономики, которая не должна быть ни капиталистической, ни социалистической, ни еще какой-то, а должна быть просто здоровой, чтобы обеспечить человеку в обществе экономическое достоинство. И как не родит земля без хозяина, без крестьянина, так и нет здоровой экономики без здорового предпринимательства, без созидательного предпринимателя.

В книге интересно и без потерь для научных принципов рассказывается об истории мирового предпринимательства, в том числе и российского, о том, как создавались богатства в мире, как они использовались на благо общества, говорится о психологии предпринимательства, о механике взаимоотношений предпринимательства и государства и т. п.

Книга может и должна стать настольным учебником для вступающего во взрослую жизнь нового поколения России. Но она интересна и для самого широкого читательского круга.

**Заказы принимаются экспедицией московского Филиала издательства "Посев": Россия, 140102 г. Раменское Моск. обл., а/я 9.
Розничная цена - 120 руб. Оптовикам скидка до 15% в зависи-**

Подписано к печати 25. 02. 93. Формат 84 X 108 1/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20.
Усл. кр.-отт. 15. Уч.-изд. л. 16.
Тираж 3 000 экз. Заказ 572.
Издательство "Посев" - Филнал в Москве.
127018, Москва, Сушеvский вал, 3/5А-23
Отпечатано в Калужской типографии стандартов.
248006, Калуга, ул. Московская, 256

ЖУРНАЛ "ПОСЕВ"

"Посев" - общественно-политический журнал, выходящий с 1945 года. До 1990 г. "Посев" выходил за рубежом и был органом свободной российской оппозиции, трибуной свободного слова из России. И вот третий год журнал выходит в самой России, следуя своим прежним принципам участия во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:

- поддерживает российское освободительное движение во всех его гуманных проявлениях;

- стоит на позициях национально-государственных интересов России;

- участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идеологических, духовных);

- стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.

Журнал "Посев" выходит 6 раз в год (каждый второй месяц) на 128 страницах.

**"ГРАНИ". Журнал литературы, искусства
науки и общественно-политической мысли
"ПОСЕВ". Общественно-политический журнал
Франкфурт-на-Майне - Москва**

Открыта подписка
на журналы на 1993 год

**ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ЖУРНАЛЫ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ**

Индексы по каталогу "Роспечати"
(раздел "Журналы")

"Грани" - 7 3 0 7 8

Стоимость подписки на полгода - 70 РУБЛЕЙ
Журнал выходит четыре раза в год.

"Посев" - 7 3 3 0 8

Стоимость подписки на полгода - 81 РУБЛЬ
Журнал выходит шесть раз в год

Редакции расположены
во Франкфурте/М. (ФРГ) и в Москве (Россия)

Подписка и заказы также принимаются
в московском Филиале издательства

"Посев" по адресу:

140102 г. Раменское Моск. обл.
а/я 9

Экспедиция Филиала издательства "Посев"
Расч. счет № 1810591 в Марьиногорском ОСБ
(ОПЕРУ МБ СБ РФ в г. Москве.
Кор./сч. банка: № 164110, код ВА.

С указанием на бланке перевода: "Посев"-Филиал).
Доставка - по обратному адресу на бланке перевода.

ISBN 5-85824-002-X